

КОНТИНЕНТ 6

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



...было во мне что-то независимое от разума, от сознания, что-то лишь одному мне свойственное и мне же самому непостижимое...

...вдруг прожгла мысль о никчемности всего человеческого, а самое главное — о бессмысленности борьбы между людьми.

М. Джилас

Времена бывают всякие и разные, сегодня строят больницу, а завтра из этого может быть сумасшедший дом или казарма. Пусть помнят, что когда доверяешь что-нибудь казне, так никогда не знаешь, чем это кончится.

И. Гохман



Неумение видеть мир таким, какой он есть, и ясно понять характер врагов свободы, где бы они ни находились, по сути дела — самая большая угроза миру сегодня. Эта угроза нигде не проявляется так ярко, как в иллюзии, которую мы называем разрядкой.

Дж. Мини

К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах...

И. Бродский



Главный редактор: Владимир Максимов

Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов

Ответственный секретарь: Евгений Терновский

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу

Александр Галич · Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский

Милован Джилас · Вольф Зидлер

Эжен Ионеско · Артур Кестлер

Роберт Конквест · Наум Коржавин

Михайло Михайлов · Людек Пахман

Андрей Сахаров · Игнацио Силоне · Странник

Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская

Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия Игорь Голомшток
Igor Golomshtok, 47 Oakthorpe Road,
Oxford OX2 7BD, Great Britain

Израиль Михаил Агурский
Michael Agurski, Mevaseret Zion 26a,
Merkaz Klita, Israel

США Юрий Ольховский
George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. Y.
Washington D. C. 20016, USA



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

6

Издательство «Континент»

1976

ПИСЬМО АНДРЕЯ САХАРОВА

Пагуошской конференции в Киото

Я благодарен за предоставленную мне возможность выступить. Трагедия, произошедшая 30 лет назад в Хиросиме и Нагасаки, всю жизнь волнует меня — как физика-атомика — и просто как человека планеты Земля, которая вся может превратиться в груды таких же страшных развалин, если разум и доброта не возобладают над взаимным недоверием, страхом, алчностью и ненавистью.

Никто из собравшихся здесь, я думаю, не предполагает, что причина нависшей над человечеством катастрофы лежит в великих открытиях науки XX века, или в каких-то демонических свойствах человеческой натуры. Мы все убеждены, напротив, что именно сейчас наука, наконец, обрела способность принести в мир изобилие, которое было совершенно недостижимо еще сто лет назад. И мы знаем, что человек, со всеми его достоинствами и недостатками, все такой же, как во времена Эсхила и библейских пророков, будь он белый, черный или желтый, капиталист, рабочий или ученый, верующий или атеист, социалист или один из тех, кого некоторые из собравшихся здесь называют реакционерами. Я не хочу анализировать здесь сложные причины возникновения критической мировой ситуации. Свою точку зрения, конечно, субъективную и дискуссионную, я пытался изложить в выходящей сейчас на Западе книге («О стране и мире»). Но я хочу попытаться кратко, в виде тезисов, повторить некоторые из содержащихся в этой книге мыслей, которые, как мне кажется, имеют отношение к обсуждаемым на этой конференции проблемам.

Я разделяю мнение многих здесь присутствующих, что проблемы разоружения имеют несомненный приоритет перед другими проблемами, стоящими

сейчас перед человечеством, но их невозможно разрешить без укрепления международного доверия, без преодоления закрытости социалистических стран, в отрыве от других аспектов разрядки.

Важнейшей целью разрядки должно являться полное запрещение ядерного оружия и полное разоружение. Эта цель может быть достигнута только поэтапно. На каждом из этих этапов необходимо добиваться сокращения вооружений до равного уровня (равной суммарной мощности термоядерных зарядов у СССР и США в ходе переговоров об ограничении стратегических вооружений; равного числа танков и дивизий у НАТО и стран Варшавского пакта в ходе европейских переговоров о разоружении; равных вооруженных сил СССР и КНР, сосредоточенных на общей границе). Принцип пропорционального сокращения вооружений представляется мне несправедливым, дающим преимущество более сильной стороне.

Принципиальное значение имеет осуществление совершенного международного контроля над разоружением. Это один из тех вопросов, в которых позиция СССР и других социалистических стран является особенно жесткой и неконструктивной, однако, именно в этом вопросе необходима наибольшая настойчивость. Нужно добиваться создания международных инспекционных групп с правом свободного посещения всех районов инспектируемой страны. Некоторые прецеденты такого рода уже имеются. Необходимо навсегда отказаться от шпиономании. В мире будущего не должно быть понятий «военная тайна», «секретные работы», «запрещенная по соображениям секретности публикация». Конечно, переход к такому «открытому миру» (выражение Нильса Бора) будет постепенным. Одним из первых шагов должно явиться осуществление 13 и 19 статей Всеобщей декларации прав человека — свободного обмена людьми и информацией на основе законодательных актов —

свободные поездки людей из одной страны в другую, свободная смена страны проживания (и уж конечно свободный выбор места проживания внутри страны!), свободное радио- и телевидение, свободная международная книжная торговля. Все это имеет самое непосредственное отношение к международному доверию и тем самым к международной безопасности.

Очень важно как можно быстрее найти разумное решение многих более частных вопросов разоружения — договориться о прекращении разработки новых, особо опасных видов оружия, договориться о запрещении стратегических ракет с термоядерными боеголовками независимого наведения, об ограничении строительства Противоракетной обороны и о лимитировании других факторов стратегической неустойчивости. Я надеюсь, что эти конкретные вопросы будут самым деловым образом обсуждены на конференции.

Я считаю, что очень большое значение для укрепления международной безопасности имело бы запрещение поставок оружия из высоко развитых в военномышленном отношении стран в развивающиеся страны и в особенности в страны, где происходят или намечаются военные конфликты. Такое запрещение имело бы не только очень большое гуманистическое значение, но явилось бы также фактором повышения устойчивости в мире, так как в настоящее время мы наблюдаем, что поставки оружия являются одним из главных способов борьбы великих держав за расширение сфер влияния. А для самих развивающихся стран такое решение способствовало бы мирному экономическому развитию, а не милитаризации.

На протяжении многих лет я с большим вниманием слежу за работой Пагуошских конференций, по тем скудным данным, которые публикуются в СССР и доходят по неофициальным каналам. К сожалению, создается впечатление, что зачастую конференции

являются не более, чем одной из форм неофициального зондажа государственных позиций и практически не выполняют функции влияния общественности (в том числе и научной) на свои правительства в столь важных для всего человечества вопросах.

Я надеюсь, что в дальнейшем Пагуошские конференции смогут оказывать большее влияние на мировое общественное мнение и тем самым на политику своих государственных деятелей.

10 июля 1975 года

Андрей Сахаров

Иржи Г о х м а н

ЧЕШСКИЙ ХЭППЕНИНГ

(Перевод с чешского)

Отчет о событиях в районном городе Барахолкове, в особенности же, о стихийном бедствии № 115, о четырёх похоронах парикмахера Йетржика Ведлейша, о рождении шестерняшек и о восстании Серой Чумы.

(Воспоминания и документы)

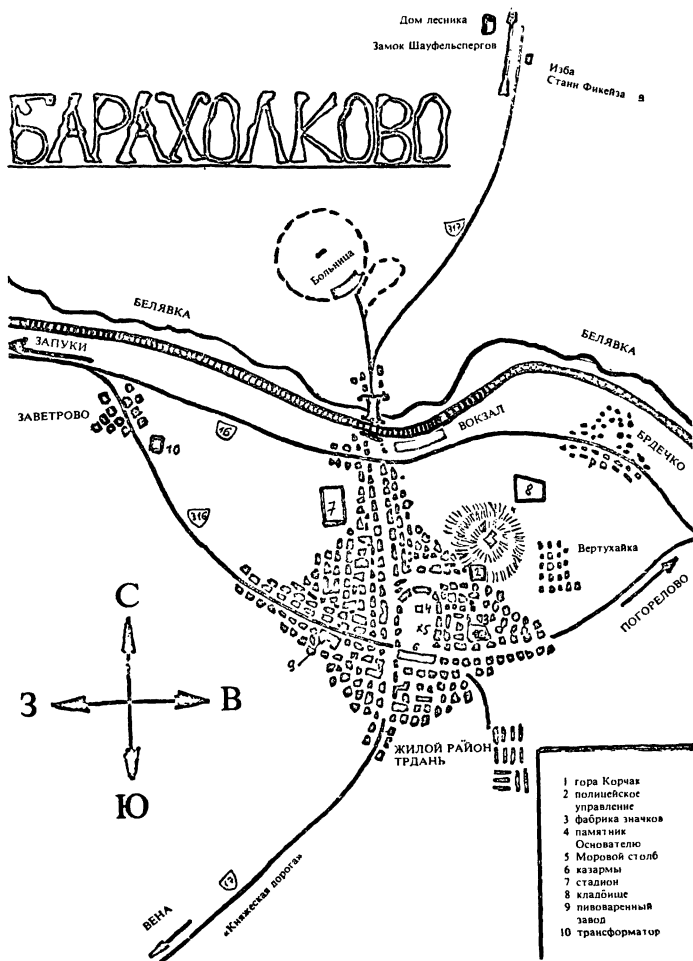
Приношу благодарность господину Эрику Яноуху, 1971 г. рожд., первым высчитавшему на карманной вычислительной машине своего отца — профессора Яноуха, что в Барахолкове, по-видимому, произойдут многократные роды. За осложнения он не несёт никакой ответственности.

Одновременно хочу горячо поблагодарить всех граждан города Барахолкова и окрестностей, охотно предоставивших мне всю необходимую информацию для составления этого сборника. Вечная им память!

Автор

Март 1974 г.

БАРАХОЛКОВО



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1

Общие сведения

В энциклопедическом словаре той эпохи под словом «Барахолково» можно найти следующую информацию:

«Барахолково — рай. гор. в Ч., 11.907 жит., гора Корчак — 239 м, с развалинами замка того же назв.; культ. пам.: замок барок. Шауфельспергов, кон. XVIII в.; портр. Матильды фон Ш. худ. Рейнера, 1720 г.; железн. станц. Пром.: фабр. значков, лесоп., иссл. инст. ягодн. культ.

Как мало и как убого!

Ведь если знать Барахолково — этот полнокровный, очаровательный город с весёлыми и предприимчивыми жителями, с романтическими окрестностями, как будто созданными для полотен художников, — скудность энциклопедической справки представляется нам прямо-таки нищенской.

Вдобавок, из-за типографских сроков, прошедших между редактированием и напечатанием словаря, и такая сжатая словарная статья требовала уже ко времени её выхода в свет серьёзных уточнений. В этом, однако, никак нельзя обвинять редактора (некоего Фойтика), отказавшегося впоследствии от своей нудной работы и отдавшего предпочтение приготовлению картофельного салата в ресторане «Берёзка».

Теперь о самой словарной статье: портрет Матильды фон Шауфельсперг украли неизвестные похитители. В противоположность этому, за сравнительно короткий срок численность населения возросла на 4,03% и составила 12.387 человек, хотя добились это-

го, к сожалению, только на 0,9% обычным способом тогда как преобладающая часть прироста (3,13% носила временный характер, будучи последствием присутствия персонала некой болгарской фирмы, которой была заказана реконструкция развалин замка.

Далее, Исследовательский институт ягодных культур, неспособный к дальнейшему самостоятельному существованию только на государственные дотации, между тем стал филиалом своего собственного филиала, производящего детские самокаты, после того как был отвергнут первоначальный проект — покрыть институтский дефицит узаконением его (до той поры — нелегального) производства ликёров.

Огромного размаха достигла местная фабрика значков, получившая — в рамках международного разделения труда — большие заказы на значки и медали из всего лагеря мира.

Поглядим-ка теперь на Барахолково с точки зрения топографии.

Историографическая городская застройка простирается до настоящего времени преимущественно в юго-западном направлении от холма Корчак, на пологом склоне. Вблизи от подножья холма, всего в пяти минутах ходьбы оттуда, начинается та достопримечательная площадь — место действия прославленных базаров. Северная часть площади имеет форму полукруга, тогда как южная — представляет собой прямоугольник. Надо всей площадью доминирует (хотя и не слишком чёткий по своему стилю) храм Св.Густава, датируемый 1839 г., справа от которого находится приходское управление, а слева — ратуша (1890 г.).

Соседство храма с ратушей часто заставляло чиновников магистрата искать для ратуши новую резиденцию на бóльшем расстоянии от храма Божьего, однако никогда не было найдено приемлемое решение. Не нашлось оно и при власти Общественного Блага. И так времена менялись, включая времена бурные,

но ратуша всё пережила на своем месте возле храма.

Если смотреть с лестницы пред храмом Св. Густава на другой конец площади, то мы увидим пури-тански строгий фасад казармы, построенной в 1907 г. Этот фасад никогда не отказывался принимать на свою каменную грудь великолепные украшения, идеологическое содержание которых неоднократно менялось до полной противоположности. Окна казармы один раз даже изучали с точки зрения скопищ анти-общественных элементов, но, к счастью, последние никогда не скопились.

Из зданий, находящихся на площади, заслуживает внимания одноэтажное, но, тем не менее, солидное здание сберкассы, построенное в 1925 г., позже ставшее резиденцией Районной диспетчерской*. Сберкасса при этом вынуждена была перебраться в несколько обветшавший, зато исторически более ценный дом на противоположной стороне площади. В этом доме раньше находилось похоронное бюро, принадлежавшее до войны католической фирме «Мориц Кон и сыновья», которую в 1940 г. переписал на свое имя тогда еще очень молодой г-н Горимир Зуска, ставший много лет спустя начальником Городского инспектора общественного порядка и начальником городской бригады Серой Чумы, а тем самым — и первым человеком в городе. Что касается похоронного бюро, то в 1945 г. во главе него был поставлен народный управляющий — некий Подзимек, оказавшийся безответственным элементом: после национализации в 1949 г. была обнаружена недостача одного похоронного фургона.

После того, как выселили сберкассу, чтобы разместить в ней Районную диспетчерскую, и когда выселили похоронное бюро, чтобы устроить там сбер-

* К вопросам административного устройства см. гл. 3: «Общественное Благо в Барахолкове и окрестностях».

кассу, то похоронному бюро выделили помещения традиционных городских трактира и гостиницы, называвшихся «Зеленка» (основаны в 1830 г.), в результате чего эти заведения закрылись. Через несколько лет, однако, оказалось, что и трактиры служат целесообразным дополнением каждодневной жизни, а поэтому, затратив на ремонт другого полуразрушенного дома на площади два миллиона крон, вновь открыли гостиницу «Зеленка» — с закусочной-автоматом и рестораном. Благодаря такой реорганизации, кроме всего прочего, существенно сократился путь между трактиром и Районной диспетчерской, а также — ратушей, однако увеличилось расстояние между пивной и казармой, что явилось некрасивым жестом по отношению к войску — позже даже не только к нашему отечественному, но и к дружественному (вопросу пребывания дружественных войск в Барахолкове будет уделено должное внимание во второй главе, посвященной истории).

В течение очень длительного времени украшением площади был памятник национальному Основателю «Движения добромыслов», изваянный местным скульптором и художником, мастером Карлушей Блатником (подробнее — в «Воспоминаниях мастера», гл.9). Во времена установки памятника возникла большая проблема, должно ли государственное лицо смотреть по направлению к храму или к казарме, поскольку и то, и другое представлялось идеологически недопустимым. Немало усложнял этот вопрос и Моровой столб, построенный во времена Шауфельспергов в благодарность за холеру в 1680 и 1713 гг. Моровой столб, хотя и являвшийся одним из наиболее достопримечательных в Средней Европе, был тоже повернут своей передней частью к храму. Повернуть поэтому Основателя в том же направлении означало бы поставить его в затылок Моровому столбу. Но, если бы Основатель был повернут лицом в другую сторону,

то это могло бы наводить на мысль, что он любил больше казармы, и, сверх того, он смотрел бы тогда прямо на встававший в таком случае у него поперек дороги Моровой столб, разрушить который нельзя было, хотя одно время и казалось, что дни его сочтены.

Для решения затруднительной проблемы, возникшей в связи с размещением памятника Основателю в Барахолкове, туда со всех сторон съезжались специалисты и выдавались жирные гонорары за весьма туманные экспертизы. Только один проект был совершенно конкретным. Разработал его некий господин Черник, проходчик из шахты «Троица» в Острове: при помощи советского проходческого щита пробурить землю под Моровым столбом, а потом повернуть его с помощью шведского электрического поворотного круга в другую сторону. Только две эти операции обошлись бы, однако, в 180 миллионов крон, отчасти в валюте, причем господин Черник еще советовал далее, раз эта техника будет уже под землей, сразу же использовать её для проходки тоннеля под холмом Корчак до самой деревни Брдечко, что не обошлось бы намного дороже. Этот проект натолкнулся, главным образом, на недостаток рабочей силы.

После десятков совещаний было наконец решено — при личном участии министра памятников проф. д-ра Яр. Седлака, доктора наук — повернуть Основателя лицом к Востоку. При этом он, правда, должен был обращать взоры на бывшее похоронное бюро фирмы «Мориц Кон и сыновья», а новой резиденции Районной диспетчерской показывал заднюю, художественно недоработанную часть (правая половина была больше, чем левая, хотя, на самом деле, должно было быть наоборот). Но не оставалось другого выхода: нельзя было и думать о том, чтоб повернуть Основателя лицом в противоположную сторону, так как в таком случае он смотрел бы на Запад!

Хотя мы не хотим забегать вперед и опережать историческую справку, тем не менее, кстати было бы упомянуть здесь, что там, где был воздвигнут памятник Основателю, то есть на пространстве перед Моровым столбом, происходило в пятницу, 13-го сентября 1731 г., в 16.30, при личном председательстве Антонина Кониаша, народное кулянье, закончившееся большим костром из крамольной литературы, согласно списку федерального министерства культуры в Вене.

Улички вокруг площади всегда были очень узки. Единственная более широкая улица возникла только после того, как разрушили целый ряд старых домиков примерно по линии между храмом и Корчаком, где, у основания последнего, стоит уже упомянутый небольшой замок Шауфельспергов (ныне — городской музей), а над ним высится четырёхэтажное здание — Районное управление народной жандармерии, из которого просматривается немалая часть города.

Уже с 20-х годов Барахолково разрасталось также в направлениях на восток и на север от первоначальной застройки. Жилищное строительство, однако, в особенности в период Общественного Блага, сосредоточилось на отлогих пустырях в юго-восточном направлении от Корчака, примерно на восток от исторической части Барахолкова. Именно там возник панельный жилой район Трдань. В настоящее время об этих объектах заботится Отдел охраны памятников, так как они служат типичным образцом архитектуры периода Общественного Блага.

Севернее от Трдани находится район вилл — Вертухайка, — до сих пор очень хорошо сохранившийся. Наиболее древняя часть этого района была воздвигнута перед Второй мировой войной, однако много более новых вилл тут построили влиятельные городские деятели Общественного Блага, причем эти постройки более высокого качества, чем, например, развалины Трдани.

На север от районного шоссе в Заветрово, на западной окраине, у вокзала, до сих пор сохранился спортивный стадион, первоначально построенный местным футбольным клубом «Метеор-Барахолково». Позже клуб переименовали на «Карбюратор-Барахолково», чтобы подчеркнуть то обстоятельство, что в окрестностях никогда никакие карбюраторы не производились. В памяти населения постоянно живет воспоминание о трагически обрушившейся железобетонной трибуне на этом стадионе, в заключение грандиозного общественного смотра городской бригады Серой Чумы, вооруженной совками и вениками, причем трибуна обрушилась именно в ту минуту, когда выступавшие хором прокричали, повернувшись к ней: «Ура!»

По мнению комиссии, расследовавшей потом катастрофу, трибуна не была достаточно акустически устойчива. В её руинах погибла, к сожалению, большая часть делегации из дружественного города Умба-Умба в Танзании. Те члены делегации, которые уцелели при катастрофе и вернулись к себе домой, погибли неделю спустя во время государственного переворота.

С юго-западного направления в город вклинивается шоссе № 17, называемое по традиции «княжеской дорогой», потому что по ней когда-то ездил князь через Прагу в Вену и обратно. На расстоянии около шести километров от города эта дорога была некогда обрамлена могучей тополиной аллеей. Левую часть последней выкорчевали во времена власти районного диспетчера Бребурды по соображениям безопасности, поскольку Барахолково ожидало важную заграничную делегацию и главная опасность тогда грозила слева. Три года спустя, когда опасность грозила справа, было необходимо выкорчевать и правую часть аллеи.

На участке, лежащем примерно в трёх километрах от города, под этим шоссе проложен прямой пивовод «Дружба», соединяющий Пльзен с Ташкентом.

Шоссе № 16 из деревни Запуки в Погорелово тянется на северо-западе вдоль железнодорожного пути, в городе проходит приблизительно между вокзалом и Вертухайкой и на восток от Барахолкова снова выѣтся вдоль железной дороги. В этом направлении город можно обогнуть также по шоссе № 317, ведущему от вокзала через деревню Брдечко (примерно 1,5 км на северо-восток от подножья Корчака), в которой оно снова сливается с государственным шоссе № 16. С северо-востока, у подножья Корчака, находится городское кладбище; самой древней части его насчитывается более 500 лет. Это кладбище сыграло крайне важную роль в событиях, которым будет посвящен данный сборник, так как именно здесь четырежды происходили весьма необычные похороны дамского парикмахера Йетржиха Ведлейша.

Поток Белявка, который может быть — при капле доброй воли — тоже назван речкой, протекает на небольшом расстоянии от города, а железная дорога кое-где проходит весьма близко от него. Между городом и больницей, в непосредственной близости вокзала, за железнодорожным переездом, через Белявку построен мост.

Все это касается вопросов топографии.

А чтобы лучше понять местные нравы, мы еще перед описанием самих событий заглянем в более давнее и в недавнее прошлое.

Глава II

История

Древние века: о Барахолкове в древние века нельзя пока сказать почти ничего. В городском музее, правда, имеется несколько глиняных черепков, происходящих, говорят, из римско-провинциальной эры,

а также — тщательно обглоданная и натертая до блеска человеческая бедренная кость, будто бы кельтская, однако о подлинности этих предметов весьма сомнительно высказывается в частных разговорах и сам директор музея.

Средние века: как мы уже сказали, над окрестностями незначительно возвышается облысевший холм высотой в 239 м, с сильно разрушенными остатками замка, о которых никогда, наверное, нельзя будет с уверенностью сказать, происходит ли их название от названия горы или наоборот. Дело в том, что распространенная версия весьма неопределенна.

В окрестностях до сих пор не нашлось никакого признанного захоронения, никакой серьги, которую бы тут могли потерять лангобарды, ни следов каких-нибудь укреплений со времен Великоморавской империи. Наконец, даже наиболее древний образец человеческого заселения этих мест, то есть развалина Корчака, не имеет вполне аутентичного происхождения. И ведь, ко всему прочему, — это не древние века.

При князе Бржетиславе этот край и этот холм выбрал своим пристанищем рыцарь с сомнительной репутацией по имени Дрбоглав из Корчака. Однако не совсем ясно, пришел ли сюда упомянутый Дрбоглав уже как Корчак, или же стал Корчаком на месте, после того как он обнаружил, где, собственно, находится. Тем не менее, кажется более вероятным, что Дрбоглав был Корчаком уже до этого, поскольку здесь нет следов более древнего поселения, и холм под замком он назвал, видимо, в честь самого себя. Ну, а раз население предпочло для своего поселения под замком другое название, этимологически так мало возвышенное, как Барахолково, оставив памяти Корчака только этот облысевший холм с рутиной, так это тут ни при чем.

Стоит еще отметить, что до настоящего времени в тех местах осталась интересная традиция — давать петухам кличку «Корчак».

Новое время: теперешнее название города впервые появляется в налоговых ведомостях времен Фердинанда I, то есть примерно за шестьдесят лет до битвы на Белой горе*. Налоги были тогда довольно скромные, и Барахолково фигурировало с маленьким «б», так что не может быть сомнения в происхождении этого названия.

С заглавной буквы «Б» Барахолково встречается впервые в дарственной грамоте, датированной 1629 г., согласно которой Фердинанд II подарил Барахолково и окрестности некому Шауфельспергу — полковнику саксонского курфюрста. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что до Фердинанда I Барахолково не считалось королевским городом. Позже даже Фердинанд II, несмотря на общеизвестные затруднения с императорской казной, не задумывается и спокойно дарит этот город — еще за пять лет до убийства своего верного слуги Вальдштейна — какому-то малоизвестному саксонскому вояке. Очевидно, уже тогда не очень-то жирно жилось в тех местах.

Полковник Шауфельсперг, так или иначе, остался доволен гонораром за Белую гору и, говорят, он гордился и скромным холмом Корчак, так как, судя по фамилии, Шауфельсперги должны были набрасывать гору для своего замка сами, да еще с помощью лопаты**. Однако даже им не хотелось восстанавливать заброшенные развалины: не модно уже это было. Но они положили начало известному роду послебелогор-

* В результате битвы на Белой горе (1620 г.) Чехия потеряла на 300 лет свою независимость и стала частью Австро-Венгерской империи. (Прим. пер.)

** В переводе с немецкого языка фамилию Шауфельсберг (чешск. Шауфельсперг) можно расшифровать как «гору, насыпанную лопатой». (Прим. пер.)

ской знати; жили они преимущественно в Вене и в Праге и лишь к концу XVIII века накопили достаточно средств, чтобы построить на склоне Корчака упомянутый выше замок в стиле барокко. Впрочем, часть рода проживала в нём до сравнительно недавнего времени.

Когда речь идет о полковнике Шауфельсперге*, необходимо отметить, что новая история Барахолкова вообще богата временными пребываниями различных дружественных войск, направляющихся туда попеременно почти со всех концов света, во многих случаях — по приглашению правительственных деятелей (вплоть до последнего времени компетенция других деятелей не была столь велика, чтобы быть зафиксированной в этой связи).

Шауфельсперги еще даже не успели снять сапоги, как здесь уже были — на конях и пешком — лютые шведы, причем трижды — в 1634, 1639 и 1648 годах. Потом наступила передышка на 100 лет, и Шауфельсперги могли спокойно получать земельную ренту, не предвидя, что скажет на это политическая экономия XIX века. В 1741 г., во время французско-баварско-саксонского вторжения, в Барахолкове обосновались баварцы, а после этого — три раза подряд — пруссаки, немилосердно разорявшие всю округу, невзирая на то, что господа фон Шауфельсперг неоднократно отправляли к ним послов, чтобы напомнить о своем племенном родстве. В 1760 г. назойливых пруссаков наконец изгнал славный генерал Лаудон, который здесь даже будто бы несколько раз переночевал. В 1778 г. пруссаки нагрянули снова, но как-то им тут не понравилось, потому что всего через два месяца они убрались. С

* Сходство фамилий Шауфельсперг и Ауэрсперг (Ауэрсперги — знатный коллаборантский род в Чехии после битвы на Белой горе, последний потомок которого — князь Павел Ауэрсперг — активно содействовал еще одной оккупации в 1968 г., за что его сделали заведующим Иностранным отделом ЦК КПЧ), по-видимому, совсем случайно. (Прим. пер.)

точки зрения исторических масштабов, столь кратковременное пребывание можно считать просто кемпингом.

Знаменательное событие, по поводу которого недавняя городская летопись прямо-таки заикается от радости, произошло в Барахолкове в 1799 году: через те места прошла часть русского войска, посланного царем Александром на помощь австрийскому императору Францу I, боровшемуся с Францией. Год спустя русское войско возвращалось тем же путем назад, но не осело в Барахолкове, потому что спешило. Русские появились снова в 1815 г., и хотя казацкие кони тогда опять напились воды из потока Белявка*, это не оказало желанного влияния ни на судьбы чешского народа, ни на судьбу самого Барахолкова.

Летом 1866 г. — словно они раньше уже тут не побывали — вновь появились пруссаки, как бы руководствуясь народной пословицей о рыбе и госте. Потом настала очередь венгров. Сначала они побывали тут на императорских маневрах в 1903 году и далее — уже после открытия новых казарм в 1907 г., — однако венгры в то время входили в ту же самую монархию и были поэтому как бы своими.

Новейшие случаи мы пока не будем упоминать, чтобы не предвосхищать событий.

С точки зрения дальнейшего повествования, нас должна также интересовать старая районная больница. Последнюю отделяют от Морового столба (этого воображаемого центра города) примерно два километра старой и более новой застройки, а на последнем участке — до недавних времен — очень скверная дорога, ведущая от вокзала мимо нескольких ветхих

* По старой чешской славянофильской легенде, в Чехии до тех пор не будет хорошо, пока казацкие кони не напьются из реки Влтавы. (Прим. пер.)

домов, и далее — мимо заборов и помоек — прямо ко въезду в больницу, где упомянутая дорога, между прочим, и заканчивается, образуя подобие петли, по которой автобусы поворачивают, направляясь обратно в город. Далее пока ничего нет.

Согласно первоначальному проекту молодого инженера Фердинанда Гюбнера — венского бонвивана из семьи влиятельного придворного тайного финансового советника, — больница должна была представлять собой круговой объект в небольшой долинке за городом. Объект был обрамлен тогда еще чистым потоком Белявки (раки и пиявки медицинские, а также — источник воды для больницы), редким березовым леском (источник покоя и приют разбушевавшихся страстей) и причудливыми очертаниями коричневатого песчаника (источник главной добавки в строительном растворе), за которыми, в направлении на север, начинались шауфельсперговские господские леса (топливо по себестоимости).

Господин инженер Гюбнер не был ни философом, ни генеалогом, и, ко всему, его по рукам и ногам связывали три решающих обстоятельства, которые он не мог оставить без внимания. Больше всего, во-первых, — фонд, основанный в октябре 1874 г. в солидной австрийской валюте его тестем, князем Адольфом фон Шауфельсперг, пятым потомком одного саксонского полковника, которого к нам поселил Фердинанд II. Вторым обстоятельством было то, что он не мог поместить больницу в другое место, чем в долинку за городом, — старый князь совершенно точно определил строительный участок.

И третье условие исходило от князя Адольфа. Еще до того, как Гюбнер вообще взялся за дело, старик сказал ему прямо:

— Посмотрите, Гюбнер, начнут это строить круглым. Времена бывают всякие и разные, сегодня строят больницу, а завтра из этого может быть сума-

сшедший дом или казарма. Пусть помнят, что когда доверяешь что-нибудь казне, так никогда не знаешь, чем это кончится.

С сознанием, что ему так советует человек, обладающий столь богатым опытом в отношении казны, притом — опытом тем более примечательным, что о будущих возможностях и расцвете казны у князя могло быть чисто интуитивное представление, инженер Гюбнер разработал проект, который полностью учитывал требования тестя. Отдельные больничные здания должны были строиться постепенно, на круговом фундаменте; посередине был задуман большой парк. Одно из запланированных зданий предназначалось быть приютом для сироток, которые должны были заниматься благоустройством больничного хозяйства. В объект вело всего двое ворот. Фердинанд Гюбнер считался не только с тем, что в будущем больницу можно приспособить под сумасшедший дом или же под казарму, но — и под тюрьму. Не произошло же этого никогда главным образом потому, что свои планы Гюбнер реализовал только частично.

Даже сто лет спустя, у осведомленного современника, смотрящего с шоссе на гюбнеровскую больницу, мог вырваться вздох: «Бедняга Гюбнер!»

Среди причин, дающих основание для такого страдания, нельзя забывать также его жену — княжну Марию-Луизу — единственную даму из этой знатной семьи, с которой (весьма редкая тактичность для семьи со спорным знатым происхождением) не дали писать портрета. Притом в галерее губастых, отекавших и идиотски улыбающихся Шауфельспергов, открываемую неким ландграфом с железным забралом на морде, до сих пор украшающим городской музей в Барахолкове, казалось бы, и эта дама не должна была бы слишком выделяться. Современники, — включая и вовсе не заинтересованных, — однако, долгие годы упрямо повторяли: да, Мария-Луиза, мол, выглядела

так ужасно, что её без густой вуали совсем не выпускали из дому, а одна из служанок Её Сиятельства, прислуживавшая во время гюбнеровской свадебной ночи, спустя много лет рассказала по секрету, что когда невесту в критическую минуту показали молодому инженеру неприкрытой, то он свалился в обморок, как подкошенный. Если бы в это время его больница уже была построена, то он мог бы стать в ней одним из первых пациентов.

Из своего первоначального проекта инженер Гюбнер успел построить только один из шести — задуманных с большим размахом — павильонов, а именно — солидное двухэтажное здание в экономном вокзальном стиле своего времени, с высокими окнами и еще более высокими входными воротами, с общей вместимостью, равной 84 кроватям, с операционным залом, кухней, прачечной и другими вспомогательными помещениями, с тремя лестницами, восемью трубами и двумя башенками по сторонам, являвшимися, по-видимому, единственными предметами во всей постройке, не служащими никакой практической цели.

Больше, однако, инженер Гюбнер из своего замысла осуществить ничего не смог, так как оказалось, что фонда господина фон Шауфельсперга на большее не хватало. Австро-Венгерское государство позже внесло свой вклад в виде очень скромной пристройки — одноэтажного кирпичного домишки, — расположенного посередине парка, история которого тоже не слишком располагает к инспирации. Этот домишко был построен в 1839 г. по идее тогдашнего командующего местным гарнизоном, ротмистра Хуго Рыпнитчека*, обосновавшего необходимость его постройки перед военным министром в Вене тем, что это будет

* По случайному стечению обстоятельств — прадедушка будущего начальника Главного политического управления, генерал-майора Славомира Рыбничка.

нечто вроде филиала полевого лазарета на случай войны с Турцией. В действительности, однако, ротмистр Рыпнитчек благодаря этому заполучил материал и рабочую силу в первую очередь для постройки семейной виллы «Моника» как раз в то время, когда он проиграл в ферблан приданое своей жены, а домик в больничном парке построил только из того, что осталось. Этот целесообразный метод параллельного строительства общественных и частных объектов достиг наиболее широкого размаха лишь в период Общественного Блага, когда, например, удалось построить параллельно с местной пожарной станцией не одну, а семь частных вилл одновременно. Случай ротмистра Рыпнитчека удивляет сегодня поэтому скорее своею скромностью, а не размахом.

Во время императорских маневров в 1903 году, тем не менее, в лазаретном баракишке посреди парка, воины одного венгерского полка действительно лечились от дизентерии, продававшейся за бесценок местным владельцем москательной лавки Гаеком в изящных бутылочках с этикеткой: «Тинктура Кáмара».

Начальником жандармерии (в те времена еще не народной) был тогда гетман Ганс Теодор Копеки, по произношению — ни чех, ни немец, ни даже венгр, а скорее — какой-то вассерполяк* из-под Остравы. Этот Копеки, ко всему, не пользовавшийся любовью из-за своей рьяности, большей, чем нормально бывает у полицейских, проникся определенным подозрением в отношении дизентерии у вышеуказанных воинов. Ему удалось наконец выжать признание из двух венгров, ослабленных гаековским поносом. Над несчастным Гаеком стягивались черные тучи.

* Презрительное название для жителей Тешинской области, которые в силу исторических и политических обстоятельств были вынуждены считать себя то поляками, то немцами. (Прим. пер.)

Гаек, правда, мужественно всё отрицал, но не будь ходатайства старосты Тафа, тоже замешанного в этом деле, вмешательства районного гетмана Хноупка, с женой которого путался староста, и, наконец, заступничества князя Карла фон Шауфельсперг, для которого Гаек изготавливал специальные капли против импотенции, — дело кончилось бы с Гаеком очень плохо. Однако, благодаря всему этому, Копеки дело замаял, и князь за это добился его перевода в Прагу. Вместо него в Барахолково прибыл какой-то меланхолический уроженец Штирии, большую часть времени исполнявший свои служебные обязанности в трактире «Зеленка» и выдержавший в Барахолкове до самого переворота в 1918 году. Это был любопытный уникум, потому что, когда он уезжал домой, то на вокзал проститься с ним пришло полгорода и плакал он безудержу до самой станции Голешовице-Бубны.

В общей сложности, в те времена жизнь была настолько идиллической (глядя грустными глазами некоторых позднейших эпох), что это с полным правом вело к повторению известного вопроса: «Почему, собственно, эту Австрию демонтировали? Был Палацкий прав в первый раз или во второй?»

— Разве мы уже не в Австрии, господа? — обобщил все это в лапидарном вопросе небезызвестный господин Готвальд, заведующий магазином уцененных товаров в Барахолкове, как раз когда он во времена власти Общественного Блага собирался сделать сто пятидесятый удар кием в партии на 20 крон с нота-риусом Безоушкой.

Заведующий магазином уцененных товаров сделал удар, выиграл и партию, и двадцать крон, но через месяц после этого получил четыре месяца безусловного наказания за надругательство над расой, народом и убеждениями. Иногда наступают ситуации, когда надо пробить дорогу такому благородному закону, невзирая на фамилию преступника, а подчас — и на то, что он сказал.

Это случилось, однако, много времени спустя после того, как отошли венгры, и маленький домик посреди больничного парка опять надолго осиротел. Позже его начали использовать как мертвецкую.

Перед концом Второй мировой войны больницу на короткое время захватил вермахт, а поскольку коек в ней было недостаточно, то в парке смонтировали еще три типизированных деревянных барака. Последние были сожжены сразу же после войны энергичной барахолковской Революционной гвардией во главе с подпоручиком в запасе, др. юр. наук Вилемом Шупом, благодаря чему она спасла город от эпидемии тифа, которая, вероятно, ему вообще не угрожала.

Таким образом, самая большая война в истории человечества оставила ностальгическую постройку Фердинанда Гюбнера в почти нетронутом виде, потому что единственное, чего на ней не доставало, была одна из башенок по сторонам, конкретно — левая из двух, — которую в день рождения Вождя, 20 апреля 1945 г., профессионально срезал американский бомбардировщик, причем вместе с неизвестным солдатом, который сушил носки и с той высоты выглядел, наверное, как расчёт пулемёта.

Что касается интерьера больницы, то в нем даже сам Гюбнер нашел бы после стольких лет очень мало изменений, среди которых был, в особенности, громоздкий грузовой лифт системы «Стиглер» — источник забавы и отчаяния благодарного персонала. В подвале больницы построили котельную: это произошло в 1932 г., когда здесь проводили центральное отопление. В этой котельной во времена самого расцвета Общественного Блага нашли себе работу последовательно несколько умственных работников, уставших от интеллектуального образа жизни, а во времена, когда происходили события, которым посвящен данный сборник, здесь работали евангелический священ-

ник господин Грдличка и романописец Боржек Ваха-Гомольский. Как власти, так и жандармерия были плохого мнения о них и находились они под регулярным надзором. Стараниями энергичного романописца котельная даже приобрела мифический ореол прямо-таки будуарной окраски.

Князя Адольфа фон Шауфельсперг, на пожертвования которого построили больницу, хватил удар в качалке, где он сидел с газетой в руках и как раз собирался прочесть бюллетень о ходе испано-американской войны. У него было три сына. Старший из них — Карл — получил в наследство семейный дворец в Вене и кресло в Парламенте, с которого еще 22 октября 1918 года требовал большей строгости в чешском вопросе. Эта дата интересна тем, что в тот же день и даже примерно в тот же самый час император Карл принимал в своем салонном вагоне по дороге из Деблинга в Вену чешского бунтовщика Вацлава Клофача, причем просил у последнего совета, что делать с тронem. Император старался при этом даже говорить по-чешски. Клофач не обладал чувством юмора, как пятьдесят лет спустя господин Роубичек из Душни улицы, ответивший на подобный вопрос во время легендарной аудиенции у тогдашнего президента Республики советом: «Постарайтесь как можно скорее переписать Градчаны* на свою благоверную».

Второй сын князя Адольфа, Карл Фердинанд, которому достался шауфельсперговский дворец в Праге и наследственное кресло наместника, проявил в кризисный период Австро-Венгерской монархии гораздо больший реализм, чем его шеф Куденгуф, поскольку уже в 1916 г. он тихо продал все, что ему принадлежало в Чехии, и переместил разумные резервы в нейтральную Швейцарию. Еще до переворота в 1918 г. он

* Пражский кремль, резиденция президента Республики. (Прим. пер.)

исчез, как пар над котлом, и с тех пор никто ничего о нем не слышал.

Третьего сына князя Адольфа звали Франтишек Леопольд, и когда в 1935 г. он умирал от цирроза печени, то ему принадлежала только часть пивоваренного завода в Барахолкове. Масарик лишил его даже титула.

Его единственный, тогда еще несовершеннолетний, сын Поль фон Шауфельсперг попал под опеку старого князя Карла из Вены, впавшего к старости в детство и распорядившегося послать мальчика в чешскую школу. И старая бонна водила потом молодого князька до его шестнадцати лет в чешскую школу в Барахолкове. Расходы обедневшей семьи покрывали только дивиденды с пивоваренного завода.

Предположение некоторых более молодых историков, что намеренной чехизацией самого младшего Шауфельсперга князь Карл хотел на самом деле лишь раз подложить кое-кому свинью, конечно, интересно, но его нельзя подтвердить достоверно. Вероятно, князь Карл был раздосадован тем, что его брат все пропил, и исходил из предпосылки, что яблоко от яблони недалеко падает, а поэтому с лёгким сердцем списал племянника со счёта. Из всего княжества Шауфельспергов в Чехии осталась в конце концов только вилла на участке бывшего замкового парка в Барахолкове, выделенная когда-то для управляющих княжеством, да забытый дом лесника в лесу за городом.

Но пусть раздражительный венский вельможа задумывал сделать из своего племянника что угодно, факт тот, что 22 мая 1945 года в Городской национальный комитет в Барахолкове явился молодой гражданин Павел Шауфельсперг в брюках-гольф и свитере, ранее принадлежавшем камердинеру Герольду (пал под Сталинградом), и подчёркнуто заявил, что даже Бакунину не приходило в голову делать детей ответственными за поступки своих родителей.

— Кроме прочего, я, наверное, внебрачный, — добавил он. — Скорее всего, я сын повара Елинека.

Возможно, что и это облегчило его устройство, однако, кроме того, князь заявил, что дарит городу пивоваренный завод и семейную виллу. Присутствовавших комитетчиков, которые, конечно, за столь короткое время существования республики не смогли выбрести из духовного балласта предшествующих столетий, это потрясло настолько, что ему тут же выдали справку, пожали руку, и проводили к лестнице. Не будь позднейших исторических перипетий, можно было бы сказать, что тем самым господи фон Шауфельсперги сошли со сцены.

Из всего княжества Шауфельспергов в Чехии сохранился совсем незначительный, малюсенький остаток — дом лесника за городом. Став народно-демократическим, князь несколько лет спустя уютно обставил его и приезжал сюда отдыхать после утомительной государственной работы.

В руководстве города Барахолкова имеется не один пример семейной непрерывности. Это служит мощным аргументом в пользу философских координат гюбнеровского кругового проекта, которые ранее были взяты нами под сомнение.

Так, например, здесь сразу же под рукой имеется внук одного предприимчивого владельца москательной лавки, продававшего в 1903 г. дизентерию венгерским воинам. Этот внук, хоть и не мог похвастаться достаточно низким происхождением, тем не менее, в новых условиях успешно пробился и, зарекомендовав себя поочередно то как преданный заведующий, то как успешный директор различных учреждений, стал позже старостой и районным диспетчером или — наоборот.

Также и праплемянник бывшего когда-то старосты Тафа не нарушил традиции, когда его незаменимость в руководстве городскими и районными делами необратимо подтвердилась. И если бы мы покопались

в родословном древе господина др. юр. наук Вилема Шупа, который всегда был на своем месте, пусть уж это место было где угодно, то мы обнаружили бы, что он зять племянницы районного гетмана Хноупка, которому в глаза попала сажа от паровоза первого поезда, остановившегося в Барахолкове. Неясно лишь дело с начальником народной жандармерии, господином Копецким. Правда, он мог бы быть живым продолжением Ганса Теодора Копеки, но это не установлено достоверно. Господин Блатник даже предлагает совершенно другую версию.

Известно и другое. Бывшие поденщики, слуги, прачки, кучера, жестянщики и торговки как будто тоже тут находились. Хотя бы по одному отпрыску из большинства семей оставалось здесь всегда вплоть до настоящего времени.

В те дни, когда разворачивались описанные ниже события, все эти люди еще не были разделены на те общества и союзы, в которые чехи разбегаются сразу же, как только им это разрешают. Тогда еще не было «барачников»* и членов рабочего спортклуба, скаутов или «наймановцев», народных социалистов или «орлов», красных или зеленых. К нашему времени это была большая неделимая толпа, заполнявшая время от времени шагом ленивым и нестроевым (в дни, к тому предназначенные) памятную барахолковскую площадь от казармы до самого храма, неподвижная, тихая и покорная, а облачки дыма из никогда не гаснущих сигарет клубились над нею, как редкий туман над осенней трясинной. Но над этой мощной толпой и над этими клубами дыма еще торчали на длинных жердях транспаранты с лозунгами, полными радости, благодарности и обещаний, а еще выше — над ними — глазел безучастный и молчаливый Моровой столб,

* Члены общества, пропагандирующего старые традиции деревни. (Прим. пер.)

хмурый свидетель всего прошлого и настоящего. Основатель тоже возвышался на торжественном пьедестале: он упирал свои взоры в похоронное бюро «Мориц Кон и сыновья» и был безразличен к тому, что его задняя часть страдает оной проклятой правосторонней асимметрией.

И конечно! — пред бывшей сберкассой, как бы завернутой в гирлянды и портреты, — ясным пурпуром протянутая трибуна, с которой на свой послушный, терпеливый народ ласковым взором смотрели заботливые правители города и района, его элита и авангард, как бы вставленные чувствительной рукой опытного декоратора в серо-зеленую раму гордых латников, окружавших трибуну.

А на княжеской дороге, обритой от лишних тополей, вступление в город делало более приятным шикарное яркое панно, на котором между эмблемой города (копьем, воткнутым в оленя во время октябрьского гона) и знаком власти (скрещенными ремесленными инструментами эпохи позднего феодализма) радостно встречала истомленного путника гордая надпись: «Вас приветствует Барахолково — город славных революционных традиций!»

Направо — наполовину загороженная и облупившаяся от ветров жестяная табличка на жерди, у которой часто мочилась рыжеватая собака дамского парикмахера Ведлейша, жившего неподалёку. Эта табличка лаконично предупреждала: «Водитель, осторожно! Участок частых аварий!»

Глава III

Общественное Благо в Барахолкове и окрестностях

Первоисточки следует искать в существовавшем когда-то «Союзе добромыслов», из которого позже возникло известное движение Общественного Блага. Согласно классикам*, необходимо различать три главных этапа развития, через которые прошло это движение:

- 1) Еврейско-католический этап: представляет собой компромисс в вопросе о Мессии, поскольку речь шла, в конце концов, о решении политического вопроса, и цель, рано или поздно, должна была оправдать средства. Компромисс состоял в том, что хотя ни одна сторона не отступила от своего исходного тезиса (Мессия еще не пришел — Мессия уже пришел), однако Мессия был по тактическим соображениям перемещен в нейтральное настоящее время, чтобы его приход казался явлением более или менее непрерывным. Окончательная формулировка поэтому была следующей: «Мессия приходит, братья, возьмите сумки, идем инкассировать Ротшильдов и Банк Св. Духа».
- 2) Протестантский этап: исходит уже из познания, что Мессия не явился, и приходит к трезвому заключению, что было бы нецелесообразно и в дальнейшем на него рассчитывать. Этот этап, таким образом, характеризовался здравым англо-саксонским прагматизмом. В сжатом виде утверждалось: «У Мессии что-то

* Академик Бивой Квеш: «Блеск и нищета Общественного Блага», стр. 37.

не в порядке, братья, мы должны добиваться своего в Парламенте».

- 3) Православный этап: он примерно на 90 лет отстал, пропустил поэтому опыт, накопленный о Мессии, и в соответствии с этим ведет себя. Его главный пророк, патриарх Византополей, позже награжденный почетным титулом Гений, поставил вопрос ясно уже в самом начале: «Никто не станет возиться с Мессией. Если он не придет сам, то будет доставлен».

Мы к сожаления, конкретно имели дело как раз с третьим этапом, так как первый миновал нас благополучно, а ко второму мы потеряли усидчивость.

Само собою, причин должно было быть больше. Лишь наугад приводим, например, отговорку, что одни, мол, прямо рвались к этому делу, не имея информации, тогда как те, у кого информация была, ее вовремя не опубликовали. Согласно другой версии, решение о нас было принято уже на происходившем в Рапалле Совещании в пижамах; и мы, бедняги, вынуждены были с этим согласиться, хотели ли мы этого или нет. Недавно появилась также несколько грубоватая версия, предложенная бывшим премьер-министром в телевизионной передаче, называвшейся «Что мы себе, то мы себе». На вопрос редактора: «Что вы на это скажете, господин кельнер?», последний ответил: «Вначале мы представляли себе это как хохму, потому что было 1-е апреля. Никому не могло прийти в голову, что потом из-за этого будем почти до пенсии праздновать Победоносный Апрель».

Излишне поэтому обсуждать вопрос, что было бы, если бы да кабы, потому что тем самым мы занялись бы переливанием из пустого в порожнее и появилась

* Бывший премьер-министр теперь разносит пиво в трактире «У живодёра» в деревне Запуки.

бы опасность нелитературных выражений. Поэтому лучше уж останемся при том факте, что однажды Движение Общественного Блага появилось на повестке дня, пусть это произошло так или эдак.

Поскольку это Движение, как было сказано, развилось из первоначального «Союза добромыслов», то естественно, что еще того же 1-го апреля в нем была хотя бы половина добромыслов. Это обстоятельство явилось в дальнейшем причиной длительных внутренних затруднений Движения Общественного Блага и справиться с ними удалось лишь на последнем этапе, когда уже, к сожалению, нельзя было все равно ничего спасти.

При этом Основатель правильно видел опасность, вытекающую из этого; и в ряде своих директив он старался показать, что добромыслы не годятся для управления, что для этого больше подходят кремнемыслы. Он ввел также общегосударственные курсы для переучивания добромыслов в кремнемыслы; и поскольку это усилие не осталось без последствий, Основатель смог осуществить следующий из своих достойных внимания замыслов, исходящих, впрочем, из континентального опыта.

Организационным принципом Общественного Блага стал так называемый вертикальный горизонтализм, который, помимо всего прочего, оправдал себя уже в Древнем Египте, не говоря о Персии. Согласно этой модели, приказы посылались по вертикали вниз, откуда они с различных ступеней и уровней распространялись горизонтально. Наверх, наоборот, посылались налоги, поздравительные телеграммы и сигналы, если где-то что-то не ладилось.

Принципу вертикального горизонтализма отвечала также административная схема. Наивысшим органом государственной власти была в период Общественного Блага Верховная диспетчерская, во главе которой стоял Верховный Диспетчер. Последний назна-

чался пожизненно. Было не только очень трудно стать Верховным Диспетчером: не менее трудно было сместить потом Верховного Диспетчера. Естественная смертность Верховных Диспетчеров в континентальном масштабе была ничтожной. На пенсию нормально вышли только трое из них; девять сошло с ума, а об одном всем было известно, что он умер за пять лет до своей официальной кончины, причем все это время его заменял двойник.

В Барахолкове, — а для нас важно именно оно — отряды Серой Чумы должны были вытаскивать последнего районного диспетчера Оскара Ману из его канцелярии подъемным краном...

Низшие органы власти отвечали территориальному делению. Поэтому существовали диспетчерские: областные, районные, городские, участковые, заводские, уличные и т.п... Система диспетчерских сверху донизу была неделимой частью вертикального горизонтализма и де факто вообще основой основ Общественного Блага. Как только где-нибудь было что-либо не в порядке в Общественном Благe, можно было совершенно резонно задать вопрос: что там делает районная (областная, уличная и т.п.) диспетчерская? не проворонил ли там что-то наш диспетчер?

Надо сказать, что даже введение вертикального горизонтализма и системы диспетчерских не обошлось без никчемных дискуссий, — но так уж в Чехии водится всегда и во всем. Некоторые дотошные даже подняли вопрос о том, не был ли как раз этот организационный принцип причиной известного фатального прозябания некоторых восточных обществ. Эти ненаучные и ехидные намеки, однако, лучше всех опроверг наиболее известнейший чешский востоковед, профессор Венда Оплуштил, в своем блестящем труде «О происхождении вертикали, горизонтали и жратвы». На стр. 952 сокращенного издания для Клуба пенсионеров он, к примеру, пишет: «Древнее китай-

ское общество переживало застой не потому, что оно руководилось вертикальным горизонтализмом, а потому, что начало руководствоваться им только после открытия бумаги; и за прошедшие всего лишь две тысячи лет не могли достаточно проявиться бесспорные преимущества этой благотворной системы».

Но и после введения вертикального горизонтализма и установления диспетчерских осталась, тем не менее, старая проблема — что делать с Общественным Благом как таковым? ведь можно было ожидать, что местное население, известное своей придирчивостью, а также по-разному попрятавшиеся, скрытые добромыслы, которых не удалось переквалифицировать на кремнемыслов, начнут со временем об этом расспрашивать.

Основатель и это понимал с самого начала. Чтобы внести в дело ясность и порядок, он установил следующие принципы: «Сначала от неблага к малому благу, потом — от малого блага к большому благу, потом — от большего блага к еще большому благу и, наконец, — от еще большего блага к полному благу, когда полностью исчезнет неблаго и у каждого будет столько блага, сколько ему удастся заполучить в рамках существующих законов». (Основатель, «Избранные труды», том 62, стр. 313).

На основании этого постулата было решено, что работники соответствующих диспетчерских будут освобождены от медленного перехода от неблага к полному благу, причем — в дифференцированном порядке, в соответствии со следующей схемой: 1) члены Верховной Диспетчерской вступят незамедлительно в этап «полного блага», чтобы избавиться от надоедливых и скучных дел и иметь время для государственной работы; 2) члены областных диспетчерских вступят в этап «еще большего блага»; 3) члены районных, городских и участковых диспетчерских вступят

в стадию «бóльшего блага»; 4) работники местных, заводских и уличных диспетчерских начнут со стадии «малого блага».

Это решение было осуществлено немедленно.

Что касалось Барахолкова, то его диспетчерская принадлежала к третьей категории, то есть к «бóльшему благу», и единственное исключение составлял районный начальник Народной жандармерии штабс-капитан Копецкий, которого хотя и звали Доброславом, но как кремнемысл II Категории он имел право на «еще бóльшее благо».

Одновременно с этими мерами возник также вопрос психологического порядка. Хотя переучивание добромыслов на кремнемыслов оказалось не только в принципе правильным, но и успешным, особенно в диспетчерских высших категориях, — появилась необходимость организованной сердечности. Поэтому для кремнемыслов были организованы курсы, где они обучались внешним проявлениям поведения стандартного добромысла. Окончившим эти курсы присуждались титулы Добряка I, II и III производственных категорий, с премиями.

Этот вопрос был одной из последних теоретических проблем, которым занимался стареющий Основатель.

«Мы должны уметь, — написал он мудро, — быть иногда добромыслами, а иногда — кремнемыслами, иногда же — и теми и другими одновременно.»

Когда он это дописал, то отдал приказ казнить несколько своих родственников и умер, чтобы дать повод для общегосударственного траура. При вскрытии обнаружили, что у него не было печени. Научный совет Министерства заболеваемости однозначно характеризовал последний факт как анатомическое доказательство гениальности Основателя.

В последующие годы по всей стране были воздвигнуты памятники Основателю. В Запуках основа-

теля изваяли на коне и с карандашом в руке. Памятник в Барахолкове олицетворял скорее простоту Основателя.

Смерть Основателя побудила все диспетчерские приложить еще больше усилий для создания Общественного Блага.

Через некоторое время, когда израсходовались запасы со времен неблага, оказалось, что путь к большому благу — не говоря уж о полном благе — очень сложен. Начали всё чаще поступать отрицательные сигналы, которые шли от низших диспетчерских к высшим. На пути к большому благу стали возникать стихийные бедствия: чаще всего — угольные, чесночные и снежные. Однако бывали также бедствия говяжьи, цементные или керосиновые; были отмечены даже стихийные бедствия, проявившиеся в отсутствии дамских чулков-колготок, дрожжей и домашних тапок сорок второго размера.

Послышались голоса, что Основатель не так представлял себе всё это и надо бы попробовать делать всё иначе. Дамский парикмахер Ведлейш, заведовавший конторой № 02 «Мужские и дамские парикмахерские» Коммунальной службы города Барахолкова и пользовавшийся в городе значительным авторитетом, хотя он и не был в диспетчерской, открыто высказывался, что в Корутанах не благо лучше, чем у нас — благо. Он, правда, был переведен парикмахером в Брдечко, но разговоры продолжались. Когда же вдруг произошло несколько стихийных бедствий одновременно, положение стало настолько запутанным, что в Районной диспетчерской при голосовании добромыслы добились большинства в соотношении 17 : 16, причем — по жгучему вопросу об утреннем кукарекании.

Несмотря на то, что эта проблема может в настоящее время показаться — при поверхностном рассмотрении — мало существенной, во времена Общественного Блага она играла крайне важную роль.

Надо отметить, что утреннее кукареканье было еще при жизни Основателя упорядочено Указом Верховной Диспетчерской № 119 Сб. зак., а именно, таким образом, что в период с марта по октябрь, когда ранние звуки птиц вторгаются в личную жизнь населения, вместо одного кукареканья были введены два. Первое утреннее кукареканье предназначалось для трудящихся и приходилось на 5 часов утра. Второе утреннее кукареканье, предназначенное только для работников диспетчерских, было передвинуто на 9.30 утра.

Хотя такое должностное разделение кукареканья подтвердило свою правильность даже через несколько лет и продемонстрировало эффективность, некоторые малодушные добромыслы были под влиянием стихийных бедствий охвачены паникой и снова начали требовать введения только одного утреннего кукареканья — в 6 часов утра, — как для трудящихся, так и для диспетчерских. И, как уже было отмечено, — в один прекрасный летний вечер они большинством голосов 17 к 18 добились своего.

Сообщение это быстро разнеслось по городу; и в пивных царило радостное настроение, так что на следующую ночь (а это была ночь с пятницы на субботу) у многих преобладала физическая усталость. Ко всему прочему, в Барахолково внезапно приехала дружественная армия и расположилась тут на бивуак, причем была вынуждена в интересах дела разместить-ся даже в некоторых административных зданиях.

Районная диспетчерская напрасно добивалась инструкций от Областной диспетчерской относительно того, что делать в непривычной ситуации. Вышестоящее звено ответило после устранения поломки на линии совершенно неудовлетворительно:

«Делайте, что хотите, у нас их тут тоже полно». Районная и областная диспетчерская колебались, так как не привыкли принимать самостоятельные ре-

шения. Вертикальный горизонтализм просто не учел такой возможности. Народ и дружественная армия, происхождение которой нельзя было даже приблизительно установить из-за существенной антропологической пестроты последней, были предоставлены сами себе.

Из Брдечка приехал парикмахер Ведлейш и, сопровождаемый большой толпой трудящихся, пытался выяснить, в чем дело. На его вопрос — почему они, собственно, приехали в Барахолково, — один дружественный ротмистр заявил, после того как высморкался в плащ Ведлейша:

— Дома была такая скука, по телевизору — сплошная ерунда, армия в неуважении да и столовка дрянная — вот мы и поехали в Баден-Баден.

— Но здесь-то ведь не Баден-Баден, — заметил парикмахер Ведлейш. — Чтобы туда доехать, вам нужно было бы еще по крайней мере два дня маршировать в направлении на юго-запад. Здесь ведь Барахолково.

Офицер оглядел площадь; его усталый взгляд остановился на колбасах за витриной магазина «Мясо — Копченые изделия», и он сказал:

— Ну, что же, тут тоже хорошо.

Такая аргументация всех растрогала; и парикмахер Ведлейш, крутя головой, отправился в пивную, поскольку во всем городе тогда работало только это заведение.

Между тем кремнемыслы, недовольные своим поражением на заседании Районной диспетчерской в вопросе об утреннем кукарекании и в ужасе от одной мысли, что они должны будут вставать в 6 часов утра, сошлись тайком и решили послать к дружественному войску свою депутацию, чтобы независимо расследовать, что и как.

Депутация застигла командующего дружественными войсками лежащим на кушетке в кабинете ди-

ректора Городской библиотеки. Генерал поедал кислую капусту прямо из бочки и находился в хорошем настроении. На вопрос, как долго войска собираются пробывать в Барахолкове, генерал ответил без колебаний:

— Примерно несколько лет.

Точность и меткость этого ответа прямо-таки электризовали не только депутацию, но и остальных кремнемыслов, ждавших в потайном месте, с какими результатами она вернется. Когда им стало ясно, как обстоит дело, то они ни минуты не сомневались. На следующий день они созвали заседание Районной диспетчерской. На втором этаже, где находился зал заседаний, они открыли окно и с помощью технического персонала повыбрасывали на улицу добромыслов — всех до одного. Двое, пролетая по воздуху, отказались от своих взглядов и поэтому были приняты обратно и впущены снова через двери.

Таким образом, был вновь пересмотрен не только жгучий вопрос об утреннем кукареканьи, которое нормализовали незамедлительно, то есть — впредь оно опять происходило дважды, — но и отношение к дружественной армии, к которой многие добромыслы были настроены отрицательно. Благодаря этому, обстановка в диспетчерской оздоровилась. Орган принял обращение к трудящимся, где, помимо прочего, говорилось: «Мы остаемся верными завещанию наших предков, которые всегда верили, что бедность не умаляет чести и что труд украшает человека. Что касается войск, то и тут мы будем придерживаться традиции. Разве не было бы в резком противоречии с традиционным чешским гостеприимством посылать дружественные войска снова обратно туда, откуда они ушли вследствие столь серьезных причин? Разве не имеет каждый право — согласно Декларации прав человека — выбрать себе страну, в которой он хочет жить?». ».

Этот разумный призыв к почитанию традиций и, в особенности, к реализму способствовал тому, что положение опять нормализовалось. Парикмахер Ведлейш был снова переведен, на сей раз — из Брдечка в Заветрово; и добромыслы были включены в производственный процесс. Казалось, что в городе снова воцарились покой и порядок.

Многообещающее развитие, однако, не продолжалось долго.

Диспетчерская, правда, работала как хорошо обслуживаемый и смазываемый механизм, тем не менее, специалисты с большими опасениями наблюдали за непрерывным уменьшением количества появляющихся анекдотов. В ноябре, предшествовавшем бурным зимним событиям, оно оказалось даже ниже коэффициента 16,3, что — по столетнему полицейскому календарю — предвещало либо нашествие пруссаков, либо катастрофическую засуху.

Пруссак, однако, тогда уже не могли приниматься в расчет, поскольку они — в рамках национальной реорганизации — на континенте вымерли, освободив тем самым место для возникновения самой совершенной демократической модели в Европе. Кроме того, в Барахолкове тогда уже находилась одна дружественная армия, так что свободного места для расквартирования еще одной совсем не осталось. Что касается засухи, то о ней тоже ничто не свидетельствовало. Районная диспетчерская напрасно ломала себе голову, какая же другая катастрофа, равная по своему значению пруссакам или засухе, могла бы угрожать. Но ничего нельзя было поделать, и события вскоре не заставили себя ждать. Сначала умер дамский парикмахер Ведлейш. Поскольку он нигде не проявлял своих симпатий Общественному Благу и к тому же был популярен в районе, руководство в начале ожидало, что без Ведлейша положение станет проще. Вместо этого на его могиле внезапно начали появляться цветы

и свечи, причем — в количестве, превышающем установленное инструкцией № 317 для лиц категории Ведлейша; и диспетчерскую охватила нервозность. Жандармерия бросила на кладбище свои самые квалифицированные кадры; Районная диспетчерская на каждом заседании выслушивала и обсуждала ежедневные сообщения о положении на могиле Ведлейша. Мертвый Ведлейш вскоре настолько загрузил работой местные органы, что прямо наводил на них страх, как привидение.

Никому не удалось удовлетворительно объяснить это странное явление, потому что многие члены диспетчерской даже совсем не знали живого Ведлейша и запрет зажигания свечей на могиле обосновывали опасностью пожара. Фактом, однако, остается то, что диспетчерская запретила в Барахолкове продажу свечей и представила перед населением в невыгодном свете начальника пожарной команды господина Вацлавика, заставив последнего взять этот запрет на себя.

Длительное пребывание на кладбище в дождливую осеннюю погоду подорвало здоровье многих жандармов, в особенности же тех, которые дежурили там и ночью, чтобы устранять с могилы Ведлейша цветы и свечи. Когда же приблизилось Рождество, то десятки жандармов уже лежали с гриппом, ангиной и ревматизмом.

Ко всему создавшемуся положению начался самый сильный с 1832 г. снегопад, при котором гражданам ростом ниже 130 см не рекомендовалось выходить из дому. Вдобавок к этому, в местной больнице у незнакомой женщины, вынесенной из проезжавшего мимо поезда, родились здоровые шестерняшки, о которых вскоре после этого стало известно, что их отцом является бывший Верховный Диспетчер Покорный, лицо нежелательное, неудобное и вычеркнутое отовсюду; но это стало известно лишь после того, когда его

шестерняшки уже начали пользоваться мировой славой.

В то же самое время — и прямо как следствие вопроса о шестернях, хотя нижеупомянутый еще не знал, что речь шла о потомках смещенного Верховного Диспетчера, — был похищен районный диспетчер Вацлав Гаек. Неизвестные похитители выпустили его потом на волю душевнобольным, после чего необходимо было запрятать беднягу в сумасшедший дом и искать ему замену. Последняя еще больше подлила масла в огонь: Верховная диспетчерская послала в Барахолково — в рамках Обновленного государственного устройства — некоего Оскара Ману. Этот несчастный происходил из самого Варадина и только по дороге в Барахолково начал изучать немного немецкий язык, чтобы чехи его понимали. За короткое время своего пребывания в Барахолкове Мана, правда, успел написать достойный внимания трактат*, однако он почти ни с кем не мог тут договориться. Единственное исключение составляли несколько граждан цыганского происхождения, но те не знали ни слова ни по-чешски, ни по-немецки и поэтому не могли быть переводчиками для Маны в Районной диспетчерской.

А пока члены Районной диспетчерской ускоренно изучали венгерский, а Оскар Мана — немецкий, власть ослабла; да еще, ко всему, наступила резкая оттепель и слякоть. Вдобавок, почти весь жандармский гарнизон в критическую ночь был занят своими обязанностями на кладбище, где он занимался перенесением парикмахера Ведлейша на новое место; и все это оказалось совершенно достаточным для Серой Чумы, чтобы начать свои дела. Объятая дурным предчувствием, что после перенесения гроба Ведлейша жандармы примутся за неё, подозревая её в похищении Гаека

* Оскар Мана: «Endlösung der Tschechischen Frage» («Окончательное решение чешского вопроса»). (Прим. пер.)

и в подпиливании трибуны на стадионе, Серая Чума* вышла незадолго до полуночи из своих незаметных канцелярий. И на рассвете тусклого зимнего утра город был поставлен перед свершившимся фактом. Организациям не осталось ничего другого, как посылать поздравительные телеграммы. Главой города стал городской начальник Серой Чумы Горимир Зуска. Дружественные войска отнеслись ко всему случившемуся — как это ни удивительно — совершенно нейтрально. Даже Копецкий не смог ничего поделать, так как известие о перевороте застигло его в могиле парикмахера Ведлейша. Сообщил это известие Копецкому неизвестный вахмистр, принеший его на кладбище, рискуя собственной жизнью, в нижнем белье и раненый веником. И Копецкий вылез тогда из могилы по лесенке и отправился в ратушу, где подал главе города руку и заявил:

— Я всегда был верным слугой общественного порядка.

Для того, чтобы помочь читателю увидеть события во всех исторических и территориальных взаимосвязях, мы можем еще раз процитировать из упомянутой выше книги академика Бивоя Квеша: «В течение нескольких дней, таким образом, Серая Чума захватила власть над всеми городами в Чехии, за исключением Бенешова над Плоучничи, где районная диспетчерская забыла организовать Городской инспекторат общественного порядка. Со времени установления

* Серая Чума — специальные отряды городских магистратов, носящие форму, действующие формально под эгидой Городского инспектората общественного порядка. Вначале они занимались только подсчетом твердых собачьих экскрементов и штрафовали владельцев собак, но постепенно превратились в самый могущественный вооруженный отряд. Их главным оружием были короткие быстрострельные протвищи, импортируемые из Северной Ирландии в ящиках для артели «Ремесленные принадлежности».

диктатуры Серой Чумы начинается наивысшая стадия Общественного Блага в Чехии».

Однако последний вывод академика Квеша по времени и действию выходит за пределы данного сборника и поэтому мы не будем далее им заниматься. Ведь целью этой главы, в конце концов, было не что иное, как помочь читателю лучше ориентироваться в части, содержащей воспоминания и документы, которая иначе могла бы показаться несколько затруднительной для чтения.

(Продолжение следует)

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ

История, рассказанная ниже,
правдива. К сожалению, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтверждениях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят «я верю», а «согласен».

В атомный век людей волнуют больше
не вещи, но строение вещей.
И как ребенок, распатронив куклу,
рыдает, обнаружив в ней труху,
так подоплеку тех или иных
событий мы обычно принимаем
за самые события. В этом есть
свое очарование, поскольку
мотивы, отношения, среда
и прочее — все это жизнь. А к жизни
нас приучили относиться как
к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только
переплести мотивы, отношения,
среду, проблемы — и произойдет
событие; допустим, преступление.
Ан нет. За окнами — обычный день;
накрапывает дождь, бегут машины,

и телефонный аппарат (клубок катодов, спаяк, клемм, сопротивлений) безмолвствует. Событие, увы, не происходит. Впрочем, слава Богу.

Описанное здесь случилось в Ялте. Естественно, что я пойду навстречу указанному выше представленью о правде — то есть, стану потрошить ту куколку. Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент Искусства, которое, в конечном счете, есть основа всех событий (хоть искусство писателя не есть Искусство жизни, а лишь его подобье).

Показанья свидетелей даются в том порядке, в каком они снимались. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства — от наличья правды.

1

«Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет. А мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «в субботу». С какою целью? Просто мы давно хотели сесть и разобрать совместно один этюд Чигорина. И всё. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было. При том условии, конечно, что желанье

увидеться с приятным человеком не называют целью. Впрочем, вам видней... но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль! я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет. Он говорил своим обычным тоном. Конечно, телефон есть телефон; но, знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слышал волнения... Вообще-то он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько: ведь мы молчанье собеседника обычно воспринимаем как работу мысли. А это было чистое молчанье. Вы начинали ощущать свою зависимость от этой тишины, и это сильно раздражало многих. Нет, я-то знал, что это результат контузии. Да, я уверен в этом. А чем еще вы объясните... Как? Да, значит, он не волновался. Впрочем, ведь я сужу по голосу и только. Скажу во всяком случае одно: тогда во вторник и потом в субботу он говорил обычным тоном. Если за это время что-то и стряслось, то не в субботу. Он же позвонил! Взволнованные так не поступают! Я, например, когда волнуюсь... Что? Как протекал наш разговор? Извольте. Как только прозвучал звонок, я тотчас снял трубку. «Добрый вечер, это я. Мне нужно перед вами извиниться.

Так получилось, что придти сегодня я не сумею». Правда? Очень жаль. Быть может, в среду? Мне вам позвонить? Помилуйте, какие тут обиды! Так до среды? И он: «Спокойной ночи».

Да, это было около восьми. Повесив трубку, я прибрал посуду и вынул доску. Он в последний раз советовал пойти ферзем Е-8. То был какой-то странный, смутный ход. Почти нелепый. И совсем не в духе Чигорина. Нелепый, странный ход, не изменявший ничего, но этим на нет сводивший самый смысл этюда. В любой игре существенен итог: победа, поражение, пусть ничейный, но все же — результат. А этот ход — он как бы вызывал у тех фигур сомнение в своем существовании. Я просидел с доской до поздней ночи. Быть может, так когда-нибудь и будут играть, но что касается меня... Простите, я не понял: говорит ли мне что-нибудь такое имя? Да. Пять лет назад мы с нею разошлись. Да, правильно: мы не были женаты. Он знал об этом? Думаю, что нет. Она бы говорить ему не стала. Что? Эта фотография? Ее я убрал перед его приходом. Нет, что вы! вам не нужно извиняться. Такой вопрос естественен, и я... Откуда мне известно об убийстве? Она мне позвонила в ту же ночь. Вот у кого взволнованный был голос!»

«Последний год я виделась с ним редко, но виделась. Он приходил ко мне два раза в месяц. Иногда и реже. А в октябре не приходил совсем. Обычно он предупреждал звонком заранее. Примерно за неделю. Чтоб не случилось путаницы. Я, вы знаете, работаю в театре. Там вечно неожиданности. Вдруг заболевает кто-нибудь, сбегает на киносъемку — нужно заменять. Ну, в общем, в этом духе. И к тому же — к тому ж он знал, что у меня теперь... Да, верно. Но откуда вам известно? А впрочем, это ваше амплуа. Но то, что есть теперь, ну, это, в общем, серьезно. То есть я хочу сказать, что это... Да, и несмотря на это я с ним встречалась. Как вам объяснить! Он, видите ли, был довольно странным и непохожим на других. Да, все, все люди друг на друга непохожи. Но он был непохож на всех других.

Да, это в нем меня и привлекало. Когда мы были вместе, все вокруг существовать переставало. То есть, все продолжало двигаться, вертеться — мир жил; и он его не заслонял. Нет! я вам говорю не о любви! Мир жил. Но на поверхности вещей — как движущихся, так и неподвижных — вдруг возникало что-то вроде пленки, вернее — пыли, придававшей им какое-то бессмысленное сходство.

Так, знаете, в больницах красят белым и потолки, и стены, и кровати. Ну, вот представьте комнату мою, засыпанную снегом. Правда, странно? А вместе с тем, не кажется ли вам, что мебель только выиграла б от такой метаморфозы? Нет? А жалко. Я думала тогда, что это сходство и есть действительная внешность мира. Я дорожила этим ощущением.

Да, именно поэтому я с ним совсем не порывала. А во имя чего, простите, следовало мне расстаться с ним? Во имя капитана? А я так не считаю. Он, конечно, серьезный человек, хоть офицер. Но это ощущение для меня всего важнее! Разве он сумел бы мне дать его? О Господи, я только сейчас и начинаю понимать, насколько важным было для меня то ощущение! Да, и это странно. Что именно? Да то, что я сама отныне стану лишь частичкой мира, что и на мне появится налет той патины. А я-то буду думать, что непохожа на других!.. Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина. Вам тоже? С удовольствием. Ну что вы, я ничего не думаю! Когда и где мы познакомились? Не помню. Мне кажется, на пляже. Верно, там: в Ливадии, на санаторском пляже.

А где еще встречаешься с людьми
в такой дыре, как наша? Как, однако,
вам все известно обо мне! Зато
вам никогда не угадать тех слов,
с которых наше началось знакомство.
А он сказал мне: «Понимаю, как
я вам противен, но...» — что было дальше,
не так уж важно. Правда, ничего?
Как женщина советую принять
вам эту фразу на вооруженье.
Что мне известно о его семье?
Да ровным счетом ничего. Как будто,
как будто сын был у него — но где?
А впрочем, нет, я путаю: ребенок
у капитана. Да, мальчишка, школьник.
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...
Нет, о семье я ничего не знаю.
И о знакомых тоже. Он меня
ни с кем, насколько помню, не знакомил.
Простите, я налью себе еще.
Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не знаю, кто его убил.
Как вы сказали? Что вы! Это — тряпка.
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.
К тому ж, они приятели. Чего
я не могла понять, так этой дружбы.
Там, в ихнем клубе, они так дымят,
что могут завонять весь Южный Берег.
Нет, капитан в тот вечер был в театре.
Конечно, в штатском! Я не выношу
их форму. И потом мы возвращались
обратно вместе.

Мы его нашли
в моем парадном. Он лежал в дверях.
Сначала мы решили — это пьяный.
У нас в парадном, знаете, темно.

Но тут я по плащу его узнала:
на нем был белый плащ, но весь в грязи.
Да, он не пил. Я знаю это твердо;
да, видимо, он полз. И долго полз.
Потом? Ну, мы внесли его ко мне
и позвонили в отделение. Я?
Нет — капитан. Мне было просто худо.

Да, все это действительно кошмар.
Вы тоже так считаете? Как странно.
Ведь это — ваша служба. Вы правы:
да, к этому вообще привыкнуть трудно.
И вы ведь тоже человек... Простите!
Я неудачно выразилась... Да,
пожалуйста, но мне не наливайте.
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,
а утром — репетиция. Ну, разве
как средство от бессонницы. Вы в этом
убеждены? Тогда — один глоток.
Вы правы, нынче очень, очень душно.
И тяжело. И совершенно нечем
дышать. И все мешает. Духота.
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше —
я больше ничего не знаю. Да?
Я совершенно ничего не знаю.
Ну что вам нужно от меня? Ну что вы...
Ну что ты хочешь? А? Ну что? Ну что? Ну что?»

3

«Так вы считаете, что я обязан
давать вам объяснения? Ну что ж,
обязан так обязан. Но учтите:
я вас разочарую, так как мне
о нем известно, безусловно, меньше,

чем вам. Хотя того, что мне известно,
достаточно, чтобы сойти с ума.
Вам, полагаю, это не грозит,
поскольку вы... Да, совершенно верно:
я ненавижу этого субъекта.
Причины вам, я думаю, ясны.
А если нет — вдаваться в объяснения
бессмысленно. Тем более, что вас,
в конце концов, интересуют факты.
Так вот: я признаю, что ненавижу.

Нет, мы с ним не были знакомы. Я —
я знал, что у нее бывает кто-то.
Но я не знал, кто именно. Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне
достаточно обычного вниманья.
Тем более... Да, слепота возможна.
Но вы совсем не знаете ее!
Ведь если она мне не говорила
об этом типе, то не для того,
чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось
расстраивать меня. Да и скрывать
там, в общем, было нечего. Она же
сама призналась — я ее припер
к стене — что скоро год, как ничего
уже меж ними не было... Не понял —
поверил ли я ей? Ну да, поверил.
Другое дело, стало ли мне легче.

Возможно, вы и правы. Вам видней.
Но если люди что-то говорят,
то не затем, чтоб им не доверяли.
По мне, уже само движение губ
существенней, чем правда и неправда:
в движении губ гораздо больше жизни,

чем в том, что эти губы произносят.
Вот я сказал вам, что поверил; нет!
Здесь было нечто большее. Я просто
увидел, что она мне говорит.
(Заметьте, не услышал, но увидел!)
Поймите, предо мной был человек.
Он говорил, дышал и шевелился.
Я не хотел считать все это ложью,
да и не мог... Вас удивляет, как
с таким подходом к человеку все же
я ухитрился получить четыре
звезды? Но это — маленькие звезды.
Я начинал совсем иначе. Те,
с кем начинал я, — те давно имеют
большие звезды. Многие и по две.
(Прибавьте к вашей версии, что я
еще и неудачник; это будет
способствовать ее правдоподобью.)
Я, повторяю, начинал иначе.
Я, как и вы, везде искал подвох.
И находил, естественно. Солдаты —
такой народ — все время норовят
начальство охмурить... Но как-то я
под Кошице, в сорок четвертом, понял,
что это глупо. Предо мной в снегу
лежало двадцать восемь человек,
которым я не доверял, — солдаты.
Что? Почему я говорю о том,
что не имеет отношения к делу?
Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я вдовец. Уже четыре года.
Да, дети есть. Один ребенок, сын.
Где находился вечером в субботу?
В театре. А потом я провожал
ее домой. Да, он лежал в парадном.
Что? Как я реагировал? Никак.

Конечно, я узнал его. Я видел их вместе как-то раз в универмаге. Они там что-то покупали. Я тогда и понял...

Дело в том, что с ним я сталкивался изредка на пляже. Нам нравилось одно и то же место — там, знаете, у сетки. И всегда я видел у него на шее пятна.... те самые, ну, знаете... Ну вот. Однажды я сказал ему — ну, что-то насчет погоды — и тогда он быстро ко мне нагнулся и, не глядя на меня, сказал: «Мне как-то с вами неохота», и только через несколько секунд добавил: «разговаривать». При этом все время он смотрел куда-то вверх. Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог убить его. В глазах моих стемнело, я ощутил, как заливает мозг горячая волна, и на мгновенье, мне кажется, я потерял сознание. Когда я, наконец, пришел в себя, он возлежал уже на прежнем месте, накрыв лицо газетой, и на шее темнели эти самые подтеки... Да, я не знал тогда, что это — он. По счастью, я еще знаком с ней не был.

Потом? Потом он, кажется, исчез; я как-то не встречал его на пляже. Потом был вечер в Доме Офицеров, и мы с ней познакомились. Потом я увидал их там, в универмаге... Поэтому его в субботу ночью я сразу же узнал. Сказать вам правду, я до известной степени был рад.

Иначе все могло тянуться вечно,
и всякий раз после его визитов
она была немного не в себе.
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.
Сначала будет малость тяжело,
но я-то знаю, что в конце концов
убитых забывают. И к тому же
мы, видимо, уедем. У меня
есть вызов в Академию. Да, в Киев.
Ее возьмут в любой театр. А сын
с ней очень дружит. И, возможно, мы
с ней заведем и своего ребенка.
Я — хахаха — как видите, еще...
Да, я имею личное оружие.
Да нет, не «стечкин» — просто у меня
еще с войны трофейный парабеллум.
Ну да, раненье было огнестрельным.»

4

В тот вечер батя отвалил в театр,
а я остался дома вместе с бабкой.
Ага, мы с ней смотрели телевизор.
Уроки? Так ведь то ж была суббота!
Да, значит, телевизор. Про чего?
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?
Ага, про Зорге! Только до конца
я не смотрел — я видел это раньше.
У нас была экскурсия в кино.
Ну вот... С какого места я ушел?
Ну, это там, где Клаузен и немцы.
Верней, японцы... и потом они
еще плывут вдоль берега на лодке.
Да, это было после девяти.
Наверно. Потому что гастроном
они в субботу закрывают в десять,

а я хотел мороженого. Нет,
я посмотрел в окно — ведь он напротив.
Да, и тогда я захотел пройтись.
Нет, бабке не сказался. Почему?
Она бы зарычала — ну, пальто,
перчатки, шапка — в общем, все такое.
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,
а в той, что с капюшоном. Да она
на молнии.

Да, положил в карман.
Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...
Конечно, просто так! И вовсе не
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?
Да, было поздно и вообще темно.
О чем я думал? Ни о чем не думал.
По-моему, я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?
Не помню... в общем, потому что сверху
спускаешься когда, перед тобой
все время — гавань. И огни в порту.
Да, верно, и стараешься представить
что там творится. И вообще, когда
уже домой — приятнее спускаться.
Да, было тихо и была луна.
Ну, в общем было здорово красиво.
Навстречу? Нет, никто не попадался.
Нет, я не знал, который час. Но «Пушкин»
в субботу отправляется в двенадцать,
а он еще стоял — там, на корме,
салон для танцев, где цветные стекла,
и сверху это вроде изумруда.
Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!

Еённый дом над парком, а его
я встретил возле выхода из парка.
Чего? а вообще у нас какие

с ней отношения? Ну как — она красивая. И бабка так считает. И вроде ничего, не лезет в душу. Но мне-то это, в общем, все равно. Папаша разберется...

Да, у входа.

Ага, курил. Ну да, я попросил, а он мне не дал и потом... Ну, в общем, он мне сказал: «А ну катись отсюда» и чуть попозже — я уж отошел шагов на десять, может быть, и больше вполголоса прибавил: «негодяй». Стояла тишина, и я услышал. Не знаю, что произошло со мной! Ага, как будто кто меня ударил. Мне словно чем-то залило глаза, и я не помню, как я обернулся и выстрелил в него! Но не попал: он продолжал стоять на прежнем месте и, кажется, курил. И я... и я... Я закричал и бросился бежать. А он — а он стоял...

Никто со мною так никогда не говорил! А что, а что я сделал? Только попросил. Да, папиросу. Пусть и папиросу! Я знаю, это плохо. Но у нас почти все курят. Мне и не хотелось курить-то даже! Я бы не курил, я только подержал бы... Нет же! нет же! Я не хотел себе казаться взрослым! Ведь я бы не курил! Но там, в порту, везде огни и светлячки на рейде... И здесь бы тоже... Нет, я не могу как следует все это... Если можно, прошу вас: не рассказывайте бате! А то убьет... Да, положил на место.

А бабка? Нет, она уже уснула.
Не выключила даже телевизор,
и там мелькали полосы... Я сразу,
я сразу положил его на место
и лег в кровать! Не говорите бате!
Не то убьет! ведь я же не попал!
Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!»

5

Такой-то и такой-то. Сорок лет.
Национальность. Холост. Дети — прочерк.
Откуда прибыл. Где прописан. Где,
когда и кем был найден мертвым. Дальше
идут подозреваемые: трое.
Итак, подозреваемые — трое
Вообще, сама возможность заподозрить
трех человек в убийстве одного
весьма красноречива. Да, конечно,
три человека могут совершить
одно и то же. Скажем, съесть цыпленка.
Но тут — убийство. И в самом том факте,
что подозрение пало на троих,
залог того, что каждый был способен
убить. И этот факт лишает смысла
все следствие — поскольку в результате
расследования только узнаёшь,
кто именно; но вовсе не о том, что
другие не могли... Ну что вы! Нет!
Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем
способность человека совершить
убийство и способность человека
расследовать его — при всей своей
преемственности видимой — бесспорно
не равнозначны. Вероятно, это
как раз эффект их близости... О да,

все это грустно...

Как? Как вы сказали?!

Что именно само уже число
лиц, на которых пало подозрение,
объединяет как бы их и служит
в каком-то смысле алиби? Что нам
трех человек не накормить одним
цыпленком? Безусловно. И, выходит,
убийца не внутри такого круга,
но за его пределами. Что он
из тех, которых не подозреваешь!?
Иначе говоря, убийца — тот,
кто не имеет повода к убийству!?
Да, так оно и вышло в этот раз,
Да-да, вы правы... Но ведь это... это...
ведь это — апология абсурда!
Апофеоз бессмысленности! Бред!
Выходит, что тогда оно — логично.
Постойте! Объясните мне тогда,
в чем смысл жизни? Неужели в том,
что из кустов выходит мальчик в куртке
и начинает в вас палить?! А если,
а если это так, то почему
мы называем это преступлением?
И, сверх того, расследуем! Кошмар.
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,
что следствие — лишь форма ожидания,
и что преступник вовсе не преступник,
и что...

простите, мне нехорошо.

Поднимемся на палубу; здесь душно...
Да, это Ялта. Видите — вон там —
там этот дом. Нет, чуть повыше, возле
Мемориала... Как он освещен!
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько
дадут ему. Да, все это уже
не наше дело. Это — суд. Наверно

ему дадут... Простите, я сейчас
не в силах размышлять о наказании.
Мне что-то душно. Ничего, пройдет.
Да, в море будет несомненно легче.
Ливадия? Она вон там. Да-да,
та группа фонарей. Шикарно, правда?
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?
Да, слава Богу. Наконец плывем.

*

«Колхида» вспенила бурун, и Ялта —
с ее цветами, пальмами, огнями,
отпускниками, льнущими к дверям
закрытых заведений, точно мухи
к зажженным лампам — медленно качнулась
и стала поворачиваться. Ночь
над морем отличается от ночи
над всякой сушею примерно так же,
как в зеркале встречающийся взгляд —
от взгляда на другого человека.
«Колхида» вышла в море. За кормой
струился пенистый, шипящий след,
и полуостров постепенно таял
в полночной тьме. Вернее, возвращался
к тем очертаньям, о которых нам
твердит географическая карта.

январь — февраль 1969

Страсбург,

КОНФЕРЕНЦИИ НАРОДОВ, ПОРАБОЩЁННЫХ КОММУНИЗМОМ

Шлю мою дружескую поддержку Вашей попытке выразить слитный голос Восточной Европы в парламентском центре Западной, еще удерживающей свою шаткую свободу. Единство народов Восточной Европы — быть может последняя надежда этого континента. Еще не рухнувший Западный мир в своей устоявшейся надменности не замечает, как опускается и опускается он со всех ступеней реальной силы и умственного влияния, развиваясь в провинциальный угол планеты. Вот уже и голоса Восточной Азии добавились к голосам Восточной Европы, — но мир, не изведавший глубин страдания, — глух, пока удары этого истребления не поразят его самого наповал.

Мы с Вами знаем, что коммунизм не есть чьё-либо национальное изобретение, но — органическая гангрена, заливающая всё человечество. Беспечной и безграмотной подменной слова «советский» на слово «русский» еще и сегодня относят преступления и новые замыслы мирового коммунизма к народу, пострадавшему от коммунизма раньше всех, дольше всех и, вместе со своими тесными братьями по горю, народами СССР, потерявшему от насилия ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ человек! (Не считая Сорока ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ — от пренебрежительного ведения войны. Курганов.) Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства! Настрадавшись от лютого насилия — никто из нас никогда да не применит его к соседям! Будем искать формы отношений выше, чем знает современный мир: не взаимного терпения, но — взаимного великодушия.

Я желаю Вам успеха в этом сплочении угнетённых наций и в расширении числа тех, кого Вы представите в будущем. Даже только эмиграция из порабощённых стран составляет — миллионы. Соединясь друг с другом при полном доверии, не позволяя себя усыпить расслабляющей эмигрантской безопасностью, никогда не забывая наших братьев в метрополиях, — мы составим и голос и силу, влияющую на ход мировых событий.

Александр Солженицын

27.9.75

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР БЕЗ МЕНЯ

*«Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, по-
пугаи, тапиры, бегемоты, медведи-гризли, да здрав-
ствует птица-секретарь в атласных панталонах и зо-
лотых очках! Да здравствует все, что живет вообще,
в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует
мир без меня».*

Юрий Олеша

1

Я не знал его в пору славы, молодого успеха, высокомерия, в годы «Зависти» и «Трех толстяков», дружбы с Маяковским и Мейерхольдом, газетных интервью и театральных премьер, метафорической речи на Первом съезде писателей, когда после странной и страшной уничижительной исповеди он уходил, провожаемый овациями, в пору бесчисленных планов, счастливых сновидений, дерзких выходов, «во всем блеске своего безумия и таланта».

Нет, я узнал его в послевоенную пору возвращения из эвакуации, потери квартиры, забвения, нищеты, затравленности, неприемлемого временем, непринятого в расчет, загнанного в угол, в пору перелицовки «Идиота», починки и глажки чужих сценариев, автора цирковых реприз и авансов, в пору договоров, более похожих на подаяние, судебных повесток, кредитной рюмочки коньяка в кафе «Националь», в пору славы ресторанного акына, окруженного странными случайными субъектами, известного в Москве

больше как человек из легенды, и в пору видимого и очевидного всем бесплодия и невидимого тайного расцвета, мучительного и не по правилам создания своей Главной книги, шедевра новой русской литературы «Ни дня без строчки».

Смотрю на его фотографию в этой книге. Сильное, я бы сказал мощное, страдальческое лицо, с прищуренным, почти закрытым глазом, а в открытом затуманенном глазу, взгляните, да, взгляните — какая затуманенность, усталость, потусторонность, взгляд, ушедший в себя, в воспоминания, в дальнюю прекрасную жизнь, от которой остались осколки, в прошлое, только в прошлое, будущего уже нет.

А лицо сильно, мощно вылепленное, словно высеченное из камня, лицо стареющего матадора, которого давно, несправедливо и неоправданно задолго до срока заставили выйти из игры, лицо с окаменевшей в нем силой, упрямством, честолюбием.

За спиной на фото роскошные общественные канделябры, очевидно, чей-то служебный кабинет, а он в сереньком клетчатом пиджачишке, с широко повязанным узлом гастуком, с сложенными на груди большими руками мастера, и еще усики. Я со временем совсем забыл, что у него были усики, не тонкие нахальные, кавказские, а широкие, старинные, вальяжные усики одесских негоциантов и капитанов. И эти усики, вместе с тяжелым подбородком, впалыми щеками, прищуренным глазом, выражали, подчеркивали как бы брезгливость к пережитым мукам, нанесенным обидам, ко всему, с чем приходилось ему сталкиваться и чему он хорошо знал цену.

Он сам точно определил свой абрис: объемистый. Да, да, он был именно объемистый, широкоплечий с борцовым разворотом груди, с львиной головой на торсе циркового борца.

Могучий, плотный, похожий на скульптуру Родена, он мастер, он художник, каменотес, ваятель, гра-

нильщик алмазов, походка его в старости не шаркающая, а упругая, пружинистая. Он идет на работу, он идет к себе в студию, в мастерскую или на натуру, на пейзаж, на вечную каторгу. Он даже за столик «Националя» садится, как мастер для работы, устраивается надолго, основательно, — слева положил коробку папирос «Казбек» и спички, справа придвинул пепельницу, отстранил тарелку, нож, вилку, очистил место, попросил бутылку боржома, налил в большой бокал, выпил глоток, казалось, засучил рукава.

Совсем не помню, как я впервые встретился с ним, не вижу, как мы знакомимся, впервые подаем друг другу руки, как мы оглядываем впервые друг друга, смотрим в глаза, просто сразу разговаривает он со мной, как с равным, серьезно, умно, доброжелательно. И это, конечно, после войны, потому что он уже знает меня как автора.

Я не дружил с ним, я никогда и не выпивал с ним, но ежедневно, да, как по заданной программе, ежедневно вечером в те далекие, но и совсем не далекие годы, после собраний, после тех долгих удушливых собраний по борьбе с формализмом, с идеализмом, с космополитизмом, с веселовщиной, с достоевщиной, я приходил в теплое, уютное и ярко освещенное, с наивными световыми эффектами, кафе «Националь», где всегда за угловым столиком, вдали от оркестра сидел Олеша, окруженный разными прилипалами, приживалами его духа, но бывал и один, за чашечкой кофе, и тогда я подсаживался к нему и он тотчас же своим глубоким рокочущим голосом спрашивал: «Ну, что слышно?», что слышно в том большом, том ужасном и непонятном, в том действующем сейчас мире, где он, как потухший вулкан, как погасшая домна с закозленным металлом, задушенный, с кляпом во рту.

Я хорошо помню тот серый и скучный осенний вечер, когда дождь хлестал по большим витринным окнам «Националя». Мы сидели за тем же угловым

столиком, перед ним стояла маленькая чашка кофе и он рокочущим голосом фантазировал: «Весь мир ликвидирован и от всей цивилизации осталось только одно маленькое королевство в юго-западном краю Африки и там королем — мальчик. Он ходит на руках, вверх ногами и вниз головой и требует того же от всех своих подданных, и подданные, у которых склероз, гипертония, сотрясение мозга, стенокардия, все без возражения ходят вниз головой, получая инфаркты и инсульты, и все-таки сумасшедше повторяя в один голос: «О как мудро! Только так и надо ходить!»

Это был день долгого собрания, на котором кого-то распинали, я пришел только с этого собрания, усталый и опустошенный, и, слушая его сказочку, у меня появлялась надежда, что безумие все-таки кончится.

— Я, может, через час умру, мне осталось жить один час. — И внезапно он переходил на бормотание с самим собой. — Назначена кошка. Кошка сказала «мяу»! Мудрые слова кошки.

И потом снова глядя прямо в глаза, серьезно, уверенно:

— Люди планете не нужны, они нужны только для труда и войны. А когда все будет управляться по радио, останется только двести человек, где-то в дальнем юго-западном углу Африки и там будет дитя диктатор. «Всем ходить сегодня на голове!» И все пойдут на голове. Всего двести человек.

И опять переходил на бормотанье с самим собой. «Я император». Это насчет напечатанной сегодня в газете хроники встречи императора Эфиопии Хайле Селасие.

И вдруг взрывчато по поводу неожиданного переименования города Чкалова снова в Оренбург.

— Но почему? Мы же нация. Скажите нации, в чем дело?

И вслед за этим о своей безответной любви к одной даме.

— Я из-за тебя пить стал, — сказал я ей.

— А тебе бы только выпить, — отвечала она.
И Юрий Карлович удивленно хохотнул.

Помню еще Олеша рассказывает вечер о матросе Ильченко из давних времен одесской гражданской войны.

— Матрос Ильченко мой друг, колыт в восемь зарядов. Он меня спрашивал:

— Юра, кого шлепнуть?

— Не надо, Ильченко.

— Ты не виляй, скажи, кого шлепнуть? Хочешь, профессора Щербакова шлепну?

— Не надо, зачем?

— Ну скажи, кого шлепнуть?

И сразу же без перехода:

— В литературу идут теперь конокрады, они въезжают в литературу на краденых конях.

«Ты сохранил черновик? — спрашивает один литератор другого. — Зачем? — А если кто-нибудь скажет, что это не твое?»

О Фадееве:

— Юра, здравствуй! — костяные уши Каренина, хохот. Секунда, и он уже тебя не видит и через твое плечо кричит: — Валя, здравствуй!

О Зощенко.

— Теперь все говорят языком Зощенко. Министр культуры говорит языком Зощенко.

— Федин? — спрашивает он как бы самого себя.
— Это заложник высокой эстетики.

О Караваевой:

— Когда Гофман пишет «вошел черт», это — реализм, когда Караваева пишет: «Липочка вступила в колхоз» — это фантастика.

Вот я вижу, как входит в кафе преуспевающий литературный делец, только сдавший на вешалке шубу и бобровую шапку, в модном жупане электрик, с ватной грудью и поднятыми ватой квадратными плечами-

подушками, и роскошным голосом спрашивает засыпающего над коньячной рюмочкой, засыпанного перхотью и пеплом Олешу.

— Ну, что нового в микромире?

— Мало пишешь, — говорит он, — я ведь в одну ночь могу прочитать то, что ты написал за всю жизнь.

— А я в одну ночь могу написать то, что ты *написал* за всю, всю жизнь, — вскинувшись отвечал Олеша.

Большеголовый, с окаменевшим сильным лицом, выстрадавшим нереализованную мощь, скорбь и усталость, сидел он у большого окна, из которого видна была зубчатая стена Кремля у Александровского сада.

— Оранжад! — произносил он, как бы пробуя это слово на слух, на вкус. — О ранжад! — и пепельная грива бессильно падала на лоб.

Однажды к столику Олеша, за которым собралась компания, подошел человек.

— Я вижу, у вас интересная компания. Я ведь тоже могу кое-что рассказать. Я участвовал в расстреле Николая II-го.

Олеша вскочил:

— Хам, да как вы смели, помазанника Божьего! Как-то долго его не было.

Оказалось, Юрий Карлович запустил табуреткой в телевизор. Он никому не сказал, что его рассердила пошлая, банальная пьеса одного ведущего малоформиста. Но окружающие перепугались за последствия и решили, что благоразумнее будет потушить дело, упрятав концы в клинику, и Юрий Карлович покорно дался в руки приехавшим санитарам Соловьевки.

— Ну, одень шапочку, — сказал санитар, — у них все называется шапочка — и кепка, и шляпа, и берет. — Одень шапочку, поедем, милый, там пообедаем, выпьем 100 граммов.

Потом он мне рассказывал о Соловьевке удивительно точно и тонко, как привезли его и он быстро и

привычно вошел, словно в свой дом, где все уже было знакомо и стояло на своих обычных местах, и люди были очень хорошие, очень честные и порядочные, доброжелательные, и как они прелестно его встретили, и как хорошо он с ними разговаривал. Это был рассказ о кусочке рая, благоразумном уголке в этом нелепом и тревожном подлом мире.

— Вы ко мне? — спросил меня человек. Смараговые глаза, тонкие уши, трогательное безумие, хороший артельный парень.

— Юрий Карлович, свезу тебя в Мюнхен, покажу тебе Мюнхен, коктейль-холл, рожд-ролл, — все будет!

Делается тишина. И так хорошо. Хорошо там, лучше чем на воле.

Потом я слушал его беседу с другим клиентом Соловьевки. Они вспоминали и один другого спрашивал: — А по психодрому вы гуляли?

Какой-то вечер, один из тысяч унылых, постных, пустых московских вечеров нашего времени. Мы возвращались из «Националя», как обычно, в первом часу ночи, кафе к этому времени уже закрывали в двенадцать, а не в три, как раньше при Сталине.

Юрий Карлович шел рядом, печально усталый после дня, не работы, нет, от работы усталость здоровая, я бы сказал сильная и уверенная, требующая отдыха и нового прилива работы, а это была какая-то опустошенная усталость от бесцельного, бессмысленно, непонятно как проведенного дня. День был, как пустая скорлупа без ядра, без личности, куда-то он ходил, с кем-то о чем-то договаривался, думал, где бы перехватить купюру, строил прожекты. Были и вспышки яркого прозрения, жажда работы и он что-то где-то записал, только сейчас не помнил, может, просто на клеенке в диетической столовке, а может, и совсем не записал, а только думал записать и осталось ощущение чего-то пронзительного, магического и от того,

что не мог вспомнить, что именно, совсем пал духом и готов был рыдать.

Мы вошли в метро «Охотный ряд», в этот час уже пустое, спустились одни и прошли станцию на эскалатор перехода и как раз над этим эскалатором, под потолком, на бетонной стене десятилетиями был бронзовый профиль Сталина, теперь снятый, срезанный, замазанный, заштукатуренный и все-таки который уже год след все не засыхал и виделось сырое пятно, какой-то странный силуэт. Юрий Карлович поднял голову, печальные глаза его скользнули по этому оттиску, просвечивающему сквозь штукатурку, этой тени некогда великой и грозной, и в глазах его вспыхнул свет, ирония, восторг и, разводя руками, он сказал:

— Уже никто и не помнит, кто тут был — Циолковский?

2

Трудно писать, трудно верить в свою звезду, когда книги твои преданы забвению, сценарии запрещены, пьесы не ставятся, только устные байки передаются из уст в уста, как легенды, и вообще весь ты со своими художественными химерами, метафорами, своим отшельничьим образом жизни как-то нелеп, не ко времени на этом фоне пробивной, удачливой, горластой литературной шатии, на фоне этих много-томных эпических романов, похожих на вулканы дымящейся ваты.

Может, это и раздорило его фантазию, погасило запал вдохновения, укоротило дыхание и обрекло на строчку, на эскиз, на пунктир, за горизонтом которых угадываются мощные трубы современного романа.

Вокруг кипела, суежилась, пресмыкалась литературная и окололитературная жизнь. Вокруг рвали,

хватали, обогащались, диктовали эпопеи, писали скорописью, нанимали белых негров, а он жалко, нечаянно, на клочке бумаги, карандашом, записывал свои странные, как бы отраженные в зеркале, почти наркотические видения.

«Сегодня 30 июня начинаю писать историю времени.»

Что это? Импульс, каприз фантазии, гонор, сумасбродство, или глубокая вера, или в этот миг, освобожденный от судьбы, он видел даль свободного романа.

Многое в последние годы жизни мешало ему выразиться в романе, в повести, в рассказе, а может, судя по последней и, как мне кажется, вершинной книге — «Ни дня без строчки» — он просто природой был создан вольным, наивным, беспредельно недисциплинированным художником мгновенья, моментальной записи, романа-отрывка, романа-строчки. Некоторые его записи и стоят романа, поэмы. Это роман в почке, в зародыше, в семени, — все в нем уже есть, все записано в генах — и атмосфера, и ритм, и коллизия, и сюжет, и характер главного героя, завязка и развязка, кульминационная точка, начало и конец, пролог и эпилог. Но и то, что не написано, то, что между строк как бы написано симпатическими чернилами, витает в воздухе, проступает медленно и торжественно, как на переводной картинке, и помнится долго после того как прочтешь. Может, он тот художник, который только вспышкой, только извержением устает и истощается и дальше ему просто становится скучно и все остальное кажется ничтожным. Ведь для завершения, для отделки нужна какая-то доля посредственности, усидчивости, натуженности.

«Попробовать?» — и он записывает по живому впечатлению, по живому воспоминанию. Но возвратившись к этому на следующий день, на следующей неделе, через месяц или год, он видит — это уже мерт-

во, скучно и пошли многоточия. Погасла вспышка, где все было красочно, волшебнo, радовало и восхищало.

И так идут дни за днями, месяц за месяцем, год за годом. «Попробовать?» Каждый день, каждый час, каждую минуту своего существования он работает. Он неустанно смотрит, впитывает окружающее своим удивительным стереоскопическим, стереофоническим взглядом и запоминает и перерабатывает в себе. И каждый день, непонятно и неизвестно почему, в какой-то час, в какую-то минуту включается зажигание, вспышка, и записывается строчка. И еще строчка.

И вот у нас книга удивительная, редкая, единственная.

Именно здесь, где он не был связан, скован, заперт формой, сюжетом, где он свободен, где все — воля, все — воздух, именно здесь самая большая и редчайшая удача его писательской жизни.

В этих свободных мгновенных записях вулканическая мощь романиста Бальзака, волшебство и щедрость сказочника Андерсена, наивность и искренность лирики Блока.

Тут он чувствует свои силы, он играет ими, как циркач гирями.

— Я могу из пасти любого животного вытаскивать бесконечную ленту метафор, — сказал он мне однажды на улице Воровского, у крыльца клуба писателей, где мы, встретившись, как обычно, остановились поговорить. Потом я прочитал эту фразу в книге. Повторил он ее мне тогда записанной, или она только тогда родилась у меня на глазах? Я слышал потом, что он и другим это рассказывал. Очевидно, у него существовал метод отшлифовывания в устных разговорах любимых мыслей, фраз, образов, новелл. Говоря, он проверял впечатления, внутренне продолжая работать, шлифуя, усиливая.

Он не составляет заранее плана сочинения, да бесполезны, бесполезны были бы эти планы. Ничего

бы они не родили. Он пишет только то, что видится в этот миг, что явилось внезапно из детства, из юности, или из вчерашнего или сегодняшнего дня, и куда это после пойдет — в конец или в начало или останется само по себе, как красивый бесполезный, но зачем-то все-таки выросший, зачем-то живший цветок, выяснится после. Он собирает свою книгу из осколков, как мозаику.

«Ни дня без строчки» — это не только книга, это история его жизни на земле, что он думал, что он видел, что открыл, на что надеялся и что получил, и куда пришел.

Ах, этот коренастый, широкоплечий старик с львиной седой гривой среди бурной, нелепой перепутанной жизни, эпохи позднего реабилитанса, борьбы с культом личности, жилищного кризиса, кукурузного ажиотажа, первых за полвека туристских поездок, среди дутых карьер, пухлых романов, магнитофонной прозы, восстановления воинской чести, паники перестройки, которая потом стала называться волюнтаризмом, всеобщей ломки, и старый, седой, задыхающийся поэт, сидя в кафе, подробно, с любовью описывал табачную лавку в далекой Одессе, хозяина и жену его с вопросительным акцентом, синюю царскую марку достоинством в 7 копеек с маленькими зазубринками, и капельдудку, сидящего верхом на белом коне и дирижирующего оркестром, играющим в кафе на бульваре, глубоко все понимая, недоумевая и страдая от происходящего вокруг.

Он раздавлен, и уже нет сил на композицию, на гигантскую постройку. Да это и бессмысленно, ибо законченный образ мира, нож времени зарезал все, оставив только воспоминания младенчества, детства, стал невозможен, смертельно опасен, а без работы нельзя.

Впечатлимость, ранимость обострились, зрение ребенка не ослепло, мир многократно, летуче отра-

женный в зеркалах воображения, продолжал жить и мучить, и на папиросных коробках «Казбек», которые он любил, на мягких ресторанных салфетках, на судебных повестках и отрицательных рецензиях, а иногда на преходящем мраморе пивного столика огрызком случайного карандаша, одолженного у официантки, у швейцара, который только что этим грифелем подводил сальдо-бульдо мятых рублевок, деля их между всей артелью, он запальчиво записывал эти судорожно быстрые мгновенные вспышки воспоминаний, фантазий, которые казались никому не нужны, кошмары снов, похожих на явь, и явь, похожую на страшный сон, и эта строчка в день помогала ему жить, не задохнуться, не умереть.

3

Читаю «Ни дня без строчки» и вижу его.

Он побывал сегодня в нескольких редакциях на счет аванса, но у одного редактора был творческий день, другого вызвали в высшую инстанцию, третий, узнав, кто пришел, велел передать, что у него совещание, хотя он в это время пил чай с казинаками. Он был и в дирекции театра, для которого делал заказную инсценировку, где с ним еле разговаривали и велели придти на следующей неделе. В Союзе писателей он сидел долго в приемной у дверей наобаба, откуда выходили ведущие, озабоченные государственными мыслями и личными делами, и даже не раскланивались с ним.

Сидит он в старом, потрепанном клетчатом пиджачишке, поджав под стул ноги в рыжих, разношенных башмаках, и молча глядит на них исподлобья, как-то сбоку, прищурившись, и вдруг видит то, что никто не видит, как будто из пасти зверя вытягивает длинную ленту метафор, и он счастливо смеется. Большеголо-

вый, ушибленный добротой, бескорыстный, грустный ребенок. Ни тени зависти, корысти, как будто чувства эти были у него вырезаны или просто природой не даны. И не дождавшись приема, он побрел в кафе «Националь», выпил в долг у официантки Муси рюмку коньяка и получил чашечку кофе с булкой.

А домой идти страшно и ненужно. Получена по-вестка в суд, какая-то киностудия требует возвраще-ния аванса за сценарий, о котором он забыл даже ду-мать. Принесли счет за телеграмму, которую он кому-то посылал, неизвестно зачем и почему. Для чего-то вызывают к участковому. И почему-то вдруг заинтере-совался им оргсекретарь. Есть еще открытка от районного психиатра.

Вот и все новости, все положительные эмоции на этот день.

Давно, ах, как давно, уже нет договоров с журна-лами и издательствами. Он даже забыл вид этих типо-вых договоров. Это было в другой, не его жизни. Уже много лет, много лет, почти четверть века не звонили из редакции, не интересовались, над чем он работает. Только еще изредка какой-нибудь второстепенный театр, или провинциальная киностудия, или цирк, или эстрада давали авансы, только авансы. Все и конча-лось авансом. И теперь дела у него все время с юрис-тами, с судьями, с судебными исполнителями, а не с редакторами, режиссерами, корректорами.

Он только вернулся домой из города, старик усталый и исчерпанный, и было заходящее солнце в окне. И вдруг что-то сверкнуло в воздухе, почему и как — этого никто и никогда не узнает, и он увидел, как вырезали доспехи из картона 55 лет назад. Словно засверкал, заструился синематограф. «Я держу голу-беющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке — и мгновение повторится!»

А ведущие в это время еще сидели на заседаниях,

выступали в прениях или слушали, как другие выступали в прениях, завидуя им, перезванивались по телефону, узнавали, кто и что и по какому поводу сказал, и кто и что за это получил. И он старый, седой, голодный ребенок вспоминал до галлюцинаций «сумерки в столовой, той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орлова». Юрий Карлович, милый, дорогой Юрий Карлович!

Какое чудо в этих простых словах и простых событиях — как мальчиком с бабушкой он пришел в гимназию поступать в подготовительный класс, как он утром однажды встал и слышал какие-то гудки, и они были печальные, и печаль казалась непоправимой.

Лазерный луч, проникающий вглубь, в тайну детства, приближающий так ясно, что не только видишь, но слышишь и осязаешь синий патрон римской свечи, и тяжелую золотую монету, и стеклянные двери, стоящие поперек дома, полного солнца, и серый, теплый булыжник, и большую, толстую, серую бабочку почти в мехах.

Колдовская книга с отражениями, словно вынутыми из выгнутого зеркала, с видениями, словно снятыми с окуляров морского бинокля.

Писать ее можно было только в отчуждении от мира суеты, сиюминутных переживаний, сиюсекундных обид, просто некогда, просто смешно и нелепо было бы все это вспоминать человеку, торопящемуся на собрание с тезисами речи, как и человеку, награжденному сегодня или вчера орденом или накануне назначенному на должность и думающему о том, как на него поглядел первый секретарь.

Нет, ничего не было вокруг, не было никаких кровных и нервных связей с окружающей жизнью, полная отчужденность, полный вакуум, и только в этом разряженном воздухе можно было с таким ясно-видением, с такой тоской и раскаянием вызывать те детские дни и ощущения.

Да, для того, чтобы так пристально вглядываться в дальнейшее детство, вертеть волшебный калейдоскоп, надо быть свободным, всегда свободным, от всего свободным, мотыльком, захлебнувшимся в полете единственного, отпущенного судьбою дня, и еще в этой панике жизни, в этой толкучке, в этой схватке, в этой сумасшедшей очереди, оставаться кротким, наивным и ничего не желающим ребенком, всему удивляющимся.

И только в этом отстранении от жизни, в том числе от своей собственной жизни, в этом не придавании значения самому себе и в полном растворении в окружающем мире, можно было с радостью, с верой и правдой ликующе воскликнуть: «Да здравствует мир без меня!»

4

Все замечают поэзию книги, ее светоносность, наслаждаются, пьют из чистого источника. Но почему-то никто не отметил ее ужас, безысходность, разлитый в ней страх перед вдруг наступающей истощенностью.

Вот сверкнула ослепительная вспышка и, как с высочайшей вершины, открылась равнина жизни, и колдовской луч, уходящий в младенчество, в детство, самовольно, пронзительно схватил какой-то дальний, затемненный уголок — гимназию, полет Уточкина, классную комнату — и приблизил к глазам. И видна тонкая кисточка, которая только зачеркнула кармин, вот он сейчас начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток мака, язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром...

И сразу обрыв, все угасло, оглохло, тьма, смерть прозрения, немое ощущение дождевого червя.

Разве вы не слышите крика, почти на каждой

странице, заглушаемого вдруг тьмой и рыданием во тьме, бессильным, старческим, могучим рыданием неосуществленных возможностей, задушенной силы, умерщвленного плода. Оттого-то и вспышка так великолепна, так слепяще ярка, чрезмерна, что вобрала, впитала в себя все невыданное, все накопленное, все скрытое, похороненное под пеплом, под перхотью рано, так безумно рано наступившей старости.

И этот страх перед вдруг наступающей тьмой, немотой, глухотой, этот страх почти в каждой картине. Он подгоняет воображение, он торопит, терроризирует, как взмыленного коня, подгоняет фантазию: скорее, быстрее пиши, пока тахикардия воображения, шпоры, пока ярко включены и движутся цветные тени волшебного фонаря воспоминаний, пока гудит в ушах ритм сотворения мира. И отсюда, из этого страха столько повторений и восклицаний, несказанное удивление, упоение видимым, слышимым.

«Цинк! — произносили значительно, — цинк!»

«Макс Линдер, — слышалось на улице, — Макс Линдер».

«Нет, нет, только не Енни, — кричал папа вдогонку. — Синценбахер!»

Скорее записать, закрепить на бумаге. А зачем это? Куда это? Как соединиться, как сплавиться воедино, в какой композиции, в какой соразмерности? Но это и не надо. Эти оборванные, недопетые строфы висят клочьями, обнаженными жилами, шевелящимися нервами, истинный, загадочный смысл книги именно в этой недопетости, незавершенности, клочковатости, открытости, болезненной живой судорожности, словно перо-самописец чертит мўки, изломанные, вихревые линии этой загубленной жизни.

«Меня сейчас интересует только одно — научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет рассказ об

уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба.»

В этой разорванности, в этих скачках светового луча, капризно вырывающего из тьмы времени то часы Бершадского на Дерибасовской, то костел на Греческой, то вечернее возвращение на лодке из моря в город... И в этой готовности все описать, лишь бы писать, лишь бы рисовать — последний взрыв самолюбия, жизненной силы, надежды, отрицание смерти.

«У нас это были уже дни весны! Они пахли горьким запахом травы! О, подождите! Подождите! Сейчас я услышу этот запах! Сейчас услышу!»

В рассказе о журналисте Милославском и его ручной лисице, с глазами, «как у девочки, чуть, впрочем, светлее, чем у девочек, и чуть, я бы сказал, не мотивированнее», вдруг странное, врывающееся, тоже как бы не мотивированное замечание: «Сегодня во второй половине дня началась весна...», пронзительное по своей растерянности, беспомощности, мудром понимании все идущего, все летящего, все рушащего времени, которое уже как бы ни при чем в его жизни, а может очень при чем, но ничто уже не дает и не может дать. «Сегодня во второй половине дня началась весна»... — и запись обрывается.

Только легкая грусть, только мягкая прощальная тоска, железное понимание необратимости, неотвратимости и яростная борьба и сопротивление старости («Старик! — Нет, не обернусь!»).

Наблюдая похороны, он вдруг записал: «...впереди была жизнь, полная дней жизнь».

«Как много было впереди, даже та сцена, когда... мало ли какая сцена была впереди...»

Уже нет сил.

Нет бензина, который можно было бы плеснуть в пламя, чтобы оно разгорелось, размахнулось, все залило, повело за собой. Да и к чему они, эти воспо-

минания, кому они нужны? Тоска. Что это, писательство? Нет, это описание агонии.

«Граненый и желтый от налитого чая стакан за копейку» и пронзительная мольба: «Благословляю тебя, стакан гимназического чая, не покидай моей памяти, не покидай».

Вдруг все оборвалось. Пустыня, истощенность.

И фраза, причиняющая боль: «Я ни на что не хочу жаловаться, я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде «Спортинга», позируя Перепелицыну для фотографии»...

Лишь бы писать, о чем угодно, лишь бы был труд, тренировка, ощущение жизни, потребность пребывания на земле. И вызывать из тьмы те далекие, слабые и яркие отпечатки — синий булыжник мостовой, черные с красным мундиры солдат, рыжее севастопольское солдатское шинельное сукно, бочкообразную грудь и ласковые усики матроса.

Ничего больше у тебя нет, кроме воспоминаний. Да что, в сущности, собственно говоря, должно быть у поэта, кроме воспоминаний. Это его железные когти.

«Это Лидерсовский бульвар. Так ли это? Память, ты еще существуешь? Это Лидерсовский бульвар».

«Я устал! Боже мой, смилуйся надо мной. Мы идем — пять или шесть подростков — идем на футбол!»

Стон преодолевшего тьму отчаяния, стон сильного, безумящего от придавленности, от отчуждения человека. Вокруг жизнь, журналы, собрания, съезды, указы, премии, видимость деятельности, а он описывает, как мальчиком покупает у стройного, как столбик, еврея в кредит за 5 рублей бутсы. Вы знаете, что такое бутсы? Вы не знаете, что такое бутсы.

Бутсы — синяя гильза ракет, квас за зеленым прилавком, синий булыжник, рев зверей в цирке, плоскодонка, красные кресты на окнах аптеки, бутылки с крашенной розовой и желтой водой. Для него это

спасательный круг в шторме жизни, захлестывающей его, захлебывающегося соленой водой и слезами жалости к себе. Это соломка, за которую он цепляется. Разве вы не видите, это соломка, он цепляется уже обессиленными пальцами, обессиленной фантазией. Но это чудо-соломка высокой поэзии. И он выплыл, и у вас чувство, что он идет мощным баттерфляем под водой, и над водой, разрезая волны, как торпеда, красивая и могучая торпеда поэзии.

5

Олеша в 32 года, для нашей современной литературы в юношеском, начинающем возрасте, написал «Список благодеяний», который ставил великий Мейерхольд («Мой Маржерет, которого Мейерхольд пустил носиться по сцене не больше не меньше как с плеткой в руке, ничуть не бледнее Фейланда исландского драматурга»).

Через четверть века, когда Мейерхольд давно уже был убит и вообще все были перебиты или раздавлены и он, Олеша, тоже был заживо измолот и занимался перелицовкой и починкой чужих пьес, его однажды позвали в Малый театр, где средней руки режиссер ставил пьесу известного исландского литератора Лакснеса, к тому времени Нобелевского лауреата.

Маленький, с львиной гривой мастер, который на сей раз занимался литературной штопкой, какими-то затирками перевода пьесы Лакснеса, почти не был представлен именитому иностранцу, во всяком случае, тот как-то даже не обратил на него внимания, смотрел, как на служивое лицо, и между ними не было произнесено ни одного слова.

После репетиции литератор крохотной островной республики ушел в роскошные апартаменты «Метрополя», а Юрий Карлович — шаркающей походочкой

к своей кредитной рюмочке в кафе «Националь».

Все, что произошло, а вернее не произошло между ними, случилось всего минут десять назад, время, необходимое, чтобы пройти от Малого театра к «Националю», и Юрий Карлович, как-то печально, незлобно, но в глубокой тоске произнес:

— Высокомерный господин.

В этот вечер Лакснесса чествовали министр культуры, Секретариат Союза писателей и Театральное общество. Говорили речи, пили шампанское, ели черную икру, а Юрий Карлович... никто не знает, где был в этот вечер Юрий Карлович. О приеме Нобелевского лауреата на следующий день писали все газеты, вряд ли Олеша читал их.

Я рассказал этот случай одному умному человеку и он тут же мне сказал, что Лакснесс — гениальный писатель. Возможно. Как бы валилось все мое построение. Ну, что же гению — гениево. Я чувствовал себя замкнутым в комнате дураком. Но ведь негениальный Олеша для меня выше и бесконечно важнее. Я уже могу и не читать Лакснесса и думаю, меня не убудет, а «Ни дня без строчки» — осколок моей жизни, живой страдающий комок моих нервов, и после этого арктическим холодом льдов дует на меня с лакированных гениальных страниц Лакснесса.

Нет, никогда Олешу не приглашали на встречу с вождами и соратниками вождей.

Никто не звал его на балы поэзии, на всякие литературные акафисты, обедни, серебряные и золотые свадьбы. Не ездил он на литературные тои, ни на Шота Руставели, ни на Тараса Шевченко, ни на Давида Сасунского. И не приглашался он на научные конференции, симпозиумы, диалоги по языку, стилю, сюжету.

И не было его никогда ни в одном (открытом, официальном или закрытом, секретном) списке — ни

на распределение орденов и изданий, ни на получение галош.

Даже дико, смешно было себе представить присутствие его на серьезной государственной встрече, где решались директивы и установки по литературе и искусству или в представительной литературной делегации эту странную фигуру, этого чудаковатого безумца, далекого от всякой проблемности, всякой политичности, всякого знания момента и конъюнктуры, чего можно и чего нельзя думать, говорить, воображать, этого старого большоголового ребенка, который весь остался там, в синем одесском детстве, на Дальнической, на Пересыпи.

Для встреч, для приемов, проблемных разговоров, что и как писать, существовала всегда ведущая обойма, фальшивая карточная талия, ее по-всякому передергивали, кто-то на крутом повороте выпадал из тележки, кто-то, наоборот, на ходу вскакивал и неожиданно даже брал вожжи в свои руки. Написали ли они что-то выдающееся, или вообще ничего не написали, или даже не думали написать, это не имело и не могло иметь никакого значения. Они восполняли это постоянным присутствием, постоянным мельканием на глазах, речами с трибун, докладными записками, литературными экспертизами в нелитературных организациях, и они были персонами, ведущими.

Жизнь в Союзе писателей бурная, ежедневная, пенная, полная нервных потрясений, встрясок, обид, ревности, катастроф, решений и свершений на высшем, на самом высшем, высочайшем уровне, шла мимо него, далеко от него, сидящего во время самых бурных, самых сложных и значительных, исторических заседаний в кафе за угловым столиком, окруженного случайными друзьями и рассуждающего о том, что было далеко, ох, как далеко от Кремля, от Сталина, от указаний по литературе. И он просто никогда и никем из официальных, властвующих, распоряжающих-

ся не принимался в расчет, не регистрировался, просто не существовал. Где-то там пил, безумствовал, скандалил, перелицовывал, выворачивал Достоевского на инсценировки, где-то там бродил ночной Москвой — униженный, раздавленный, зимой и летом в одном и том же пальтишке, обмякшей шляпе, старых галошах — седой, высокомерно грассирующий, красиво и мудро рассуждающий Юрий Карлович Олеша. Они его знать не хотели. И если еще сам голубовато-седой Фадеев чуть мимоходом раскланивался с ним, то нувориши, выскочки, новейшие лауреаты, миллионщики даже не знали его в лицо, просто косо проходил мимо них какой-то запущенный старик, что-то когда-то написавший.

Та общественная и его Олешина личная жизнь — две эти линии шли параллельно, никогда и нигде не пересекаясь, одна всенародная, государственная, авторитетная, каждое слово, каждый шаг, каждое восхищение и неудовольствие которой публиковалось и перепубликовывалось, окружено было славой, почетом, удивлением на улицах и площадях, сопровождалось бешеными гонорами, золотыми медалями на лацканах, черными «ЗИМами», банкетами, и жизнь нищая, заглохшая, на обочине, безвестная, в утренних очередях у забегаловок «Пиво-воды», в длинных, грязных, пахнущих туалетом коридорах киностудий, в многочасовых ожиданиях у кассовых окошечек, жизнь в безденежье, объяснительных записках, судебных исках, жизнь вся в разговорах, байках, начинаниях, мечтах, жизнь — не осуществленная, не реализованная, удушенная в зародыше, в семечке.

И в то же время, в то же время, хотя он не был ни в одном официальном списке, ни в одной обойме, ни на одной афише, он всегда был у всех на устах. Давно замечено, что у нас это никогда не сходится. Чем молва презрительнее, тем выше положение и официальное признание, чем ужаснее и страшнее офи-

циальное проклятие, тем восторженнее народный интерес.

Писатель Юрий Олеша, знаменитый автор «Зависти», был словно похоронен, где-то там на Ваганьковском, еще в тридцатых годах.

А этот крепкоголовый нищий с львиной гривой и львиным рыком воспринимался только как ненужно дожившая до этих лет копия того, как досадная клевета на того, как скандал в благородном семействе, как неудачный родственник в миллионерской семье писателей. А он все жил и что-то такое рассуждал и даже осуждал, и они, сверкая лауреатским золотом на груди, звеня орденами, стыдясь его, отворачивали глаза, показывали спину, старались улизнуть, а он их окликал, он требовал одолжить пятерку, ну, трешку, ну, хотя бы поставить рюмку коньяку, ну, если нельзя коньяк, угостить длинной иноземной сигаретой.

Однажды, да, однажды вечером, когда в каминном зале ЦДЛ, интимно освещенном свечами, тихо пошумливал очередной банкет Иностранной комиссии — принимали восточных гостей, в разгар вина и тостов непонятно откуда вынырнул, через какой ход проник, прозванный контролерами, референтами, официантами, и прямо у длинного, тесно и могуче уставленного бутылками стола появился суровый Олеша.

Он стоял в своем коротком, клетчатом пиджачишке и смотрел на двоящиеся и троящиеся бутылки, на лимонные лица восточных гостей и уже дьявольски улыбнулся и даже погрозил пальчиком — вот сейчас, сейчас на весь зал скажет свое грохочущее, грассирующее, сразу до сути дела добравшееся, сразмаху расколовшее орех до ядра, и из вестибюля бежали с испуганными лицами швейцары в серебряных позументах, дама-распорядительница с партийным шиньоном, поднялись сидевшие с края стола никому неизвестные, никому неведомые молодые люди с одинаковыми, как бы смазанными, стерильными лицами, до поры до

времени, до поры до времени только молчавшие, налегавшие на икру, и окружили ошестинившегося седо-гривого, готового при виде коньячных бутылок защищаться до последнего дыхания, Олешу.

И тогда сидевший во главе стола, похожий на старую, заплывшую свежим салом бабу, Николай Тихонов, бывший гусар, бражник и поэт, сразу оценивший момент, Гарун-аль-Рашидовским жестом как бы смахнул холуев и позвал:

— Юра! Идите к нам!

И обращаясь к восточным гостям, представил:

— А это Юрий Карлович Олеша, наш замечательный поэт и последний дервиш.

6

После долгих лет забвенья, в пору оттепели и реабилитации, во время выборов делегатов на Второй съезд писателей, вдруг кто-то вспомнил, крикнул из рядов и его фамилию, и все вдруг тоже вспомнили, заулыбались, обрадовались, что да, как же, есть, живет еще такой писатель. Никто втайне, оставшись один на один со списком кандидатов, не вычеркнул Олешу и так он неожиданно стал делегатом.

Не знаю, как он ходил на заседания, что думал, что говорил, и отличались ли эти государственные дни его жизни от обычных, я встретился с ним, когда он шел за билетом на заключительный банкет.

Был воскресный оттепельный день.

Шли делегаты, молодцеватые, пробойные, ребята в шубах и в боярских шапках, мимо статуи «Мысль», счастливые своим мотыльковым счастьем. И он пришел. Он шел через двор Союза в обтрепанных брюках с бахромой, кажется, в галошах, жалкой и мудрой походкой Чарли Чаплина, медленно, задумчиво, весь в своих добрых сказочных химерах и безумных ассо-

циациях, шел, как бы отражаясь в зеркале, которое нес впереди себя. И все-таки шел — упорно, упрямо шел за этим жалким билетом туда, где все приглашенные были поделены на два зала — на тот, где бог и апостолы, и тот, где только верующие. А приглашенные в зал к богу опять были поделены на тех, кто был допущен на три локтя к богу и апостолам, и на тех, которые были отодвинуты подальше в угол; но и ближние еще и еще раз были разделены на тех, кого замечали, с кем беседовали, и на тех, кого только видели, потому что есть глаза.

Зачем же был ему нужен этот банкетный билет? Зачем он упрямо шел шлепающей походкой в грязи этого оттепельного дня к тем ужасным дверям на Поварской, в те барские апартаменты, где в войну и в дни мира выдавали похлебку, закалывали, не обрызгавшись кровью, и чествовали только в надгробных речах.

Юрий Карлович шел, преодолевая двор трудным медленным шагом замученного человека, начисто отсутствуя в окружающем его мире, один в том мире, где есть жалость, дружелюбие, совесть.

Увидев меня, он остановился и улыбнулся своей прелестной, дьявольски проницательной и одновременно нежной улыбкой.

— Ну, что слышно, какие очередные виражи?

— Какие виражи, Юрий Карлович?

Олеша показал пальцем вверх и опять дьявольски улыбнулся.

Он все понимал, он видел все насквозь и, мне кажется, ясно видел и знал, чем все это кончится, и что там вдали, за этой каменной и неподвижной, кажущейся вечной стеной и что случится, когда его уже не будет в живых.

И он снова двинулся, старый, седой Чарли Чаплин, за билетом на банкет.

Наконец, после двадцатилетнего перерыва вышел в Гослитиздате однотомник Олеси. Юрий Карлович пошел в книжный магазин.

— Я стоял у кассы и, как музыку, слушал звон «Континенталя». Люди подходили и все время говорили: «87 копеек!», «87 копеек!», «87 копеек!». И вдруг я слышу крик продавца: — Касса! Олешу не выбивать!

Однажды Олеша получил большую сумму, вынул из кармана пачечку сотенных, расфантазировался:

— Олеша раздает сотни у памятника Пушкину. Понимаете, идут люди мимо Пушкина, они и предположить не могут, что маленький седой человек будет раздавать сотни. И вдруг им дают сотню. Какая неожиданность! Какая радость! Почему не доставить человеку такую радость?

— Ну, я пошел, — вдруг сказал Олеша.

— Куда?

— Как это ни странно, у меня есть дело.

Теперь на все Олеша отвечал:

— Я читал книгу Норберта Винера. Он пишет, что скоро человека можно будет передать по телеграфу. Ну, что после этого говорить?

В последний раз я встретил его светлым майским днем на улице Горького у музея Революции. Я шел вниз к Пушкинской, а он зачем-то к площади Маяковского. В толпе московской, быстро и нервно бегущей, он шел приземистый, спокойный, каким-то тяжелым задумчивым шагом, без шапки, седой, гривастый, в стареньком плаще и старых башмаках, но элегантный всем своим обликом.

Как всегда, встретившись, мы остановились и прозвучал обычный наш многолетний, один и тот же на всю жизнь вопрос, вопрос ожидания перемен, продолжающейся иллюзии.

— Что слышно?

Ничего и на этот раз, как всегда, не было слышно. Но у каждого были свои личные маленькие новости и изменения, свои маленькие шажки куда-то вперед или вбок, свое мертвое плавное течение реки жизни. И о чем-то я его известил, что волновало меня в то утро, а он вдруг как-то приподнято, задорно и громко, чтобы не подумали, что ему плохо, сообщил:

— Я иду в гору. «Новый мир» заказал художественный комментарий к биографии Ленина. — И сощурив глаз, он изобретательно, победительно, прищелкнул пальцами. — Я уже нашел ход!

А потом он рассказал о каком-то очередном литературном сабантуете, обсуждавшем очередные исторические вопросы, и опять с прищуром:

— Соболев бросал руководящие слова, хорошо поставленным голосом говорил Федин, и Катаев тоже подкинул в общую упряжку свой грязный хвост.

Мы распрощались. И он пошел вверх к площади Маяковского, походкой, будто у него была масса дел.

Больше я его никогда не видел. В Баку, в гостинице «Интурист», я прочел в «Литературной газете» маленькую заметку, что умер известный русский писатель Олеша.

Много лет назад он сказал:

— Когда я умру, обо мне в некрологе будет написано: известный русский писатель. Известный — это не талантливый или выдающийся, известным можно быть случайно, но что есть, то есть. И не русский советский писатель, а именно русский писатель. Это не одно и то же, чувствуете нюанс?

Он знал свое место в табеле, знал, как он числится там, в той комнате, где раздаются ранги, степени, тиражи, дачи, пайки, машины, заграничные поездки, редкие лекарства, хвалебные рецензии. И устанавливается разряд похорон, с речами или молча, Новодевичье или Введенское, мемориальная доска или забвение.

На похороны Олеси Литфонд не поспешил, были венки, музыка, гроб по высшему разряду.

За много лет до этого Юрий Карлович однажды обратился к Арье Давыдовичу, или как называл его Михаил Светлов, Арье Колумбариевичу, служащему Литфонда, который, кроме подписки на газеты и журналы, еще ведал писательскими похоронами. — Слушайте, Арий, сколько Литфонд отпустит на мои похороны? — Вы лауреат? — Нет. — Член правления? — Нет. Просто простой писатель. — Тогда так, оркестра не будет, но квартет устроим. Не будет Баха, будет Мендельсон. Одна подушечка на ордена и медали. Так, двести в общем. — Так нельзя ли эти двести сейчас выдать авансом, а я вам дам расписку, что после моей смерти никаких претензий к Литфонду не имею. — Нельзя, — погоревал Арье Давыдович, который дожил до того, что законно истратил полагающиеся на Олешу похоронные двести рублей.

Олешу кремировали. Я не знаю, сам он это завещал или это делается по решению и разумению оставшихся в живых, но по этому поводу я расскажу одну историю.

Мы все знали рыжего Давида — старого актера, похожего на замученного жизнью благородного пса. Он начинал когда-то у Мейерхольда, давно уже не играл, но без театра жить не мог, и каждый день ходил за кулисы, как на работу, был на всех репетициях, а уж ни одна премьера в Москве не обходилась без него.

Олеша очень любил рыжего Давида за его мудрую, бесполезную жизнь, любил сидеть с ним в кафе «Националь» за чашечкой кофе и беседовать.

И вот рыжий Давид умер. Я не был на его похоронах. Автор скетчей Г. рассказывал мне:

— В крематории я вдруг заметил, что Олеша сунул покойнику в руки записку, сначала одну, а потом,

в те полчаса, пока шла церемония, у него появилась еще масса вопросов, и он сунул еще одну записку.

На обратном пути, в такси, я спросил:

— Юрий Карлович, что это за записки?

Оказывается, первая записка была: «В Нечто: Как там?» Вторая записка: «Туда же. Имеют ли право сжигать людей?»

Когда я сказал, что покойнику все равно — сжигают его или нет, Олеша упер в меня свои зенки и спросил:

— А откуда вы знаете?

8

Есть на свете люди — литературоведы — которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества. Какая ужасная слепота и несправедливость! Да, он был раздавлен, да, в какие-то моменты жизни он тоже хотел втиснуться в кипящую вокруг него пеной жизнь, бормотал какие-то слова.

Но он был высечен из цельного благородного камня, в нем не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были волшебные видения.

Он был закрыт, замурован в каменной нише, зашит в простой дерюжный мешок, отсечен на всю данную ему Богом единственную жизнь, от мира, памятного и любимого им по глобусу детства, от экваторов Рака и Козерога, от всех пяти континентов и пяти океанов, от острова Ява и острова Пасха.

«Хочу ли я славы? Нет. Хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков».

Человек этот, родившийся в «русском Марселе», чье детство и юность прошли на виду одесского порта, флагов государств, способный еще в младенческие

годы представить себе джунгли, пампасы, пустыню Сахару, реку Амазонку, знал в своей долгой жизни только один маршрут: Москва — Одесса через Фастов.

Прочтите, с каким восторгом и удивлением откликнулся он на старую книгу Гончарова «Фрегат «Паллада», это был крик отчаяния. Никогда он не выезжал дальше Гродно. И это было самое страшное, бессмысленное ограбление века. У художника украли мир, все ассоциации, все метафоры, все новые слова, которые бы он узнал и накопил.

Ни к кому из миллиардов ныне живущих людей и людей, которым еще предстоит жить, не придут уже эти ассоциации при виде закатов Полинезии, небоскребов Нью-Йорка, при рыке у горы Килиманджаро.

Да и тут, дома, он был заперт, закрыт в треугольнике — Лаврушинский переулок — кафе «Националь» — клуб писателей. Лаврушинский, где была нищета, редкие гроши гонорара, приносимые домой уже наполовину, а то и на четверть, кафе, где кредит его уже ограничивался бутылкой боржома, клуб, где была своя, чуждая ему активная обморочная жизнь, и он проходил по ресторану, как тень некогда существовавшего писателя. И никому не было до него дела, смешны и нелепы его художественные химеры, явившиеся во сне, в белой горячке, его бесцельные воспоминания, его как бы перевернутые видения, его безумные метафоры. Он был выключен из жизни, в которой не мог принимать участия, где он был инородным, чуждым телом, где он был загадкой, где смешна была его детскость, его сумбурный мир, его доброта и сердечность, его жалость к слабым, ненависть и презрение к насилию, его кроткое раздавленное несогласие, его слабовольная сопротивляемость. Но чем уже, чем мизернее был пятачок его жизни, его наблюдений, тем глубже он заглядывал в колодезь своей жизни, в дальнее, дрожащее на дне отражение.

И еще было звездное небо, и были березы, и сосны, и птицы, и цветы, и ветер, и улицы, и крыши домов, которые никто не мог, не успел у него отобрать.

Он словно жил в камере, в которой жизнь существует только в воспоминаниях, и чем жестче эта камера, темнее ее зарешеченное, почти закрытое козырьком окно, без неба и ветра, тем ярче солнечная прелесть утраченной жизни, и она вспыхивает вспышками слепящей силы, и замирающей рукой он выводит странные, чудные, будто вырванные из гениальной поэмы строчки. И они остаются строчками, отрывками, но каким-то волшебным образом, так как они все написаны рывками, нечеловеческим усилием, слитно в одном ритме, в раздавленном, затравленном состоянии, они, собранные вместе, создают единую картину, историю затравленного, медленно убиваемого и долго яростно сопротивляющегося художественного сознания, не угасающего, а все время импульсивно вспыхивающего картинами первозданной силы.

9

Тихие, печальные, ликующие строчки о полумаске: «Она была женщина, Ренуар, сновиденье, она была «завтра», она была «наверное», она была «сейчас» и «сейчас, сейчас, подожди, сейчас»...

«Как можно не заговорить с цветами, когда ты один, все ли будет хорошо? — обратился я к цветам».

И это писал уже старик, вот этот, видите, нищий старик в низко надвинутой в пятнах шляпе, только выпивший на ходу в киоске кружку пива и одиноко бредущий куда-то вверх по улице, которого уже не замечала ни одна женщина, которого только несколько минут назад отогнал газетный киоскер: «Вон отсюда, вон!»

Куда он идет? Никуда. Сейчас у него нет никакой цели, никаких дел, никаких надежд и ожиданий.

Он просто идет мимо отрешенных от него домов, вверх по улице, чтобы куда-то идти, чтобы и для него длилось, простиралось время, чтобы не одеревенеть, не задремать, не быть удушенным в этой атмосфере, из которой выкачан воздух. Идет мертвой походкой вверх по улице.

И в то же время он замечает и видит все: и муляжи, мертвые, как его нынешняя жизнь, и странное продолговатое, похожее на болванку из шляпного магазина лицо прохожего, и молодые бакенбарды со шкиперской бородкой, и бойкую шляпку девицы и ее улыбку, не ему, нет, кому-то третьему за его спиной, улыбнулись не только губы и глаза, а все лицо и даже уши.

Сейчас в этой толпе суетливой, озабоченной, нервной, он самый нищий, в эту минуту у него даже нет гривенника на рассыпные папиросы, и самый бездельный, самый ни при чем, неприкаянный, ему, бродяге, некуда спешить, никто и нигде во всем городе, да и на всем свете его не ждет и никому он не нужен, просто никто в нем не заинтересован, ни редакции журналов, которые уже давно не поминают его в своих анонсах, в своих обещаниях, стараясь привлечь подписчиков на очередной год, ни одна высокоответственная или малоответственная организация, ни одно из тысяч происходящих в этот момент в городе собраний, заседаний, совещаний, дискуссий, даже по тем вопросам, в которых он-то знает и понимает лучше всех живущих сейчас в этом городе, никто не интересуется его мнением, ни одна из тысяч комиссий, подкомиссий, готовящих вопросы, тезисы, резолюции, законы орфографии.

И вот он, самый выключенный из жизни, именно он вобрал в себя эту жизнь, видит ее насквозь, со всей ее суетой, славой, интригами, карьерами, правдой

и кривдой, именно в нем, как в зажигательном стекле, все сфокусировалось; как в пучке света на экране, все спроецировалось и проявилось.

Он видит и понимает эти далекие чуждые заседания, и это его душа проносится в черной и вместительной, как лакированный кабриолет, номенклатурной машине, где он на лету уловил серое резиновое лицо, никогда он не будет на его месте, но он понимает и чувствует его чувствами.

Сквозь тоску несуществования, сквозь пелену серую, остылую, он видит пронзительно, словно страдание углубляет зрение, делает сердце отзывчивее, отклик в страдающем сердце сильнее, эхо звучит дольше, болезненнее и можно записать это медленное эхо. Запишет ли он его? Скорее всего нет и это на веки вечные пропадет, никем не узнается. О, если бы существовал осциллограф, кольцом надетый на голову, который бы сам по себе, как пульсацию крови, как трепетание сосудов, записывал бы кривую мысли, видения, образы, ассоциации.

Но даже то, что он записал, когда он прорывался сквозь усталость, истощенность, неверие, сквозь свою раздавленность, сквозь свою бытовую тюрьму и, взяв уже отвыкшей от писания рукой карандаш, нацарапал мгновенно или медленно, мучительно, выводя каждую букву в отдельности, схватив ту тысячную, может быть, миллионную того, что он почувствовал, — это ведь уже сокровище.

Не мучайте поэта, не измеряйте его на свой дюйм, дайте ему жить, дайте ему прожить по его странным, фантастическим, по его безумным, самому себе приписанным во сне, в бреду, законам.

Однажды в Алма-Ате, в эвакуации, в праздничный день, когда всем милиционерам выдали новые нитяные перчатки, Олеша пришел в ответственный закрытый распределитель.

— Девушка, я русский писатель Олеша, нахожусь здесь временно в эмиграции, мне нужно 200 грамм портвейна.

— Вы тут не прикреплены, — сказала девушка.

— Мне не нужны ваши портфели из клеенки, ваши халаты, тетради в косую линейку. Я русский писатель Олеша, мне нужно 200 грамм портвейна.

Кончилось тем, что был вызван постовой милиционер в новых нитяных перчатках и увел Олешу в отделение.

Молоденький дежурный лейтенант стал заполнять протокол.

— Фамилия?

— Достоевский.

— Что вы мне голову морочите?

— Данте.

— Вы Олеша, — сказал лейтенант, разглядывая писательский билет. — Тут же подпись Горького, я же вижу, это не факсимиле.

— Спиноза, — продолжал Олеша.

— Какой еще Спиноза?

— Достоевский, Данте, Олеша, Спиноза, — все они одно, в дальнейшем именуемый «автор», — скандируя, сообщил Олеша.

Поздней ночью он явился в гостиницу пьяный. Однорукий швейцар, друг Олеша, держа его пьяного, спросил:

— Алéша, Алéша, ну чего тебе надо?

— Мне надо счастья, привратник.

Да, он все прощал этой жизни. Он не то что прощал, он ее не замечал. Он принимал за должное и нормальное то, что его не брали в расчет, не писали о нем статей, не награждали, не ласкали, не хвалили,

не преподносили нимба. И он мог просыпаться утром свободным, вольным, никому не нужным, и не известным и думать свое, и тосковать про свое, и каждое утро умирать от тоски и удушья, и снова возникать и жить.

«Будь благословен горький запах! Будь благословен сладкий цвет! Будьте благословенны стебли, желтые венчики, будь благословен мир!»

В нем жило великое, бескорыстное отречение от собственной судьбы, великая, ликующая, ненасытная любовь к миру.

«О, раннее летнее утро! Даже в городе щебет птиц заглушает гул магистралей».

Однажды он рассказал мне о каком-то раннем утре, раннем рассвете. Было впечатление, что и ночи до этого не было, в окне — аквамарин неба и восходящее солнце и зеленые деревья и все-таки незачем и нечем жить. И он вышел на улицу, и ему некуда было идти, просто не было никаких дел, никакой цели, никаких забот, просто никто и нигде его не ждал, никому он не нужен был, да и никто и ему не нужен был в эту минуту.

Улица была пустынная, голубая и счастливая, улица вела прямо к небу, к солнцу, а он, отстраненный, сам себя отстранивший от всего мира, затравленно, как на поводке, пошел к киоску «Пиво-воды», все-таки там была какая-то жизнь, какие-то знакомые, привычный быт и все-таки какая-то цель.

В глухом спящем переулке уже скопились лохматые типы и все время из разных переулков выходили такие же, знакомые между собой, хмельные еще со вчерашнего, позавчерашнего дня, а может и с прошлого года, со свинцовыми пятнами на лице, в мятых кепках, в разорванных пиджаках, расхристанных рубашках, а кое-кто с галстучком, и кто с посудиной-бутылкой, с четвертинкой, кто просто с пустой веревочной авоськой, потерянный в этом голубом утре,

когда зеленела свежая трава, оранжевые цвели первые одуванчики и было начало новой весны.

Он бродил один по Москве, по Ордынке, затем по Пятницкой, выходил на Софийскую, любовался Кремлем, выходил на Каменный мост, перебирался из Замоскворечья на эту шумную, суетливую, практичную сторону Москвы, где редакции, творческие союзы, клубы, кафе. Иногда при переходе улицы в неположенном месте его останавливал милицейский свисток. Ах, как надоели мне эти крестьяне со свистками.

Обессиленный, вертевшийся между постылым неуютным, случайным коммунальным пристанищем, окошечком кассы, где по ведомости полагалась мизерная сумма автора реприз, и столиком кафе «Националь», где добросердечная Муся записывала карандашиком кредит, а то и не записывала, с случайным заходом в пустынные, мертвые коридоры Союза писателей, где никому он не нужен, где проходящий генсек смотрел на него, как сквозь стекло («он не только не поздоровался, — с удивлением рассказывал Олеша, — он даже не посмотрел на меня»), небритый, зачумленный, возвращался он поздно вечером по Большой Ордынке со странными, случайными дикими спутниками, по-своему любившими его, а потом дремал где-то на скамейке в сквере и его ночью будили и говорили: «Не стыдно? домой надо идти, отец».

Обессиленный, обеспамятевший, потерявший веру в себя, сидит он на скамейке и сосет потухшую папиросу «Казбек» и вдруг, будто лучевая вспышка, взрыв римской свечи, вдруг безумное, неодолимое могучее желание вернуться, вернуться к своей сути, к своему существу, своей силе, к заложенному, существующему, еще в веках запрограммированному в генах. И огрызком карандаша в свете воспоминаний ложится

строчка в день, тяжелая алмазная строчка, золото-швейная стежка, чудо из чудес.

Да, болтайте, что это новый тип романа, раскованный, отражающий современное разорванное сознание, роман без берегов, поток сознания.

Это новый, истинно новый, подлинно новейший и великий современный роман, зеркально отразивший судьбу загнанного в лузу, обессиленного человека, задавленного именно в его главной сущности, в его главной силе, главном нерве, в том, для чего он рожден был, создан Господом Богом — в творчестве, в труде.

Это не только роман, это история жизни, история болезни, можно ясно прощупать пульс и услышать потерю пульса или тахикардию, дыхание и обрыв дыхания, удушье астмы, полную истощенность и вдруг взрыв возбуждения, тьма и вспышка света и снова тьма.

Да, это современный роман, исповедь свободная, раскованная, не связанная никакими законами, напечатанная вот так хаотически, словно записи, спрятанные в наволочку, прямо вывалены на страницы.

Вот в каком смысле, в каком значении это истинный, в чистейшем виде современный роман, роман разорванного сознания, отражающий современное безумие общества, уникальную его несправедливость, алогичность, беспощадность, бесчеловечность.

Это последний крик могучего и ослабевшего поэта, крик, который кричит: «я еще столько могу, я еще столько знаю, столько хочу и чувствую»...

Он не мог толкаться, пропихиваться, участвовать в общей свалке, он рано устал, рано исчерпался и — самое страшное, безнадежное, неотвратимое, — изверился, и лишь иногда в какие-то часы атмосферных разрядов, активного Солнца, сейсмических потрясений, живая лава воображения вдруг сбрасывала холодный пепел, оживала и сверкала и то, что он успел,

имел силы записать, то и осталось, а остальное утеряно, погибло на корню, в зародыше, в семени, растрачено, рассеяно в разговорах, в байках, в бреде Соловьевки, в семейных сварах, в очередях у киоска «Пиво-воды», иногда ему даже казалось, что он это уже записал, иногда, забывая, он записывал одно и то же два и три раза, и удивительно, хотя между этими записями лежало несколько лет — одними и теми же словами, эпитетами, в том же ритме, где-то оно, видимо, уже было глубоко отпечатано на видеоленте мозговых извилин.

А сколько этих оттисков, этих зеркальных отражений, этих волшебных сомнамбулических видений, медленно выплывающих картин детства, юности, молодости, окаменело, заледенело, в серых, измученных извилинах, когда он лежал в море, потом сожжено в пепел.

И если справедлив закон сохранения энергии, то это когда-нибудь еще проявится в необыкновенном олене, цветке, или в удивительном, редком, только извлеченном из кимберлитовой трубки алмаза, или музыке, которую мы слышим иногда, разлитой в воздухе, в тихий день, на берегу моря или на лесной поляне, поросшей вереском и окруженной соснами.

ЯМПОЛЬСКИЙ Борис Самойлович (1912—1972) — известный советский писатель. Учился в Литературном институте им. Горького (1941). Автор ряда повестей («Ярмарка», «Мальчик с Голубиной улицы», «Три весны», «Молодой человек» и др.)

Трибуна молодых

СТИХИ

Елена И г н а т о в а

* * *

Едва ли не с начала сентября
На парки опускается заря,
И чувствует озябнувший прохожий
Проникновенье осени в гортань,
Когда ее отстоенный янтарь
Надолго поселяется под кожей.

Вся осень сгустком кажется одним,
А воздух — в нем основа. Недвижим,
Вдыхается с медлительною болью.
И стягивает горло горький сок
Небес, свисающих над кромкою лесов,
И неба полого, стоящего над полем.

Когда всю глубину его вберешь,
Вороны обрываются с берез,
Кричат протяжно, кружатся в истоме...
Но луч блеснет, и виден парк насквозь —
Дырявый, ветхий — барственная кость —
Мерцающий на мокром черноземе.

* * *

Окостенелый свет расправлен в декабре.
Леса оголены и стали без дыханья,
И в длинной полынье на утренней заре —
Волос безжизненное колыханье.

Угольного зрачка движенья неживы,
И тени на лице на смертные похожи.
Блестящий низкий лоб и скул монгольских швы
Меж черною водой и помертвевшей кожей.

Восходит нежный пар — дыханья волокно,
Колеблет волосы подводное движенье...
Лежит российская Горгона. Ей темно,
И тонкой сетью льда лицо оплетено,
И ужаса на нем осталось выраженье.

ПОДВАЛ

Потребен для души подвал,
В котором зеркало слепое
Качается, как с перепоя,
И кажет вместо лиц такое,
Что явно — лезет на скандал.

Душа спускается в трактир
Уже в предчувствии разгула.
Она хозяину мигнула,
Спросонок медлит Мариула
Плясать и кружевом трясти.

Как сладко мне в кругу купцов
Сидеть на лавке посередке.
(Дымится блюдо голубцов...)
И по обычаю отцов
Сопровождать печали — водкой.

Но пенье — чудо... Расскажи,
Как плачем и как жилы тянет,
Как голос бедственно дрожит,
И — «степь кругом»... И стынет жир
Гусиный. И — как легче станет.

Душе потребен этот стыд
Трактирный. Квашеное братство,
Где каждый каждого простит,
И — есть обиды, нет обид —
Тогда уже не разобраться...

* * *

Вечерней влагою полна листва.
На лбу — невидимая паутина.
Легко и сонно падают слова,
Которыми укачиваю сына.

Едва пошевелюсь, как тень моя
Скользит через дорогу. Там соседи
На лавке. Льется жизнь через края
В томительной и стройной их беседе.

Младенец спит. Он сыт и невесом.
Он муравьям рассыпал погремушки.

Настал тот час, когда особый сон
С усталым телом срашивает душу

Бессмертную...

В траве ворчит гусак,
Сползает паутина на ресницы.

Хозяин — в доме. Бог — на небесах.
И хлебный ангел всей деревне снится.

ИГНАТОВА Елена Алексеевна — родилась в 1946 г. Закончила филологический факультет Ленинградского университета. В СССР почти не печатается.

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФАМИ

...Глаголом жги сердца людей.

Пушкин

*...сей чудный пламень,
Всесожигающий костер.*

Лермонтов

Там человек сгорел!

Фет

*Костер — не моя профессия.
Из высказываний современного поэта.*

В России духовная пища
Сгорела до тла. С пепелища
Собрали последние крохи.
Россия осталась без пищи,
И чахнут Москва и Мытищи,
От голода хворы и плохи.

А ждут нас не райские кущи!
Нас ждет истощенье и пуше —
Нас ждет разложение и тленье.
Но вещей — и еще хотяше
Нам песнь сложить — блестяще
Горит, оплавляя каменья.

Пылай же, грядущий и суший,
Нам, алчущим, пищу несущий,
Пылай — нас гнетет голодуха.
Целуем нетленные мощи!
Спасение нации — в мощи
Горящего слова и духа!

1975, г. Москва

ЗЕМЛЯ

Хороша земля деталями,
Каждой кочкой луговой,
Непрерывными баталиями
Между камнем и травой.

Хороша земля подробностями,
Дробным гогом гусей.
Хороша земля неровностями,
Всей шершавостью своей.

Слава Богу, что не плоская
И отнюдь не монолит.
Океанов не расплескивая,
Тихо в космосе летит.

Вся холмистая, неровная,
И горчат солончаки,
Как щека твоя зарёванная
Около моей щеки.

1970

БАССЕЙН «МОСКВА»

Железные конструкции бассейна,
Зеленое стекло из-под портвейна,
Морозный пар и винный перегар...
Под фонограмму плеска, мата, гама
Клубится синеватый призрак храма,
Не годный ни под клуб, ни под амбар.

Сюда метро стремительней, чем конка,
(Не та Россия и не та Волхонка!)
Доставит нас не в церковь, а в провал,

Зияющий, сияющий, слепящий —
Поддельный рай и ад ненастоящий,
На карнавал и под девятый вал.

Затеян праздник, пьяный, малохольный.
Под вопль толпы и выхлоп колокольный,
Когда корабль с размаху сел на мель,
Вершитель, оказавшийся у цели,
Посмеивался, пальцем тыча в щели,
И окунул нас в новую купель.

Но, пьяный взор вперея благоговейно
В железные конструкции бассейна,
В клубящийся над ямой белый пар,
Угарный, убаженный и умытый,
Однажды вдруг поверит новый мытарь
В того, кто принял на себя удар;

В того, кто разрешил в себя не верить,
Заколотить крест накрест и похерить
Все русские моленные дома,
Взорвать собор и выстроить купальню
И молотом стучать о наковальню
И всем сойти торжественно с ума.

И невиновность в том ряду презумпций,
Которой Божий суд дарит безумцев,
Сегодня удоволенных «Москвой»,
Запамятовавших вдрызг не время оно,
А как вчера по снегу шла колонна —
Глаза в слезах и пар над головой.

ВЕКСЛЕР Марат — поэт. Родился в 1934 году. По профессии — врач. В Советском Союзе не печатается.

СЕСТРА

Рассказ

1

Мой отец был казанджия, но бедняк — чинил котлы. Такие, как он, в турецкое время были в каждом городке. Турецкое царство пропало, но отец мой не стал ни мастером, ни хозяином. У него, в деревянном домишке в Казанджийском переулке, я и начал учиться ремеслу, окончил учение уже после смерти отца и начал работать в мастерской у жестяника. Меня зовут по отцу Казанджия, Арса Казанджия, хотя я не лудильщик, а, как уже сказал, жестяник.

Но я не про отца, и не про свое ремесло. Я просто хочу подчеркнуть, что и по происхождению и по жизни, — так сказать, естественно, — я еще до революции, совсем мальчишкой, оказался в революционном движении, а в конце революции занял пост начальника госбезопасности в своем родном городке.

Когда началась революция, я не был одурманен чуждыми революционному движению взглядами, и относился к своим классовым и идеологическим врагам совсем не сентиментально. Надо сказать, что и они ко мне относились безо всякого сочувствия, — избивали, мучали и таскали по своим тюрьмам.

Поэтому я, само собой понятно, доверенную мне работу проводил со страстью и убежденно. Но несмотря на страсть и на веру в свое дело, я не выходил из рамок, предписанных высшими инстанциями: хотя работа в органах госбезопасности и рассматривалась

как честь и доверие, но считалось, что руководящие должности следует поручать дисциплинированным и морально устойчивым.

И когда арестовали Зорку, то для меня это не было чем-то из ряда вон выходящим, не помешало мне исполнять свои обязанности и ничем не нарушило моего внутреннего спокойствия.

Да и дело-то, впрочем, было вполне ясное и характерное.

Она была арестована за то, что оказывала поддержку своим братьям Милютину и Милораду Тонковичам, которые скрылись после отступления оккупантов и поражения контрреволюционных отрядов. В ее виновности не могло быть никакого сомнения — данные о ее связи с братьями мы получили от ее золовки Иванки — жены Милорада. Дело в том, что мы поймали старшего сына Иванки, гимназиста, который прятался у родственников в деревне. Вины за ним никакой не числилось, кроме одной: он скрывался от властей. Но кому-то из нас, кажется, моему помощнику Николе, пришло в голову воспользоваться страхом его матери, которая до некоторой степени про себя верила в пропаганду, что революционеры убивают всех подряд. Как ни странно, Иванка не только не упиралась, а даже не раздумывая сразу согласилась давать информацию. Она нам и выдала, приведя ряд фактов, что Зорке известно, где находятся ее братья.

Вина братьев Зорки была неоспорима: оба крупные контрреволюционеры, участвовавшие в бесчисленных боях против революционных сил и в расправах над семьями революционеров. Допустить, чтобы они ушли от революционной справедливости — означало бы поражение органов госбезопасности, вызвало бы гнев в семьях революционеров и — что, конечно, хуже всего — укрепило бы реакционеров.

Я хорошо знал обоих братьев Тонковичей, а с младшим, Милорадом, даже дружил в начальной школе.

Они были из богатой крестьянской семьи, которая после первой мировой войны приобрела дом и огород в местечке и переселилась туда.

Старший, Милютин, когда началась война, был начальником налогового управления, и никак нельзя было подумать — хотя он и был против бунтов и беспорядков — что именно он станет одним из самых непримиримых и упрямых вожakov местной контрреволюции. Но война, гражданская война, превратила Милютина из незаметной личности, какой он был на самом деле, в вожака злодейства и предательства.

Он был высок, худощав, лет около сорока. Его рано поседевшие волосы и бронзово-красный цвет лица не только контрастировали друг с другом, но и надолго запоминались своей жестокой серьезностью и решительностью. Контрасты были у него и в другом: его длинные жилистые руки находились в постоянном движении, а ходил он медленно и вразвалку, как люди, уверенные в своей силе, говорил мало, но скороговоркой, проглатывая окончания слов. Надо сказать правду: человек он был хозяйственный, заботился о семье и только по праздникам иногда подолгу пил, но и тут не пропивал разума.

Милорад был прямой противоположностью старшему брату: низкорослый, смуглый, склонный к полноте, с блестящими курчавыми волосами, с мягкими пухлыми руками. Он служил в армии и дотянул до капитана. И хотя он был одним из контрреволюционных главарей — как офицеру, ему это нравилось и как служебная должность — он не обладал такой энергией и решительностью, как Милютин, да и грехи у него были помельче. В отличие от брата, у него была склонность к удовольствиям — любил женщин, играл в кости, пил. Впрочем, и в этом у него не хватало отваги — побаивался жены и других разных неприятностей.

И хотя братья находились в одном лагере, но

борьбу понимали по-разному: для Милютина это было как святое призвание, утверждение и оборона наследия, вместе с которым он был готов умереть и без которых не мог жить, в то время как для Милорада это было только продолжение службы, которое он считал более трудным, несмотря на то, что теперь он мог позволить себе неумеренные и необузданные удовольствия.

Их сестру Зорку, о которой идет речь в моем рассказе, я знал мало. Она была намного моложе братьев — ей, может, лет семнадцать только исполнилось, когда мы ее арестовали. А поскольку меня долго не было в родном городе, она осталась у меня в памяти как веснушчатая девчушка в сандалиях и в белых чулках до колен, с кожаным ученическим ранцем за плечами, а поверх ранца — золотые косички. По полученным данным я видел, что она в делах своих братьев никакого участия не принимала. Напротив, она участвовала в самодеятельности и на субботниках, — явление не такое редкое среди детей контрреволюционеров и одобряемое революционной партией.

Я удивился, когда ко мне ввели высокую, стройную девушку, которая смотрела на меня спокойно, почти гордо, темными глазами в которых были такие же коричневые пятнышки, как и на ее лице. При сильном электрическом свете — допросы производились обыкновенно по ночам, а яркий свет заставляет преступника обнаружить свое истинное лицо — ее волосы отливали золотом. К моему удивлению, она выглядела очень опрятно, что редко случается с арестантками, даже если они пробыли в заключении всего лишь один день. Все это показывало, что передо мной человек, вполне в себе уверенный, но и меня не считающий неучем и грубияном.

На основании собранной информации я уже выработал для начала тактику для Зорки: исходить из ее симпатий к молодежному движению, а тем самым и к

новому общественному строю, чтобы таким образом привлечь ее на сторону властей и раскрыть местонахождение братьев. Что же касается доказательств ее контактов с ними, то я намерен был приводить их постепенно и осторожно — надо было следить за тем, чтобы не раскрыть наш источник, — ее золовку Иванку.

Но весь вид Зорки, в особенности же занятая ею позиция, вселили в меня неуверенность, главным образом в том, что ее будет легко переубедить и привлечь на нашу сторону политическими аргументами. Но я все же попытался, во-первых потому, что я уже решил применить этот метод, а во-вторых, он был у нас введен и исключал всякое применение физического давления: дело в том, что мы уже получали распоряжения не применять пыток, за исключением тех случаев, когда по-другому невозможно добиться правды.

Сначала я сказал: нам доподлинно известно, что она знает, где скрываются ее братья, и поддерживает с ними связь, указал день и час, когда она последний раз была в селе, из которого они были родом, упомянул лекарства, которые она носила Милораду, заболевшему какой-то кожной болезнью. Затем я ей сказал, что перед ней, как перед членом молодежной организации, впереди все будущее и было бы не умно и нечестно отрывать себя от всей остальной молодежи.

— Понятно, — продолжал я, — это нелегкое решение: они твои братья, у вас кровное родство. Но они сотрудничали с оккупантами, предали родину и народ в самый решительный исторический момент. Не ты первая выбираешь между любовью и долгом, между семьей и родиной. Мы ни в коем случае не хотим тебя уничтожить, наша цель — тебя спасти, даже если бы ты не была молода — оправдаться перед народной властью никогда не поздно. Для того, чтобы поставить человека на правильный путь, мы готовы затратить любое время, любой труд: мы тебя спасем, — если понадобится, даже против твоей воли, —

потому что ты еще не погрязла в предательстве и преступлениях.

Ее ответ меня поразил, может быть, не столько содержанием, сколько продуманностью и убежденностью, с которой она его произнесла.

— Я не говорю, — ответила она, — что вы не правы, что касается родины и предательства. Мои братья, может быть, и предатели и злодеи, потому что они сотрудничали с оккупантами и убивали. Но все равно — знала бы я или не знала, где они скрываются, я никогда не могла бы их выдать. Кто бы они ни были — они мои братья!

— Как так — не могла бы их выдать? — повысил я голос. — Так они ведь, как ты сама говоришь, сотрудничали с оккупантами и убивали борцов за свободу! Выдать их — не позор, а долг по отношению к родине и народу, по отношению к твоей молодости и жизни.

— Может, это и верно, — охотно согласилась она. — Но только я не могла бы так. Не знаю сама, почему, но не могла бы! Пусть им предъявляют счет те, кому они должны! Но судить своих братьев — не мое дело. Кроме родины, и народа, и жизни, и свободы — существует и долг сестры по отношению к братьям. И я не могла бы выдать братьев, чего бы за ними ни числилось.

Меня возмутило, что она сравнивает своих братьев с нами, хотя это сравнение и было высказано не прямо: «Пусть им предъявляют счет те, кому они должны!» Но так как работа моя требовала — и я уже к этому привык — многое выслушивать и глотать не отвлекаясь от поставленной задачи, я только сказал:

— Мы предъявляем не свой, а народный счет! — и перешел к дальнейшему изложению своих требований. — Мы в любом случае добьемся того, чего хотим: будет так, как должно быть. У нас есть время. И средства! Думаю, что тебя не надо предупреждать,

ты, наверное, и сама слыхала, что мы не стесняемся в средствах, когда нужно сломить врага народа. Мы тебе даем возможность не быть одним из этих врагов! И не думай, что ты сможешь выдержать — такой силы и хитрости нет ни у кого, мы любого заставим стать на колени пред правдой и властью народной...

Незаметно для самого себя я встал, подошел к ней и, убеждая, грозил указательным пальцем, одновременно думая про себя: ишь ты, я и не видел — а из-за стола это было и невозможно, — что глаза у нее коричневатые, с золотыми искорками, а пятнышки покрупнее — сероватые. Взрослая уже, ладная девушка. Но выражение лица из близости детское, — именно детское и незрелое...

Эту незрелость подчеркивали и высокий гладкий лоб и пухлые губы, которые жизнь не успела еще отметить складками и горечью. Толстая длинная коса, переброшенная на грудь с левой стороны и розовые тонкие пальцы, играющие ленточкой, вплетенной в конец косы, еще сильнее подчеркивали ее детскость.

Ребьячье упрямство, — такой вывод сделал я про себя и ощутил сильное желание надавать ей пощечин и сократить допрос, убежденный, что она, как каждый подросток, сквозь слезы расскажет все. Но было неудобно применять такое воздействие сразу после политической обработки, не дав ей времени на размышление; я воздержался и сказал только:

— Значит, так, — решай свою судьбу сама. Решай, с кем ты, с молодежью или с предателями, чтобы нам знать, как с тобой поступать, — как с человеком или как со скотом.

На ее губах вдруг появилась твердость: очевидно, она хотела сказать, что ни в чем не признается, но удержалась. А я продолжал, постукивая ее по лбу тупым концом карандаша:

— Сегодня ночью поразмысли. Даю тебе время до завтрашнего вечера, — наведи порядок в своей

голове, а потом все по порядку расскажешь. И запомни — дольше, чем до завтрашнего вечера ждать не буду. Конечно, можешь вызвать меня и раньше — в любое время дня и ночи.

Я потому так точно указал, что откладываю дело до завтрашнего вечера, что заключенному, в особенности, если положение его неопределенное, надо дать время на размышление. В еще большей мере я это сделал, исходя из оценки Зорки — неискушенную и перепуганную, ее надо подвергнуть «испытанию временем», чтобы она в ожидании определенного часа терзала бы саму себя еще неизвестными ей мучениями и испытаниями. Ну, и кроме того, надо было еще сговориться с моими помощниками Николой и Милией, какие меры предпринимать на тот случай, если она не станет говорить, а какие, если заговорит и выдаст братьев.

Надобно еще заметить, что я спешил: вышестоящие инстанции все время запрашивали, что с Милютиним и Милорадом, да и зима уже шла на убыль — начало марта, — а если мы их не возьмем до таяния снегов, то надежды на их ликвидацию совсем падали.

Я позвонил, охранник открыл двери и совсем не по-военному стал у входа. Меня рассердило, что он так себя держит перед Зоркой, почти девчонкой, которую надо было подавлять всем, даже тюремной дисциплиной, и я резко приказал ему войти. Он понял, почему я рассердился, вошел, закрыл за собой дверь и откозырял.

— Куда вы ее поместили? — спросил я.

— В одиночную камеру номер два, как приказано.

— Перевести ее в общую камеру номер два.

— Есть, товарищ начальник! — ответил, вытянувшись, охранник.

— Послушай, — добавил я, когда он выводил Зорку, взяв ее за руку выше локтя, — пока никаких особых мер. И позови товарищей Николу и Милию.

Ожидая прихода помощников, я думал о том, что теперь следовало предпринять и о распределении работы между ними и мною.

Никола был моим помощником по связи с осведомителями. Он был молчалив, замкнут, и такая работа ему подходила. Эти его качества, да еще вдобавок настойчивость и фанатическая преданность были необходимы и для более узкой и важной его специальности: добывания от заключенных правды принудительными методами, — конечно, только в тех особых случаях, когда иначе правды нельзя было добиться. И хотя у него было достаточно ума и инстинкта, чтобы определить, где ложь, а где правда, — так как бывало, что заключенный во время пыток начинал говорить всякую ерунду, в его характере были и отрицательные черты для такой работы, которую он чаще всего выполнял как и любую другую — аккуратно, но без воодушевления. Иногда, в особенности когда заключенный лгал, Никола перегибал палку, даже в тех случаях, когда имел дело не с идущими под расстрел, то есть с такими, которым нельзя было причинять видимых увечий. Эти излишества часто происходили еще и потому, что он обладал необычайной физической силой. Высокий, черный, сутулый, с налитыми мускулами, с широкими тумбообразными ножищами, он уже видом своим пугал заключенных, а когда приходил в ярость, что неизбежно при пытках, он забывал про свою страшную силу и сам того не желая вывихивал суставы и сворачивал скулы, не говоря уже о таких невидимых для глаза внутренних повреждениях, как отбитые почки, и иных, от которых шла кровь изо рта и из носа. К тому же он был убежден в эффективности пыток. Некоторые из них он даже испытывал на самом себе и потом добродушно говорил, что если бы кто-нибудь их на нем по-серьезному применил, — он сразу во всем бы признался. Пытки были единственной ценностью, которую он признавал за прош-

лыми антинародными режимами: «Не зря это люди придумали и прошлая власть к этому прибегала не для удовольствия». И на этой точке зрения он стоял — несмотря на то, что кончил идеологические курсы, на мои настойчивые объяснения, что пытки и мучения есть порождение классовых, эксплуататорских отношений! И что мы — я, он, все мы, борцы за бесклассовое общество, должны использовать эти отрицательные методы прошлого только до тех пор, пока не осуществляются равенство и братство всех людей!

Я не мог поручить Николе допрашивать Зорку. Хотя я и не сомневался, что следствие по ее делу завершится успешно, однако, побаивался, что она могла быть и твердым орешком... Потому что и моя сестра, богобоязненная мещанка, была бы в состоянии ради меня не только вынести любые муки, но даже пожертвовать родным ребенком. А что, если Зорка окажется одной из таких патриархальных сестер? Виновны братья или нет — для такой сестры не имеет никакого значения. Также не имеет значения правда и справедливость идей революции, — если она их способна понять, не говоря уже о положительном к ним отношении. К тому же она молода и на ней нет вины, за которую бы ее можно было приговорить к смерти. А значит, мы не могли рисковать и допустить, чтобы Никола нанес ей повреждения, это вызвало бы отрицательную реакцию населения, реакционеры и без того будоражат слухами об ужасах в тюрьмах, которые, кстати, были более мягкие и не такие многочисленные, чем в свое время в их темницах. Да, да, это дело слишком ответственное и слишком тонкое, чтобы его можно было поручить Николе...

Еще менее подходил для ведения этого следствия Милия. По той простой причине, что у него не было ни способности, ни опыта по проведению допросов с пристрастием, — на тот случай, если у нас не останется других методов, чтобы добиться от Зорки, где

прячутся ее братья. Он отличался ловкостью и находчивостью при погоне и в открытой схватке с противником. Он был костистый, но невысокий, белокурый и сила у него сидела больше в костях и в сухожилиях, чем в мышцах: сутками, неделями мог он сидеть в засадах, терпя голод, грязь и бессонницу, никогда не боялся пули или рукопашного боя. Но пытки его отталкивали и когда он на них присутствовал, это было заметно, — хотя он, естественно, стыдился такой мягкотелости и никогда в ней не признавался.

Решил я, значит, лично вести Зоркино дело, хотя в то время уже было принято решение: руководящие товарищи должны избегать непосредственного участия в следствиях, где могли дойти до применения физического воздействия, — чтобы не подрывать свой авторитет и из-за возможной мести.

После такого решения я переместил Зорку из одиночки во вторую общую камеру, еще до того, как провел консультацию с помощниками. Во второй общей камере мы обычно содержали проституток и нищенок. Этим я хотел ударить по унаследованной Зоркой семейной гордости и надменности. Среди женщин, заключенных в этой камере, всегда было три-четыре завербованных, так что мне не приходилось опасаться, что Зорка сможет передать что-нибудь на волю без моего ведома, а бабы эти наверняка бы оскорбили и унизили её разными пакостями и похабностями.

Но мое намерение лично вести следствие над Зоркой Никола воспринял не только неодобрительно — он счел его почти за оскорбление.

«Товарищ Арса, — сказал он, — нарочито подчеркивая нашу партийную близость тем, что выпустил слово «начальник», — это что ж, партия мне не доверяет?»

Я вспыхнул и сердито разъяснил ему, что партия тут ни при чем, что о недоверии к нему и речи не мо-

жет быть. Просто дело это настолько важное, что я обязан быть полностью в курсе следствия, в котором будет принимать участие и он, если позволят другие мероприятия. Он воспринял это с облегчением, хотя тень недовольства осталась на его морщинистом бугристом лбу и на сжатых синих губах.

Милия же наоборот, воодушевился моим решением и сразу выложил кучу предложений об усилении поисков, распределении засад в районе села, откуда были Тонковичи и где они, судя по всему, и скрывались.

Я мог бы быть вполне доволен этим первым днем следствия, — за исключением поведения самой Зорки. Однако меня не покидало какое-то чувство неопределенности, даже неуверенности и я пытался объяснить его Зоркиным упрямством.

2

Однако спал я хорошо и, проснувшись около десяти часов, даже позабыл об этой неприятной неуверенности.

Прежде всего мне надо было повидаться с Иванкой, чтобы проверить все данные, и, — мне пришло это в голову совсем неожиданно, — чтобы узнать ее мнение о Зорке и таким образом пополнить созданную о ней картину.

Городским работникам моего учреждения легко встречаться со своими агентами. А вот в малом местечке это очень затруднительно, в особенности, если агент считается нашим врагом, как это было с Иванкой. До этого случая я встречался с ней только лишь по ночам, у моей двоюродной сестры, соседки Иванки, прокрадываясь в огород, спускавшийся к лугу возле речки. Но теперь я не смел затягивать следствие и решил встретиться с ней днем. Но как, где? Все еще

лежа в постели, куря и потягивая турецкий черный кофе, я решил, что самое простое решение бывает одновременно и самым лучшим: мы просто для вида арестуем Иванку, — естественно, по тому же самому делу, по которому арестовали и Зорку.

Иванку привели уже около одиннадцати часов. Крупная, полноватая, смуглая женщина, перевалившая уже за тридцать, пыталась скрыть беспокойство, но губная помада не могла замаскировать бледности ее больших чувственных губ.

Когда мы остались одни, я пожал ей руку и, улыбаясь, предложил сесть.

«Знаете, — сказал я, — теперь, когда Зорка в тюрьме, это наилучший способ встречаться, — каждый подумает, что мы вызываем вас в связи с ее делом, да мы и на самом деле для вида проведем допрос, чтобы никто из нижних чинов и охраны не заподозрил чего-нибудь».

Напряжение мало-помалу сходило с ее лица.

Мне никогда не было до конца понятно, почему она стала нашим осведомителем. Я уже упомянул боязнь за сына, — он был не виновен и находился на свободе. Две ее дочери были еще моложе его. У меня никогда не создавалось впечатления, что она труслива. И с мужем у нее конфликта не было: она считала естественным, что он, — как офицер, гуляет и развращается.

Да, в ее согласии работать с нами было что-то необъяснимое: она, сама того не зная, как бы родилась для того, чтобы верно и тайно служить властям.

Иванка никоим образом не принадлежала к тем подонкам общества, которые немедленно готовы подслушивать и провоцировать, а часто, правду сказать, и сами навязываются и лезут со своими доносами. Она была из торгового сословия и женщиной, по общему мнению, порядочной. Я и держал себя с ней соответственно — с уважением и без той интимности, которая

сама по себе создается между людьми, которые находятся между собой в тайном сговоре. Интимности она, к тому же, не терпела и никогда ничем на нее не вызывала. Хотя она никогда не высказывала восторгов по поводу своей работы для нашего учреждения, но делала эту работу аккуратно и без ошибок.

У меня в конце концов создалось впечатление, что она согласилась сотрудничать с нами потому, что считала естественным, само собою разумеющимся, давать властям то, что они требуют. Она была верующей и я не раз злобно подумывал: Богу — Богово, а кесарю — кесарево! Странно и то, что она согласилась сотрудничать уже после того, как мы освободили ее сына, причем даже и не пытались ее шантажировать! Мой помощник Милия, выпуская сына, заметил, что она этим очень тронута и ему вдруг пришло в голову предложить ей сотрудничество. Я вызвал ее и предложил — с целой кучей разъяснений и извинений, как это полагается в разговорах с такими людьми. И вдруг она сразу, без колебаний, согласилась, поставив только одно, серьезное и непоколебимое условие: «Чтобы об этом ни одна душа не знала...»

«Неплохо придумано», — негромко, с умной усмешкой сказала она, когда я сообщил ей причину ее «привода». И я про себя подумал: вот она какая — оценила мое решение! «Однако, — продолжала она, разминая сигарету, которую я ей предложил, — напоминаю: вы дали слово, что с Зоркой ничего не случится слишком плохого. Она ведь на самом деле не виновата. Она сестра, сестра и только. Но вам нелегко будет заставить ее признаться».

Я действительно обещал Иванке, что Зорку мы не будем ни бить, ни судить. Но тогда я был уверен, что Зорка сразу выложит все, что знает. А сейчас моя уверенность несколько поколебалась и потому я никак не отреагировал на замечание Иванки и спросил:

«Что за личность эта Зорка? И как ее лучше всего сломить?»

«Сломить? — почти вскрикнула Иванка. — Ну, этого вам никто не сможет сказать! Она, знаете, чем-то на меня похожа... как я привязана к детям, так привязана она к братьям. Но я люблю спокойную жизнь, а ей она безразлична, когда дело касается ее самой. Она серьезна и чистоплотна, — сейчас на ней весь дом. Она заботится о старухе-матери, которая не может пошевелиться, о детях Милютина и его жене, а весной она весь огород обработала своими руками».

«Значит — обещания и уговоры не подействуют?»

«Думаю, что нет, наверняка — нет».

«Тогда что?»

Она пожала плечами, а я, обидевшись, сам не знаю, на что, добавил:

«Бить?»

«О, нет, это уж совсем ни к чему! — поспешно возразила она. — Может быть, может быть, если бы вы попробовали... Но это невозможно! Я думаю, если бы вы попробовали ее как-нибудь убедить, что братьям ничего не будет! Но это не пойдет! Она в это никогда не поверила бы, а вы не смогли бы обещать».

«Конечно, об этом и говорить нечего, — сказал я, злясь и на нее и на себя. — Нет, вы предложите что-нибудь осуществимое, прежде, чем нам придется применить меры, которые применять не хотелось бы».

«Возможное? А что для нее возможное? Она сама вся — как бы это сказать — невозможная! Она так мало дорожит собой и своей жизнью! Трудится, как пчела, а живет как во сне, прямо как во сне».

Дальнейшая характеристика Зорки меня мало интересовала, поскольку не давала никакой зацепки, как ее сломить. Поэтому я перешел к сравнению и уточнению данных, полученных от Иванки до этого.

Окончивши это дело, я составил протокол допроса Иванки, — что она вроде как бы ничего не знает

о связи Зорки с братьями, и о том, где они скрываются. Иванка подписала протокол и вышла своей медленной нескладной походкой.

Было уже около полудня и хотя рабочее время кончалось в два часа дня, я решил не возвращаться домой, а остаться в канцелярии и подготовиться к допросу Зорки, который я решил начать сегодня же вечером. И вообще рабочие часы нашей службы в те годы не были строго регламентированы: работали по потребности — иногда по несколько суток без прерыва, днем и ночью, прерывая работу только чтобы подремать и перекусить. Мы считали себя солдатами на страже и в бою, бойцами необычайной эпохи, выполняющими особое задание, — да впрочем, мы ими и были.

В работе быстро промелькнули эти два часа и я все думал о деле Зорки и систематизировал данные о нем.

Шансы не были блестящими, хотя на базе Иванкиных сообщений было ясно, что Зорке известно, где скрываются ее братья. Все остальные данные были скудными, следы к отщепенцам были хорошо замечены. Все, почти все зависело только лишь от нее, — от Зорки. И от моего поведения, вернее от моей ловкости и моих сотрудников, — сумеем ли мы ее сломить или переубедить.

3

Данные, которые я получил от женщин, бывших в камере с Зоркой, только подтвердили мои опасения относительно предстоящих трудностей: она вела себя сдержанно, молчаливо и даже спокойно.

И все же я решил начать с убеждений.

Начал я заниматься этим около восьми вечера, чтобы к полуночи окончательно убедиться в бесполез-

ности своих усилий. Дело приняло даже трагикомический оборот: Милия, уверенный в моем успехе, около одиннадцати часов сообщил, что он подготовил три группы отборных людей для окружения берлоги отщепенцев и для взятия ее с налета, а Никола, чье «искусство» я уже хотел было пустить в ход, просто куда-то пропал, — также уверенный в том, что уж «товарищ начальник» успеха добьется. И насколько усердие Милии ставило меня в глупое положение, настолько же злило отсутствие Николы: охранник, помогавший мне пытать Зорку, был неуклюж и неопытен.

Так следствие над Зоркой уже в первую ночь превратилось в расправу. Соппротивление этой неоформившейся, безобидной девчонки — может быть именно потому, что она была безобидной и неоформившейся — превратило революцию, дело революции, в мое личное дело: затронута была, как никогда, моя гордость, мое тщеславие начальника и старого борца. Даже мой опыт и ловкость вдруг утратили вес и ценность.

Я не только не пытался скрыть мое озлобление, но с досадой ощущал, что внешнее проявление моей злости даже в отдаленной степени не могло сравниться с яростью, которую ощущал я внутри. Хотя я помнил о возможных отрицательных политических последствиях и старался не нанести Зорке повреждений, я со страстью изобретал и применял к ней пытки, — я, которого человеческие страдания всегда потрясали, который, несмотря на войну и обязанности следователя, всегда стремился к тому, чтобы пытки, если уж без них нельзя было обойтись, по возможности сводились к необходимому минимуму.

Братья Тонковичи в данный момент были последним серьезным остатком контрреволюции. В их лице, — я в это верил, да так оно и было! — сконцентрировались всё безумство и разгул контрреволюции.

Все матери и все сироты в доверенном мне крае именно их проклинали за холод, за голод, за разоренные жилища, за нищету, хотя лично они не были ответственны даже за десятую часть всех этих бед. Но они были символом, знаменем ужасов и бед. А кроме того, я в эту ночь впервые осознал, бесстыдно и непреодолимо, что личная моя карьера и мой революционный авторитет находятся в непосредственной связи с ликвидацией Тонковичей. Как раз это меня задевало и распаляло больше, чем что-либо другое.

Кроме того, и сопротивление Зорки, и пытки я воспринимал, — да, воспринимал глазами, руками, разумом! — как схватку двух миров — старого, уже мертвого, хотя его отверзнутые гробы еще испускали трупный запах, удушающий все вокруг, и нового, только выпускающего ростки, пусть жестоким языком, оповещающего о приходе всепобеждающей жизни.

И вот я, Арса Казанджия, рабочий и борец, такой, какими должны были быть все люди, если только они люди, я, вот такой, каким уродился — ни красавец, ни урод, ни добрый, ни злой, скорее брюнет, чем блондин, среднего роста и средней силы, аккуратный и умеренный во всем, — чтобы я отступил перед этим гнилым миром, чтобы я предал сам себя, свое прошлое и настоящее! Чтобы я предал мир любви и счастья, который уже наступает и который непременно наступит! Чтобы я отступил перед этой соплячкой, заблудшей и ничего не смыслящей, у которой еще молоко на губах не обсохло, — я, закаленный резиновыми дубинками в бесчисленных темницах и простреленный пулями в бесчисленных боях!

Что ей нужно? Во имя чего, во имя кого она упирается?

«Что тебе нужно, сучка, выродок? — кричал я ей в то время, как она, измученная и облитая своим и

моим потом, приходила в сознание. — До каких пор ты будешь пить свою и мою кровь?»

Но она не отвечала. Даже не плакала, хотя от боли слезы катились из ее глаз, обезумевших настолько, что ничего, казалось, не было на ее лице, кроме этих глаз. Ее показная гордость и сдержанное спокойствие исчезли. Но что-то другое, еще более твердое и непонятное, заставляло ее быть собранной и непоколебимой.

Проходил час за часом, но я пришел в себя только около трех пополудни, когда увидел вдруг, что произошло, во что мы, я и Зорка, превратили ту здоровую, самоуверенную и домашнюю девчонку. Губы у нее были разбиты, платье разорвано так, что обнажалась грудь, волосы были мокрые, растрепанные, с вырванными прядями, веки отекали и левый глаз совсем не открывался, ладони и ступни опухли и покрылись кровоподтеками. И хотя я понимал, что серьезных повреждений ей не было нанесено, я все же испугался, как бы ей в ярости не нанести какое-нибудь увечье, и еще испугался, что никакие пытки уже не помогут сколько бы их не было — хотя я уже давно убедился, что в этой области человеческая фантазия — да и моя в том числе — очень богата.

«Слушай, — я сделал вид, что одумался, — давай не мучить друг друга, давай говорить как люди.»

«А как — как люди, — сказала она в слезах, — если вы меня пытаете?»

«Так и надо, если ты не хочешь по-человечески! Но давай кончим это и будем говорить как люди.»

«Я ведь готова, только не знаю, что и как.»

«Ах, не знаешь? Не упирайся! Ты хорошо знаешь, что меня интересует.»

Она ничего не сказала, а я тоже не продолжал.

Она сидела на полу, босая, охвативши колени руками и опустив голову. Сжавшаяся в комок, она

казалась не только меньше, но — я это впервые заметил — и более женственной, собранной, с подчеркнутыми бедрами. Я почувствовал к ней жалость.

«Слушай, Зорка, — начал я почти ласково, — ты еще и не отведала жизни, а уже решила испробовать всю её горечь. Ты только что стала девушкой, строится новое общество — почему тебе не соединить свою молодость с молодостью нового общества? Ведь я хочу тебе только добра, хочу оградить тебя от гибели, которая ждет твоих братьев, если не сегодня, то завтра. Они проиграли. Разве ты не ощущаешь долга перед родиной, для которой должно рожать детей твое чрево?»

«То-то оно и есть: чрево! Чрево мое и моей матери! И родина — их и ваша! А разве их на свет произвело не то самое чрево, что и меня — для той же родины? Вы победили, да, я это знаю. И моя молодость и вся моя жизнь в ваших руках — или в могиле. Но я не хочу, не могла бы предать плод чрева, из которого и я сама вышла. Кому после этого я смогла бы глянуть в глаза? Всю жизнь я не знала бы покоя!»

«Так об этом же никто не должен знать! — подхватил я. — Никто, только я да ты, а я забуду, так, как будто ты это в полночь в черную воду опустила.»

«Но меня мать бы, мать бы меня прокляла!»

«Она и знать, и догадываться не будет!»

«Меня бы прокляла жизнь, жизнь, которую она в меня вдохнула, ее кровь и ее мысль!»

«Но у тебя больше права на жизнь, чем у них!»

«А как жить без самой себя, потеряв лицо и рассудок?»

«Знаешь что, Зорка, — переменял я тему, — ты ведь и сама видишь — я всё знаю!»

«Вижу, вижу... Вы верите в то, что знаете!»

«Ну, и что же?»

«Не могу. Я не могу! Вы этого понять не можете!

Я могла бы умереть, но не могла бы выдать своих братьев.»

«А если бы это не были братья?»

«Не знаю! Но они — братья, я о них и говорю. Вы требуете от меня, чтобы я предала братьев.»

А у меня в голове: многие революционеры вот так и погибли во время пыток, не выдав своих товарищей. Я лично знал нескольких таких, да и самому мне приходилось выносить подобные пытки. Но гораздо больше было других, которые пыток не выдерживали. Я их не понимал, хотя еще меньше понимал первых, несмотря на то, что сам принадлежал к их числу. Почему я не мог сделаться предателем? Из-за классового самосознания и преданности рабочему движению? Но многие более сознательные и более преданные становились предателями. Просто так — было во мне что-то независимое от разума, от сознания, что-то лишь одному мне свойственное и мне же самому непостижимое — до той минуты, пока не подошло испытание. Но тогда все оставалось неопределяемым — и отпор, и бессилие, и сознание, и невозможность стать предателем...

А что, если и Зорка — такая?

Да, но ведь это не одно и то же, — возражал я самому себе. — Она же защищает контрреволюцию, ложные и неосуществимые идеи, жизнь, отходящую в небытие. Что же дает ей силы? Сестричество, унаследованный культ кровного единения? Несомненно. Но этого мало. Тогда что-то другое? Но что, что? То самое, мое, непостижимое? В таком случае все мои усилия напрасны...

Но могу ли я позволить связанному врагу не сдаться? Могу ли я признать, что даже я — революция — жизнь — истина, не в состоянии ничего придумать, не в состоянии ничего предпринять против этого непреодолимого сопротивления, источник которого очевидно не в ее разуме и не в сознании?

Нет, так легко я сдаться не могу и не хочу, — говорил я себе. — Во всяком случае у меня более выгодное положение, и если я буду настолько же упрям, как она... И вообще — ведь мы только начали!

Я прервал допрос: надо было беречь и ее силы — для новых пыток. И пока она еще сидела тут, передо мной, уткнувшись в свои колени, я думал, куда ее поместить. Тюрьма была старинная и небольшая — еще с турецких времен. Чистка контрреволюционеров была в полном разгаре и камеры были переполнены различными преступниками. Я вспомнил про одиночку, в ней содержался один крупный военный преступник, по делу которого тоже велось следствие. Я решил его переместить, а Зорку отправить в его камеру. Тогда у нее с одной стороны будет камера смертников, из которой по ночам выводили на расстрел, а с другой — камера, из которой преступников тоже подвергали допросам и пыткам. Я знал — на своем собственном опыте — что одиночество действует как непрекращающаяся тайная пытка. Я знал, что камера смертников будет ей без перерыва напоминать о жизни, которая осталась за стенами тюрьмы, а из другой камеры измученные люди своими стонами и жалобами будут подвергать ее пыткам, в сто раз более жестоким, чем те, которым они подвергаются сами.

Так я и сделал: стража отволокла ее в камеру, которую я для нее выбрал.

На улице меня охватила бодрящая прохлада. И звезды, оживленные, приветливые, вот-вот готовы были скатиться по крышам на обледеневшие улицы. Я никогда не философствовал и не мучился вопросами о том, что там, в мировом пространстве, — я человек, живущий среди людей на земном шаре. Но тогда меня, внезапно и впервые в жизни, вдруг прожгла мысль о никчемности всего человеческого, а самое главное — о бессмысленности борьбы между людьми.

Ерунда! — чуть не крикнул я. И начал разъяснять самому себе, что это может пахнуть еще какими-то угрызениями совести перед лицом врага народа и революции. Или даже Богом! Нет, пусть звезды себе совершают свой путь куда им там положено, а мы этой Зорке приготовим такое угощение, которого еще никто никогда не пробовал. Она, конечно, твердый орешек, но можно найти и зубы, которые его разгрызут...

4

Хотя я проснулся около десяти часов, я не выпался и был зол на себя за те мысли, которые вчера во мне вызвали звезды. На Зорку во мне вскипала такая злоба, что в припадке бешенства я мог бы разорвать ее на куски. Лежа в кровати, я выпил чашечку черного кофе, просмотрел в газете проект новой конституции и постепенно успокоился, продумывая одновременно, что такое предпринять против Зорки и ее братьев.

Все это выглядело сейчас гораздо сложнее, чем раньше.

Дело в том, что в прошлую ночь я уже испытал на Зорке все пытки, которые применяли к революционерам при старом режиме, и, кроме того, добавил кое-что из того, что во время войны делали оккупационные полиция и наши органы, ну и кое-что лично от себя. Значит, после этого мне оставалось только или повторять вчерашнее, или передать Зорку не знавшему меры Николе, который мог бы ее искалечить или прикончить, но у которого не хватало ума выдумать что-нибудь новое, эффективное. Впрочем, я был уверен, что ни от повторения пыток, ни от Николиных «тантантов» в этой области нельзя было ожидать никаких результатов. Надо было предпринять нечто

новое, что раздавило бы, что размолотило бы это таинственное зерно в Зорке.

— Но что?

Я начал вспоминать, какие методы применяли турки. Но все они оказывались или неэффективными или недопустимыми. Класть Зорке свежесваренные яйца подмышки еще можно было, но ломать ей кости или выкалывать глаза я не смел. Надо было придумать что-нибудь, что сломило бы ее дух! Но тут и я и мои люди были беспомощны, тем более, что мы должны были спешить и не могли подвергнуть Зорку долгосрочному одиночному заключению, с разнообразными пытками, — а это было единственное, что подавало надежду на успех.

Я поспешил в канцелярию и сразу начал совещание с помощниками. Я ожидал, что Никола будет злорадствовать над моей неудачей. Но в нем преобладало чувство беспокойства — может быть, он предвидел, что обламывать Зорку придется теперь ему, а и он тоже по опыту знал, что есть такие случаи, когда силой ничего нельзя добиться.

И как раз Милия ехидно заметил:

«Вот, сколько людей я на ноги поднял — и зря. Несерьезно это у нас получилось.»

Я на него окрысился:

«А кто тебя просил готовить вертел, когда заяц еще в лесу?»

Но они уже привыкли к таким перепалкам и начали настаивать — дабы не уронить мой авторитет в глазах Зорки — что лучше всего мне отойти от непосредственного ведения следствия. Я согласился и поручил проведение пыток Николе, но только после того, как взял с него твердое обещание действовать размеренно, чтобы не искалечить Зорку, и придал ему Милию для контроля и воздействия методом убеждения в промежутках между пытками. У Милии к этому, действительно, был талант. Я уже говорил, что он не

мог видеть пыток, но зато обладал доходчивым народным красноречием.

К тому же я отдал распоряжение вести следствие в комнате, рядом с моей, так что я сквозь двери мог все слышать, а сквозь «шпионку», специально проделанное в них отверстие — и видеть. Я мог нажать на кнопку и вызвать звонком каждого из своих помощников к себе для совета.

И я приходил каждую ночь. И ночь за ночью без перерыва наблюдал за всем, что происходило в соседней комнате. А происходило это семь ночей подряд.

В первую ночь Никола яростно накинулся на Зорку. Весь его мрачный и угрожающий облик ее ошеломил. Она беспомощно вскрикнула и в первый раз начала упрашивать. Но долго это не продолжалось: вскоре она снова обрела свою невидимую силу и очевидно поняла, что Никола хотя и страшнее и сильнее, чем я или кто другой, но его пытки не больнее, чем наши. Ее разум и естество быстро приспособились к новой обстановке. И она, сопротивляясь грубой силе Николы, сама начала вести себя вызывающе, начала его поддразнивать и зло выкрикивать, что все знает, но ничего не скажет.

Потом, в промежутках, когда Милия начал сочувственно и жалостливо ее уговаривать, она расплакалась.

Но тоска по своей молодости, по больной матери, осиротевшему дому и обреченным на смерть братьям не сломила ее дух, как не сломили его и пытки. Казалось, что в ней, кроме крови, плоти, чувства и мыслей, живет какая-то иная личность, на которую не воздействуют ни пытки, ни разумные доводы.

Мы решили действовать бессоницей. Но и из этого ничего не получилось: на четвертые сутки у нее начались галлюцинации. Она жаловалась своему отцу, который давно умер, и плакала о своих несуществующих детях. Пришлось дать ей выспаться.

Ничего не вышло и из угроз Николы вызвать известного пьяницу и бродягу цыгана Сулию, чтобы тот ее изнасиловал. Никола даже привел Сулию ночью и для вида пустил его к ней. Но она лишь безропотно легла и закрыла глаза — очевидно ощущая себя святой мученицей. Никола должен был прогнать Сулию и в злости сказал:

«Она, товарищ начальник, из другого теста, чем все люди. Она бы еще загордилась, если бы Сулия ее изнасиловал!»

Так заколебались и мои помощники.

Милия явно обмяк и впал в безволие. Причитания, которыми он должен был воздействовать на Зорку, были уже с самого начала подозрительно искренними, а тут он стал причитать при мне, что мы наносим зло Зорке, и я вынужден был сделать ему серьезный выговор за примиренчество к классовому врагу.

Никола повел себя иначе, — но только внешне. Озлобленный отпором Зорки, он в конце шестой ночи вломился в мою комнату:

«Разреши, товарищ начальник, прикончить эту суку, разреши потешить сердце!»

Я понимал, что он сделал бы это без труда и с удовольствием. Но это было и первым признаком капитуляции, — он прекрасно понимал, что никто ему этого сделать не позволит. Зная его, я угадал, что и он, будучи сам смелым человеком, почувствовал уважение к Зорке — он про себя всегда уважал мужественного противника.

«Нет, убивать ее мы не имеем права, будем продолжать следствие!» — ответил я резко и коротко.

И мы продолжали.

Никола нехотя пытал ее еще одну ночь, причем так грубо, что я должен был вбежать в комнату и вмешаться. Никола вспыхнул, Милия обрадовался. А она не проявила никакой радости. Она или отупела

или настолько ожесточилась, что все мы были для нее одинаковы, как одинаковы были пытки.

Это было нашим полным поражением.

Никола воспринял его как победу контрреволюции и бесчеловечности. Милия — как подтверждение своей мысли, что и в контрреволюционере иногда бывает что-то человеческое. А я? Этого я и сегодня не смог бы точно объяснить. Я чувствовал то же, что и мои помощники, но ко всему прочему и беспокойство: звезды, глядящие мне в сердце из бесконечности...

Я знал, что это были мысли о Боге! Впрочем, скорее не о Боге, а о чуде и о дьяволе: в человеческом разуме Бог от них не отделен. Надо было, однако, действовать — и я захлопнул в себе дверцу перед этим безумным суеверием, наследием прошлого. Это было не так уж трудно, в моих мыслях не было ясности — кто там, а кто — нечистая сила, мы или Зорка.

5

Потерпевши поражение с пытками, мы не отказались от поисков Зоркиных братьев и сразу начали действовать обходными маневрами.

Милия получил задание днем и ночью держать под наблюдением пути, перекрестки и улочки при помощи патрулей и секретных наблюдателей, чтобы не дать возможности группе Милютина перейти в другое убежище, — ни птица не должна была перелететь, ни заяц пробежать без нашего ведома.

Никола должен был усиленно допрашивать крестьян и арестовывать сообщников, чтобы вызвать панику и заставить Милютина, забыв про осторожность, выползти из своей берлоги.

А я взял на себя дальнейшую обработку Зорки, но уже без пыток.

Я пришел к убеждению, — с этим согласились и

мои помощники, — что правду из Зорки можно добыть, только играя на ее сестринских чувствах, то есть именно на том, что заставило ее пойти на сотрудничество с врагом и было причиной ее непреклонности. Мы рассуждали так: тот факт, что она должна была поддерживать связь с братьями и зимой, показывал, что связь была им необходима и, наверное, к зимовке они не успели подготовиться как следует. От Иванки мы узнали; что Милорад нуждается в лекарствах, а всей группе — их было пять человек — особенно недостает жиров. Из этого следовало, что Зорка должна была беспокоиться об их дальнейшей судьбе. Надо было посадить к ней кого-нибудь, кто, по ее мнению, мог принять на себя заботы о ее братьях.

И это могла сделать только Иванка.

Никто ее не подозревал. Более того, не предложи мы ей вовремя сотрудничество, она бы тоже, наверняка, поддерживала связь с предателями. Да и Зорка не рассказала ей обо всем только потому, что Милютин запретил ей говорить об этом кому бы то ни было.

Иванка сразу согласилась нам помочь.

Я сказал ей, что мы ее будем для вида допрашивать, арестуем и поместим в одну камеру с Зоркой, — может быть, ей удастся узнать от нее что-либо. Она и на это согласилась, даже охотно — чтобы помочь золовке в трудном положении.

Но она не скрывала своего раздражения по поводу того, что мы подвергли Зорку пыткам и даже упрекнула меня, что это было сделано в нарушение нашей с ней договоренности.

«Ох, не надо было этого, так с бухты-барахты, это может все дело испортить!» — воскликнула она.

Меня удивила непринужденность и свобода, с которой она обсуждала мои действия. Но я вспомнил, что она, исполняя почти беспрекословно все получаемые от меня задания, в то же время всегда открыто высказывала свое мнение по их поводу. Она нашу

работу считает своей, подумал я, и подавленно ответил:

«Может быть, мы допустили ошибку, но мы предполагали...»

«Нет, надо было меня спросить, — вы знаете, что я была против. Можно было придумать что-нибудь гораздо более подходящее. Но сейчас уже все равно, что было, то было! Сейчас самое подходящее — довериться мне!»

Ничего другого мне и не оставалось, и я вдруг почувствовал себя в зависимости и даже как бы в подчинении у этой полной и спокойной домохозяйки.

Эта бы далеко пошла, — подумал я, — если бы вовремя включилась в революционное движение. Но тут же мне стало ясно, что пойти по этому пути она не могла, не только потому, что благодаря своему происхождению, жизни и взглядам оказалась вне революционного потока, а потому, что нереволуционной была вся ее природа.

Так что же тобой руководит, что заставляет тебя служить революционной власти, причем в такой области, которая противоречит всему, чем ты жила и о чем думала? — чуть не спросил я ее напрямик. Но сдержался, умудренный делом Зорки, сообразив, что не все для меня должно быть так уж ясно и понятно.

Иванке я доверял. Но перед помощниками надо было проявлять профессиональную бдительность. По этой причине, а также для того, чтобы можно было помочь Иванке советом, мы организовали подслушивание ее разговоров с Зоркой.

Это было сложно и затруднительно, потому что у нас, тем более в провинции, тогда не было никакой техники подслушивания. Днем и ночью мы втроем — я, Никола и Милия, посменно, в одних носках подкрадывались к дверям Зоркиной камеры и прикладывали ухо к дыре, просверленной возле них, и мерзли в бетонном коридоре. Но слышимость была гораздо

лучшей, чем во время испытаний, которые мы проводили еще до ареста Зорки, готовя камеру для таких целей. У меня после двухчасового дежурства создавалось впечатление, что мое ухо растет, проникая сквозь стену и как огромная мягкая раковина, готовая каждое мгновение снова спрятаться, охватывает всю камеру, улавливает каждое дыхание, даже каждую мысль в ней.

Уже в первую же ночь Иванка превратилась в сестру и мать Зорки: утешала, грела, прикладывала примочки из буровской жидкости к больным местам, кормила лучшими кусками.

Однако о том, что нас интересовало, они почти не говорили. Только раз Иванка спросила:

«Знают что-нибудь о них?»

«Да, знают обо всех моих встречах.»

«Следили?»

«Нет. То есть, и следили тоже. Но откуда-то знают и про другое. Знают про лекарства.»

«Про лекарства?»

«Да, про лекарства.»

«Может быть, от того, кто давал тебе лекарства?»

«Может быть. Но знают и про другие вещи.»

«Сильно пытали? Ты чего-нибудь не выдала?»

«Пытали достаточно. Но могло быть и хуже. Ничего я не выдала.»

«Милая моя! Мученица моя!»

Я услышал звук Иванкиных поцелуев. И тихую, печальную мелодию, вроде колыбельной песни.

В ту ночь только это и было.

На следующую ночь тоже почти ничего не изменилось.

На третью ночь я вызвал Иванку как бы на допрос, чтобы с ней переговорить. Мы ей даже растрепали волосы, разорвали платье, легкими ударами набили синяки на руках и на ногах.

Но она нас высмеяла:

«Это все ерунда! Пусть меня Никола съездит по губам, по носу, чтобы вспухло, чтобы пошла кровь!»

«Не умею я так, если не взаправду!» — заартачился Никола.

И бить ее пришлось Милораду, который и не любил и не умел этого.

Но в камеру она отправилась с опухшими губами и окровавленным носом.

На следующую, четвертую, ночь Иванка предложила:

«Мы должны ей сообщить, что нас обеих отпустят — из-за недостатка доказательств. Сначала меня, а потом ее. Объясним, мол, что ее нельзя выпустить, пока не заживут раны. Она, не зная, когда ее отпустят, должна будет мне довериться и сказать, где они находятся, чтобы я им могла помочь.»

Я согласился — предложение было простое и убедительное.

Я намекнул Зорке, что мы, возможно, ее через два-три месяца выпустим, а что Иванку освободим через несколько дней.

Иванка в камере ударилась в слезы: зачем им обоим жизнь и свобода, если у них нет возможности помочь тем, кто им дорог?

Сбитая с толку, озабоченная судьбой братьев Зорка раскрылась перед Иванкой.

Хотя мы и сами почти все слышали, Иванка нам утром рассказала. И добавила со скупой улыбкой:

«Вы там постарайтесь не убить его! Муж он мне, отец троих детей...»

Она никогда не говорила о муже, никогда за него не просила и не требовала вознаграждений за свои услуги. И сейчас она тоже не настаивала — сказала для успокоения совести, а я ей обещал — насколько позволят обстоятельства.

Но и сейчас мы еще не знали точно, где находятся преступники: Зорка поддерживала с ними связь через

их кума на селе, по имени Милойце, которого мы считали своим, и притом верным, человеком.

Уже на следующую ночь мы ворвались в его дом. Без долгих разговоров вывели его на улицу, а дом заблокировали, чтобы никто не вышел.

«Слушай, Милойца, — заговорил я негромко и решительно, пристально глядя в его небольшие крестьянские глаза, неподвижные, блестящие от света автомобильных фар, — ты дважды предатель: предал родину, сотрудничая с бандитами, и предал нашу службу, делая вид, что с нами сотрудничаешь. Сегодня ночью ты можешь спасти голову и свой дом, если честно скажешь, где прячется Милютин с бандой. Чтобы не тянуть — мы все знаем, Зорка тебя выдала! И не сомневайся — спасти себя и свой дом ты можешь только, если их выдашь. Нет ничего другого под своим небесным, что могло бы тебя спасти сегодня ночью!»

У связанного и полуголого на морозе крестьянина дрожала громадная с проседью голова — на худощавом небольшом теле. Но я понимал, что дрожит он не от стужи, а от ужаса.

«Так это ж мои кумовья», — пробормотал он.

«Какие там кумовья и дядья в наше время, когда дело идет о том, кто будет жить, мы или они! Когда брат брату выкалывает глаза, а сын отцу копает яму! Ты знаешь, что я не шучу! Я тебе могу помочь. Но, поверь, сегодня ночью я тебе прострелю мозги и разорю все твоё имущество, если не скажешь, где банда!»

Он начал озиаться и я догадался: неудобно ему при других. Но тут было только двое — Никола, который держал его за руку, почти оторвав его от земли, и Милия.

«Это мои люди, — отрезал я. — Довольно ты врал нам! Не выкручивайся! Лицо ты потерял и выбирай — собачья смерть и разорение или выдача бандитов народному правосудию.»

«Мельник знает точно, мельник Симо! Я только на связи.»

Мы рванули к мельнице, где поток выходил из ущелья.

И тут мы в спешке допустили ошибку.

Мы не стали дожидаться рассвета, а ворвались в мельницу еще ночью.

И пока мы в комнатке устроили очную ставку между Милойцей и мельником, полным, бородатым и седым от мучной пыли, пропитавшей его волосы, кожу и одежду — оба кривошипа вдруг остановились и взрыв ручной гранаты потряс деревянное строение, засыпая нас белой пылью.

Наступившую тишину прорезал крик Милии из-под мельницы:

«Погиб я, товарищи!»

Этот крик как бы послужил командой — рядом началась перестрелка. Я выбежал наружу.

Со всех сторон раздавались выстрелы. Но я вскоре сориентировался: огонь противника раздавался из каменного фундамента, на котором стояло деревянное здание мельницы. Надо было перейти поток и обстрелять мельницу с той стороны.

Туда я направил Николу с двумя охранниками, а сам оттащил уже мертвого Милию и вернулся, чтобы повнимательней разобраться в положении дела.

С трудом уже пробивалась холодная туманная заря. Огонь утих — обе стороны осматривались. Я стал понимать, почему предатели не ушли сразу через речку — там круто спускалась скала и они, намокшие, быстро бы замерзли. У них не было другого пути, как идти вдоль берега или вдоль поросшей лесом горы, под которой стояла мельница. Но пока я размышлял, как разместить десяток наших людей собравшихся вокруг меня, сверху, от реки слышались крики и раздались выстрелы.

Вскоре все разъяснилось.

Пробираясь вдоль реки с тремя предателями, Милютин столкнулся с Николой, который искал брода. Сойдясь в тумане, они схватились врукопашную и попали в реку. Злой, сытый и более молодой Никола голыми руками удавил противника в омуте. Кое-как справились с другими двумя бандитами. Ушел лишь один, раненый, но и его потом нашли по кровавому следу.

А Милорад?

Он даже не выходил из подвала.

Убежище, действительно, было хорошо придумано и сделано. Мельничное колесо и водяные брызги и струя из желоба закрывали вход, прикрытый щитом. Второй вход был устроен в полу комнаты мельника. В убежище было влажно, но небольшой канал уносил нечистоты и давал свежесть.

Милютин вышел через нижний вход, отодвинув щит и остановив кривошип. Затем он метнул гранату, чтобы освободить выход.

А Милорад сдался без боя. Я еле его узнал в заношенной офицерской форме, покрытого лишаями, заросшего бородой и одутловатого от плесени и сырости.

Но мертвого Милютина было узнать нетрудно: он был все таким же, хотя и сильно похудел — от этого еще характернее стала его костистость и строгость выражения.

Мы устроили суд — чтобы подчеркнуть свою окончательную победу.

Нам удалось вытащить Милорада — его не расстреляли. Он получил большой срок. Сообщники и Зорка получили сроки поменьше. Ну, а потом пошли амнистии и все вышли на свободу, — кто раньше, кто позже.

Милорад вернулся к Иванке и детям. А Зорка вышла замуж за служащего и уже нянчит первого сыночка.

Миллорад знает о сотрудничестве с нами Иванки — у нас очень скоро разглашаются и самые строгие тайны. Да и Иванка, наверное, доверилась ему, объяснила, что это было единственной возможностью спасти детей и его.

А я вот — мучаюсь с пенсией, чтобы дать детям образование.

Да, такова эта отвратительная, непобедимая жизнь: она подтачивает все истины и идеалы!.. Остались только я и Зорка неизменными, неисправимыми — я, отчаявшийся в будущем, она — с бесцельным прошлым...

Милован ДЖИЛАС — родился в 1914 году в Черногории. Учился в Белградском университете. В 1937 году стал одним из участников группы Тито. В 1938 году — член Центрального Комитета, а затем член Политбюро. Будучи членом Политбюро и главой кадровой и пропагандной комиссий Центрального Комитета, он считался одним из главных теоретиков партии. В серии статей, напечатанных в югославском партийном органе «Борба», Джилас критически высказывался по адресу существующего в Югославии строя, требовал большей свободы внутри партии, предлагал образование второй политической партии. В январе 1954 года Джилас был смещен со всех постов и исключен из партии. Джилас, лишенный возможности выразить свои взгляды в югославской печати, высказывал их в интервью с иностранными корреспондентами, за что был привлечен к ответственности и приговорен условно на 18 месяцев. За ряд материалов, переданных агентству Франс-Пресс в октябре 1956 г. с острой критикой югославского правительства и советского вмешательства в Венгрии, Джилас был опять предан суду и приговорен к трем годам тюрьмы. За издание на Западе книги «Новый класс» в октябре 1957 года Джилас был снова судим и приговорен к семи годам тюрьмы, в дополнение к трем годам, к которым он был приговорен раньше. В январе 1961 года его досрочно освобождают, однако, через три месяца его снова арестовывают в связи с опубликованием книги «Разговоры со Сталиным». В декабре 1966 года М. Джиласа досрочно освобождают.

М. Джилас — автор широко известных книг: «Новый класс», «Разговоры со Сталиным» и других. В настоящее время живет в Белграде.

Эдвард К о ц б е к

*Вольный перевод со словенского
Василия Бетаки*

ПОНТ

Эвксинский понт. Изгнание... Овидий...
Потеря Рая...
О райских куцах, коих я не видел,
Не вспоминаю:
В тот день, когда себя изгнал гонитель,
В неизвестность канув,
Мне мысль о Рае — золотые нити
Для обезьяны...

А все, кто был в изгнание отправлен,
Живут, как прежде...
Нельзя того, кто временем отравлен
Вернуть к надежде,
Зачем-то строим и зачем-то пашем,
Грызем каменья,
Не зная, для чего страданья наши,
К чему уменье...

Изгнанье обернулось бы свободой —
Да в пору злую
Я угодил, и вот все эти годы
Не существую...
И не понять мне, что само изгнанье
Подобно дыму,
Теперь оно, как смысл существованья
Необходимо...

МОЯ ПАРТИЗАНСКАЯ КЛИЧКА

Это тебе не поможет,
Смерть обойдет стороной.
Ничто тебе не поможет,
Ты предан судьбе иной:
Для тебя — ни пули, ни дерева,
Ни жернова — ничего!
Павел, на жизнь осужденный,
Бойся себя одного!

Это тебе не поможет...
Павел, настанет час,
И алыми углями выжгут
Живое свечение глаз,
Язык твой узлом завяжут,
И не будет вокруг никого.
Живи в диогеновой бочке,
Бойся себя одного!

Это тебе не поможет —
Жизнь твою сохранят.
Ни белый верблюд, ни черный конь
Тебя не доставят в ад.
И даже зловещие грифы
Не тронут зрачка твоего...
Обреченный бесплодной пустыне —
Бойся себя одного!

Не увидишь ты Стену Плача —
Для тебя ее в мире нет!
Золотые Ворота Киева?
И к ним потерялся след...
Кот чужой и зловещий
Пьет молоко матерей,
И жиреет приятель Гамлет,
Забыв о судьбе твоей...
Бойся себя, Павел, бойся себя...

ТЕПЕРЬ

Когда я кричал во всю глотку,
Сказали, что я немой.
Когда я ушел и плюнул —
Сказали, что я хромой,
Писал я черным по белому —
Меня объявили слепым,
И мысли мои переделали,
Как захотелось им,
Назвали конного пешим,
Смешали добро и зло,
И я же еще помешанный!
...Вот как мне повезло!

РУКИ

Так и жил я между собственных рук:
Две руки — как два бандита с двух боков...
Ни одна из них не знала,
Что другая вытворяла!
Ох, сбежал бы я от них — и был таков!
Правой, ловкой и расчетливой, везло.
Левой жизнь была — одна беда.
Та берет, а та — теряет, как на зло...
И не мог я помирить их никогда...

Но однажды я от смерти бежал,
Камни с шумом осыпались из-под ног,
Сквозь терновник продирался,
Лез на скалы, вновь срывался,
И упал я и подняться не мог...

И тогда я руки к небу
простер,

Окровавленные руки в огне,
И пылал над ними звездный
костер,
И шуршали облака в тишине.
Словно храмовый светильник —
изгиб
Двух дрожащих, двух пылающих рук...
И неверие и вера — в виски
Плеском пламени ударили вдруг...

КОЦБЕК Эдвард — словенский поэт, родился в 1904 году. Учился в Берлине и Лионе. Во время второй мировой войны участвовал в антигитлеровском партизанском движении. Был министром культуры в правительстве Тито. В 1952 г. снят со всех политических постов. В настоящее время живет в Любляне.

Вас. Г р о с с м а н

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Глава из второй книги романа

Как нам стало известно в последний момент, именно так назвал автор вторую книгу романа «За правое дело». Принимая во внимание волю покойного писателя, мы продолжаем публикацию глав этой замечательной книги под новым названием.

К сожалению, объем и периодичность «Континента» не позволяют нам напечатать роман полностью. В ближайшее время это сделает одно из западных издательств.

Трагическая история рукописи романа будет рассказана нами в послесловии в конце публикуемых глав.

Редакция

42

В конце лета 1942 года войска кавказской группы Клейста захватили первый советский нефтяной промысел близ Майкопа. Немецкие войска были на Нордкапе и на Крите, в Северной Финляндии и на берегу Ламанша. Народный маршал, солдат на солнце, Эрвин Роммель, стоял в 30 километрах от Александрии. На вершине Эльбруса горные егеря водрузили знамя со свастикой. Майнштейн получил приказ двинуть гигантские пушки и верферы — новую реактивную артиллерию — на цитадель большевизма — Ленинград. Скептик Муссолини разрабатывал план вступления в Каир, тренировался в езде на арабском жеребце.

Солдат на снегу, Диттль, стоял в тех северных широтах, до которых не доходил ни один европейский завоеватель. Париж, Вена, Прага, Брюссель стали провинциальными немецкими городами.

Пришла пора осуществить самые жестокие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы. Лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность, наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться.

Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи, убивающие детей, женщин и стариков, не будут знать удержа. Ведь главный враг фашизма — человек.

Осенью 1942 года имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов.

В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы Гестапо.

Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.

43

Софья Осиповна Левинтон иногда думала о том, что было прежде, — пять курсов Цюрихского университета, летняя поездка в Париж и в Италию, концерты в консерватории и экспедиции в горные районы Центральной Азии, врачебная работа, которую она вела тридцать два года, любимые кушанья, друзья, чья жизнь, с тяжелыми и веселыми днями, сплелась с ее жизнью, привычные телефонные звонки,

привычные словечки: «хош... покедова...», карточные игры, вещи, оставшиеся в ее московской комнате.

Вспоминались сталинградские месяцы — Александра Владимировна, Женя, Сережа, Вера, Маруся. Чем ближе были ей люди, тем дальше, казалось, ушли они от нее.

Как-то перед вечером, в запертом товарном вагоне эшелона, стоявшего на запасных путях какой-то узловой станции, недалеко от Киева, она искала вшей в вороте своей гимнастерки, а рядом две пожилые женщины быстро, негромко говорили по-еврейски. В этот момент она с необычайной ясностью осознала, что это именно с ней, с Сонечкой, Сонькой, Софой, Софьей Осиповной Левинтон, майором медицинской службы, — все это произошло.

Главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы.

— Кто же действительно, по-настоящему — я, я, я? — думала Софья Осиповна: — та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспыльчивая, со шпалами на вороте, или вот эта пархатая, вшивая?

Желание счастья ушло, но появилось множество мечтаний: убить вшей... добраться до щелки и подышать воздухом... помочиться... помыть хотя бы одну ногу... и желание, жившее во всем теле, — пить.

Ее втолкнули в вагон и она, оглянувшись в полутьме, казавшейся ей поначалу тьмой, услышала смех.

— Здесь смеются сумасшедшие? — спросила она.

— Нет, — ответил мужской голос. — Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

— Еще одна еврейка попала в наш несчастный эшелон.

Софья Осиповна, стоя у дверей, жмурясь, чтобы привыкнуть к темноте, отвечала на вопросы.

Сразу же, вместе с плачем, стонами, зловонием Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций...

Софья Осиповна хотела шагнуть внутрь вагона, но не смогла. Она нащупала в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказала:

— Прости, мальчик, я тебя ушибла?

Но мальчик ничего не ответил ей. Софья Осиповна сказала в темноту:

— Мамаша, может быть, вы подвините своего немного молодого человека? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла истерический актерский мужской голос проговорил:

— Надо было дать заранее телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Софья Осиповна раздельно сказала:

— Дурак.

Женщина, чье лицо можно было уже различить в полумраке, сказала:

— Садитесь возле меня, тут масса места.

Софья Осиповна ощутила, что пальцы ее быстро, мелко дрожат.

Это был мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка, и она ощутила, как всё изменилось в этом мире.

В вагоне ехали рабочие из артелей, радиомонтер, студентки педтехникума, преподаватели профшкол, инженер с консервного завода, зоотехник, девушка — ветеринарный врач. Раньше местечко не знало таких профессий. Но ведь Софья Осиповна не изменилась, та же, что когда-то боялась папы и бабушки. И может быть, этот новый мир такой же неизменный? А в общем, не все ли равно, еврейское местечко, новое ли, старое ли, катится под откос, в бездну.

Она услышала, как молодой женский голос сказал:

— Современные немцы — это дикари, они даже не слышали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

— А в итоге дикари нас везут, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне.

Софью Осиповну выспрашивали о положении на фронтах и так как она ничего хорошего не рассказала, ей объяснили, что ее сведения неверные и она поняла, что в телячьем вагоне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

— Неужели вы не знаете, что Гитлеру послан ультиматум немедленно выпустить всех евреев?

Да, да, конечно это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум, оптимизм.

Вскоре интерес к Софье Осиповне прошел и она сделалась путницей, не знающей, куда и зачем везут ее, такой же, как и все остальные. Имя и отчество ее никто не спрашивал, фамилию ее никто не запомнил.

Софья Осиповна даже удивилась, — всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет.

Ее поражало, что в огромном постигшем людей бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Пожилая женщина шепотом говорила ей:

— Посмотрите, докторша, на ту гранд-даму, она сидит у шелки, как будто только ее ребенку нужно дышать кислородом. Пани едет на лиман.

Ночью поезд останавливался два раза и все вслу-

шивались в скрипящие шаги охраны, ловили невнятные русские и немецкие слова.

Ужасно звучал язык Гёте на ночных русских полустанках, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Софья Осиповна страдала вместе со всеми от голода и мечтала о глотке воды. И мечта ее была куцая, робкая, ей представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Она почесывалась быстрым, коротким движением, каким собака вычесывает блох.

Теперь, казалось Софье Осиповне, она поняла различие между жизнью и существованием. Жизнь — кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным, мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетели в решетчатое окошечко. Софья Осиповна оторвала от подола своей рубахи тонкую полосу и придвинулась к стенке вагона и в том месте, где имелась небольшая щель, просунула материю, ждала, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом она втянула лоскут в щель и стала жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам вагона люди тоже стали рвать лоскуты и Софья Осиповна ощутила гордость, — это она изобрела способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Софья Осиповна толкнула ночью, сидел недалеко от нее и следил, как люди запускают тряпки в щели между дверью и полом. В неясном свете она увидела его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет шесть. Софья Осиповна подумала, что за всё время ее пребывания в вагоне с мальчиком этим никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Она протянула ему мокрую тряпку и сказала:

— Возьми-ка, паренек.

Он молчал.

— Бери, бери, — говорила она и он нерешительно протянул руку.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Он тихо ответил:

— Давид.

Соседка, Муся Борисовна, рассказала, что Давид приехал погостить к бабушке из Москвы и война отрезала его от матери. Бабушка погибла в гетто, а родственница Давида, Ревекка Бухман, которая едет с больным мужем, даже не позволяет мальчику сидеть возле себя.

К вечеру Софья Осиповна много наслушалась разговоров, рассказов, споров, сама говорила и спорила. Обращаясь к своим собеседникам, она говорила:

— Бридер иден, вот что я вам скажу.

Многие с надеждой ждали конца дороги, считали, что везут их в лагерь, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут в инвалидные бараки. Все почти беспрерывно говорили об этом. А тайный ужас, немой, молчаливый вой не прекращался в душе.

Софья Осиповна узнала из рассказов, что не только человеческое живет в человеке. Ей рассказали о женщине, которая посадила парализованную сестру в корыто и вытащила ее зимой на улицу, заморозила ее. Ей рассказали, что были матери, которые убивали своих детей, и что в вагоне едет такая женщина, рассказали о людях, подобно крысам, тайно живших месяцами в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать.

Жизнь евреев при фашизме была ужасна, а евреи не были ни святыми, ни злодеями, они были людьми.

Чувство жалости, которое испытывала Софья Осиповна к ним, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида.

Он обычно молчал и сидел неподвижно. Изредка мальчик доставал из кармана мятую спичечную коробку и заглядывал в нее, а потом снова прятал коробку в карман.

Несколько суток Софья Осиповна совершенно не спала, ей не хотелось. И в эту ночь она без сна сидела в зловонном вагоне. «А где сейчас Женя Шапошников?» — вдруг подумала она. Слушала бормотания, вскрикивания и думала, что в спящих несчастных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами уже не передать. Как сохранить, как запомнить это, — если человек останется жить на земле и захочет узнать?

44

Издали это могло бы напоминать деловитую мирную работу: четверо копают, четверо валят дубовые стволы и распиливают их на поленья длиной в человеческое тело, двое разбивают их топорами и клиньями, двое подносят с дороги сухие старые доски, растопку, банки с бензином, четверо готовят место для костра, роют канаву для поддувала, — надо сообразить, откуда ветер.

Сразу исчезает запах лесной прели и охрана смеется, ругается, зажимает носы, шарфюрер плюет, отходит на опушку. Бреннеры бросают лопаты, берутся за крючья, завязывают тряпками рты и носы... Здравствуйте, дедушка, опять вам пришлось посмотреть на солнце: какой вы тяжелый... Убитая мама и трое детей — два мальчика, один уже школьник, а девочка тридцать девятого года рождения, был рахит, — ничего, теперь его нет... Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет... «Сколько фигур?» — кричит с опушки шарфюрер. «Девятнадцать» и тихо про себя: «убитых людей». Все ругаются — полдня

прошло. Зато на прошлой неделе раскопали могилу — двести женщин, все молодые. Когда сняли верхний слой земли, над могилой встал серый пар и охрана смеялась: «Горячие бабы!» Поверх канавок, по которым тянет воздух, кладут сухие дрова, потом дубовые поленья, они дают богатый жаркий уголь, потом убитые женщины, потом дрова, потом убитые мужчины, снова дрова, потом бесхозные куски тел, потом банку бензина, потом в середку авиационную зажигательную бомбу, потом шарфюрер командует и охрана, заранее улыбается — бреннеры поют хором. Костер горит! Потом золу кидают в яму, — четыре на два; все поняли; они выполнили задание: восемьдесят девять деревень, на них восемнадцать местечек, на них четыре поселка, на них два районных городка, на них три совхоза — два зерновых, один молочный, — итого сто шестнадцать населенных пунктов, сто шестнадцать холмов раскопали бреннеры... Пока бухгалтер Розенберг копает яму для себя и других бреннеров, он подсчитывает: последняя неделя шестьсот восемьдесят три, перед этим три декады в сумме дали четыре тысячи восемьсот двадцать шесть сожженных человеческих тел, общий итог пять тысяч пятьсот девять сожженных тел. Он считает, считает, и от этого незаметно идет время, он выводит среднее число фигур, нет, не фигур, число человеческих тел, — пять тысяч шестьсот девять делится на число могил — сто шестнадцать, получается сорок восемь и тридцать пять сотых человеческих тел в братской могиле; округляя, это будет сорок восемь человеческих тел в могиле. Если учесть, что работало двадцать бреннеров в течение тридцати семи дней, то на одного бреннера приходится... «Стройся», — кричит старший охранник и шарфюрер Эльф зычно командует: «Ин ди грубе марш!» Но он не хочет в могилу. Он бежит, падает, снова бежит, он бежит лениво, бухгалтер не умеет бегать, но его не смогли убить, и он лежит в лесу на

траве, в тишине и не думает о небе над головой, ни о Златочке, которую убили беременной на шестом месяце, он лежит и считает то, что не успел досчитать в яме: двадцать бреннеров, тридцать семь дней, итого бреннеро-дней...— это раз; два— надо учесть, сколько кубов дров на человека; три — надо учесть, сколько часов горения в среднем на одну фигуру, сколько...

Через неделю его поймали полицейские и отвели в гетто.

И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, делит, множит. Годовой отчет! Он должен его сдать Бухману, главному бухгалтеру Госбанка. И вдруг ночью, во сне, взрывая коросту, покрывшую его мозг и сердце, хлынули обжигающие слезы.

«Злата! Злата!» — зовет он.

45

Окно ее комнаты выходило на проволочную ограду гетто. Ночью библиотечарша Муся Борисовна проснулась, приподняла край занавески и увидела, как двое солдат тащили пулемет, на его полированном теле поблескивали синие пятна лунного света, очки шедшего впереди офицера поблескивали. Она слышала негромкий гул моторов. Машины приближались к гетто с потушенными фарами и тяжелая ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес, — они, словно божества, плыли в облаках.

В эти тихие лунные минуты, когда подразделения СС и СД, отряды украинских полицейских, подсобные части, автомобильная колонна резерва Управления Имперской Безопасности подошли к воротам спящего гетто, женщина измерила рок двадцатого века.

Лунный свет, мерное величавое движение вооруженных подразделений, черные могучие грузовики,

заячье постукивание ходиков на стене, замершие на стуле кофточка, лифчик, чулки, теплый запах жилья, все несоединимое соединилось.

46

Дочь арестованного и погибшего в 1937 году старого доктора Карасика, Наташа, в вагоне время от времени пробовала петь. Иногда она напевала и ночью, но люди не сердились на нее.

Она была застенчива, всегда говорила еле слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только к близким родственникам, и удивлялась смелости девушек, танцевавших на вечерах.

В час отбора людей, подлежащих уничтожению, ее не зачислили в кучку ремесленников и врачей, которым сохранили их полезную жизнь, — существование вянущей, поседевшей девушки было не нужно.

Полицейский подтолкнул ее к базарному пыльному холмику, на котором стояли три пьяных человека, одного из них, ныне начальника полиции, она знала до войны, — он был комендантом какого-то железнодорожного склада. Она даже не поняла, что эти трое творят приговор жизни и смерти народу; полицейский пихнул ее в гудящую тысячную толпу признанных бесполезными детей, женщин, мужчин.

Потом они шли к аэродрому под последним для них августовским зноем, мимо пыльных, придорожных яблонь, в последний раз пронзительно кричали, рвали на себе одежду, молились. Наташа шла молча.

Никогда она не думала, что кровь бывает такой поразительно красной под солнцем. Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, — из ямы слышалось журчанье крови, — она бежала по белым телам, как по белым камням.

Потом было самое нестрашное, — негромкий

треск автомата и палач с простым, незлобивым, утомленным работой лицом, терпеливо ожидавший, пока она робко подойдет к нему поближе, станет на край журчащей ямы.

Ночью она, выжав намокшую рубашку, вернулась в город, — мертвые не выходят из могилы, значит, она была жива.

И вот, когда Наташа пробиралась дворами в гетто, она увидела народное гулянье на площади — смешанный духовой и струнный оркестр играл печальную и мечтательную мелодию всегда нравившегося ей вальса, и при тусклой луне и тусклых фонарях по пыльной площади кружились пары — девушки, солдаты, шарканье ног смешивалось с музыкой. Увядшей девушке в этот миг стало на душе радостно, уверенно — и она все пела и пела потихоньку в предчувствии ждущего ее счастья, а иногда, если никто не видел, даже пробовала танцевать вальс.

47

Все, что было после начала войны, Давид помнил плохо. Но как-то ночью в вагоне в мозгу мальчика возникло недавно пережитое.

В темноте бабушка ведет его к Бухманам. Небо в мелких звездах, а край неба светлый, зеленоватолимонный. Листья лопуха касаются щеки, словно чьи-то холодные влажные ладони.

На чердаке, в убежище, за фальшивой кирпичной стеной, сидят люди. Черные листы кровельного железа днем раскаляются. Иногда чердачное убежище заполняется гарным духом. Гетто горит. Днем в убежище все лежат неподвижно. Монотонно плачет Светланочка, дочь Бухманов. У Бухмана больное сердце, днем его все считают мертвым. А ночью он ест и ссорится с женой.

И вдруг лай собаки. Непрусские голоса: «Asta! Asta! Wo sind die Juden?» и над головой нарастает громохание, немцы вылезли через слуховое окно на крышу.

Потом гремевший в черном жестяном небе немецкий кованый гром затих. Под стеной слышны лукавые, несильные удары — кто-то выстукивал стены.

В убежище наступила тишина, страстная тишина, с напряжившимися мышцами плеч и шеи, с выпученными от напряжения глазами, с оскаленными ртами.

Маленькая Светлана под вкрадчивое постукивание по стене затащила свою жалобу без слов. Плач девочки вдруг, внезапно, оборвался. Давид оглянулся в ее сторону и встретил бешеные глаза матери Светланы, Ревекки Бухман.

После этого раз или два на короткий миг ему представились эти глаза и откинутаая, словно у матерчатой куклы, голова девочки.

А вот то, что было до войны, помнилось подробно, вспоминалось часто. В вагоне он, словно старик, жил прошлым, лелеял и любил его.

48

Двенадцатого декабря, в день рождения Давида, мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял serene козлик, рядом тьма леса казалась особо злобной. Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Давид. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка полянку, но он понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

— Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, — он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из книги Джунглей. Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Давид пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Давида бывала высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал на песчаном морском берегу и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик, волны щекотали его тело. Вдруг на горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она всё нарастала, стремительно приближалась. Давид лежал на теплом песочке, черно-синяя гора воды надвигалась на него. Это было страшней волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу. Он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под крабовых консервов чашку молока, об этом знала худая приبلудшая кошка с тонким, длинным хвостом, с бледным носом и заплаканными глазами. Однажды соседка сказала, что на рассвете приезжали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава Богу, наконец, увезли в институт.

— Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно немыслимо, забудь ты об этой несчастной кошке, — говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. — Как ты будешь жить на свете. Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела его отдать в детский летний лагерь, он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

— Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь!

Когда мать везла его к бабушке на Украину, он в

поезде почти ничего не ел, — ему казалось стыдно кушать крутое яйцо или взять из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Давидом пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

— Задушишь, глупенький. Здесь столько клубники дешевой, а через два месяца я приеду за тобой.

Возле дома бабушки Розы была остановка автобуса, ходившего из города на кожевенный завод. По-украински остановка называлась — зупынка.

Покойный дедушка был бундовцем, знаменитым человеком, он когда-то жил в Париже. Бабушку за это уважали и часто выгоняли со службы.

Из открытых окон слышалось радио: «Увага, увага, говорять Кыв...»

Днем улица была пустынна, она оживлялась, когда шли по ней студентки и студенты кожевенного техникума, кричали друг другу через улицу: «Белла, ты сдала? Яшка, приходи готовить марксизм!»

К вечеру возвращались домой рабочие кожзавода, продавцы, монтер из городского радиоцентра Сорока. Бабушка работала в местном поликлиники.

Давид в отсутствие бабушки не скучал.

Возле дома, в старом, никому не принадлежащем фруктовом саду, среди дряхлых бесплодных яблонь, паслась пожилая коза, бродили меченные краской куры, всплывали по травинкам немые муравьи. Шумно, уверенно вели себя в саду горожане — вороны, воробьи и как робкие деревенские дивчины чувствовали себя залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал.

Он слышал много новых слов: глетчик... дикт... калюжа... ряженка... ряска... пужало... лядаче... кошеня... В этих словах он узнавал отзвуки и отражения родной ему русской речи. Он слышал еврейскую речь

и был поражен, когда мама и бабушка заговорили при нем по-еврейски. Он никогда не слышал, чтобы мать говорила на языке, непонятном ему.

Бабушка привела Давида в гости к своей племяннице, толстой Ревекке Бухман. В комнату, поразившую Давида обилием плетеных белых занавесок, вошел главный бухгалтер Госбанка Эдуард Исаакович Бухман, одетый в гимнастерку и в сапоги.

— Хаим, — сказала Ревекка, — вот наш московский гость, сын Раи, — и тут же прибавила: — Ну, поздоровайся с дядей Эдуардом.

Давид спросил главного бухгалтера:

— Дядя Эдуард, почему тетя Ревекка вас называет Хаим?

— О, вот это вопрос, — сказал Эдуард Исаакович. — Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы Эдуарды?

Потом заскреблась кошка и когда наконец ей удалось когтями распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с озабоченными глазами, сидевшую на горшке.

В воскресенье Давид пошел с бабушкой на базар. По дороге шли старухи в черных платках и заспанные, угрюмые железнодорожные проводницы, надменные жены районных руководителей с синими и красными сумками, шли деревенские женщины в сапогах-чоботах.

Еврейские нищие кричали сердитыми грубыми голосами — казалось, им подавали милостыню не из жалости, а от страха. А по булыжной мостовой ехали колхозные грузовики-полупотрочки с мешками картошки и отрубей, с плетеными клетками, в которых сидели куры, вскрикивавшие на ухабах, как старые болезненные еврейки.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд. Давид увидел, как с подводы стаскивали тело убитого теленка с полуоткрытым блед-

ным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой, и Давид шел рядом и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Давид вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки — интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки — мещане и торгаши. Наверное потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке и бабушка заговорила с ним по-еврейски. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудыхтнула, потом старик сделал что-то очень быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо — она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы, — бежало одно безголовое куриное туловище, — старичок убил ее. Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью мальчику казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывался к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, не по книжке с картинкой, а в самом деле, с невероятной очевидностью.

Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, — она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя спрятаться.

Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которая доступна лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

От стульев с просиженными сиденьями, на которые были положены фанерные дощечки, от толстого платяного шкафа шел спокойный, добрый запах, такой же, как от бабушкиных волос, платья. Теплая, обманно спокойная ночь стояла вокруг.

49

В это лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных в букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня, и сколько веселой насмешливости в его улыбке и побрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, и он влез по шершавому стволу, и дотянулся до ягоды, сорвал ее. Он подошел к теленку, привязанному на пустыре, и протянул ему кусочек сахара, — окаменев от счастья, увидел милые глаза огромного младенца.

Рыжий Пынчик подошел к Давиду и, ослепительно картавя, предложил:

— Давай дерррруться!

Евреи и украинцы в бабушкином дворе походили друг на друга. Старуха Партынская заходила к бабушке и протяжно говорила:

— Чи вы чули, Роза Нусиновна, Соня едет в Киев, опять помирилась с мужем.

Бабушка, всплескивая руками, смеясь, отвечала:

— Ну, вы бачили комедию.

Этот мир казался Давиду милей, лучше, чем улица Кирова, где в асфальтированном колодце гуляла с пуделем завитая, раскрашенная старуха по фамилии Драко-Дракон, где возле парадного по утрам стоял автомобиль ЗИС-101, где соседка в пенсне, с папирсой

в крашенных губах, с бешенством шептала над коммунальной газовой плитой: «Троцкистка, ты опять сдвинула с камфорки мое кофе».

Мама его вела ночью с вокзала. Они прошли по освещенной луной булыжной улице мимо белого костела, где в нише стоял худенький, ростом с двенадцатилетнего мальчика, склоненный в терновом венце, Иисус Христос, мимо педтехникума, где когда-то училась мама.

Через несколько дней, в пятницу вечером, Давид увидел, как старики шли в синагогу в золотистой пыли, поднятой на пустыре босыми футболистами.

Пронзительная прелесть родилась из этого соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных журавлей и ветхих узоров на бело-черных молитвенных одеждах, кружащих голову бездонной библейской стариной. И ту же рядом «Кобзарь», Пушкин и Толстой, учебники физики. «Детская болезнь левизны в коммунизме», приехавшие с гражданской войны сыновья сапожников и портных, тут же рядом инструктора райкомов, склочники и трибуны из райпрофсоветов, водители грузовиков, агенты уголовного розыска, лекторы по марксизму.

Приехав к бабушке, Давид узнал, что мама его несчастна. Первой сказала ему об этом толстая, с такими красными щеками, словно ей всегда стыдно, тетя Рахиль:

— Бросить такую чудную женщину, как твоё мать, чтоб вин уже не дождал.

А через день Давид уже знал, что папа его ушел к русской женщине, которая старше его на восемь лет, что он зарабатывает в филармонии две с половиной тысячи в месяц, что мама отказалась от алиментов и живет только на то, что сама зарабатывает — триста десять рублей в месяц.

Давид однажды показал бабушке кокон, хранившийся в спичечной коробке.

Но бабушка сказала:

— Фе, зачем тебе эта гадость, выкинь ее скоренько.

Два раза Давид ходил с мальчиками на товарную станцию, смотрел, как грузят в вагоны быков, баранов, свиней. Он слышал, как бык громко замычал, то ли жаловался, то ли просил жалости. Душа мальчика наполнилась ужасом, а мимо вагонов шли железнодорожные рабочие в оборванных замасленных куртках и не повернули утомленных, худых лиц в сторону кричащего быка.

Через неделю после приезда Давида, бабушкина соседка, Дебора, жена рабочего-слесаря с завода сельскохозяйственных машин Лазаря Янкелевича, родила первенца. В прошлом году Дебора поехала гостить к сестре в Колыму и ее во время грозы ударило молнией; ее откачивали, засыпали землей и она два часа лежала, как неживая, а этим летом родила ребенка. Пятнадцать лет она не имела детей. Об этом бабушка рассказала Давиду, добавила:

— Так говорят люди, но ей, кроме того, делали в прошлом году операцию.

И вот бабушка с Давидом зашли к соседям.

— Ну, Лузя, ну, Деба, — сказала бабушка, поглядев на двуногого зверька, лежавшего в бельевой корзине. Она произнесла эти слова каким-то грозным голосом, точно предупреждая, чтобы отец и мать никогда не относились легкомысленно к случившемуся чуду.

В маленьком доме у железной дороги жила старуха Соркина с двумя сыновьями, глухонемыми парикмахерами. Их боялись все соседи, и старая Партыньская рассказывала Давиду:

— Воны тихи, тихи, доки не напьются. А як выпьют — кыдаются друг на друга, пидхвятьт ножи и кричать, верещать як кони!

Как-то бабушка послала с Давидом библиотекаря-

ше Мусе Борисовне баночку сметаны... Комнатка у нее была крошечная. На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, на ней стояли маленькие книжки, а над кроватью висела маленькая фотография. На фотографии была снята мама с Давидом, завернутым в пеленочку. Когда Давид посмотрел на фотографию, Муся Борисовна покраснела и сказала:

— Мы с твоей мамой сидели на одной парте.

Он прочел ей вслух басню про стрекозу и муравья, а она прочитала ему тихим голосом начало стихотворения: «Плакала Саша, как лес вырубали...»

Утром двор гудел: у Соломона Слепого ночью украли шубу, зашитую на лето и пересыпанную нафталином.

Когда бабушка узнала о пропаже шубы у Слепого, она сказала:

— Слава Богу, хоть чем-нибудь этого разбойника наказать.

Давид узнал, что Слепой был доносчиком, и когда происходило изъятие валюты и золотых пятерок, он выдал много людей. Из тех, кого он выдал, двое были расстреляны, а один умер в тюремной больнице.

Ужасные ночные шорохи, невинная кровь и пение птиц, все соединилось в кипящую обжигающую кашу. Понять ее Давид смог бы через много десятков лет, но жгучую прелесть и ужас ее он день и ночь ощущал своим маленьким сердцем.

«По поводу получения Нобелевской Премии Мира выражаем Вам наше восхищение и солидарность. Ваша непреклонная борьба за права человека служит для нас ободрением и примером. Ваше отношение к Польше позволяет нам верить в лучшее будущее наших народов».

*Польские друзья:
Варвара Торуньчик, Северин Блюмштейн,
Яцек Куропь, Ян Литинский, Адам Михник.
Варшава*

* * *

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ АКТ

Революционеры всех стран должны по достоинству оценить большое значение декларации, оглашенной в годовщину начала Второй мировой войны на страницах «Культуры» и «Континента» группой русских интеллектуалов.

В этом трагическом месяце 36 лет назад два тоталитарных режима — гитлеровский и сталинский — совершили одно из позорнейших преступлений нашей эпохи, а именно — последний военный раздел польского государства. В декларации признается и прокламируется — без уклонений и умолчаний — полная ответственность за этот акт, а также и за то, что последовало позднее — от катынских убийств до предательства варшавского восстания.

В декларации, выражающей настроения объединенных вокруг «Континента» интеллектуалов, слышится духовный отзвук Циммервальда, не окончательно удушенного советским социал-патриотизмом.

Игнацио Силоне

Россия и современность

По следам русской революции

Вячеслав Чорновил и Борис Пэнсон

ДИАЛОГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Могу подтвердить

В Мордовии, в тех же примерно местах, что здесь описываются и чьи собственные имена звучат уже нарицательно, мрачной пародией на систему тюремной расправы (Потьма — пот и тьма, Явас — я вас! и сама замордованная Мордовия), мне довелось провести, сравнительно недавно, пять с лишним лет. И если этот говорящий сам за себя своей правдивостью опыт-протокол еще нуждается в доказательствах, я, в качестве очевидца, могу удостоверить предлагаемое свидетельство Чорновила, Пэнсона и других участников-летописцев современного лагерного режима и быта. Им, этим людям, отказано в праве даже называться политзаключенными; они — на языке власти — «особо опасные государственные преступники», хотя в эту категорию в большинстве попадают лица, преступление которых сводится к высказыванию независимых взглядов и мыслей. Содержание «особо опасных» арестантов, и без того жестокое, из года в год, со дня на день ухудшается. Власть мстит неугодным и мстит тем основательнее, чем, казалось бы, по естественным человеческим нормам, сильнее должен расти и разгораться стыд у нее за все эти злосчастные заповедники. Причем многое из новаций начальства (организация более суровых и менее доступных стороннему глазу Пермских лагерей, разбивка лагеря на разрозненные «микрзоны», препятствия в переписке, в свиданиях с родными и т.д.) направлено как раз на то, чтобы не доходила до нас информация, как мучаются, как

живут, как умирают и протестуют люди за решеткой, за проволокой. И тем круче возрастает общественная, историческая и просто человеческая значимость этих документов.

В материалах, присланных сегодня из Мордовского лагеря, особенно хочется обратить внимание читателей на действительную, а не вымышленную «дружбу народов Советского Союза», которая там, в лагере, налицо. И еще стоит задуматься над услугами бывших нацистов и немецких полицейских, осужденных за массовые убийства, за так называемые преступления против человечности, к которым охотно и хладнокровно прибегает нынешняя советская лагерная администрация. Как выразился один лагерный начальник: «Мне эти люди (имелись в виду полицейские) ближе и понятнее. Они, изменяя родине, жизнь свою спасали, шкуру. А этим, идейным, чего им надо?!...»

Андрей Синявский

Дорогой друг!

Уже скоро год, как писал я тебе о нашей строго-режимной жизни. За это время здесь произошло немало разных событий, таких, какие только и возможны в однообразии нашего существования: унижения, наказания, протесты, голодовки, печальная радость встреч со «свежими силами» и радостная печаль расставания с уходящими на свободу друзьями, живительный бальзам известий со свободного мира, вселяющих надежду...

Но все время преследует мысль: удастся ли мне, описывая будни лагерной жизни, передать тот специфический микроклимат неволи, который давит узника ежедневно, ежечасно, даже в относительно спокойные периоды, а, может быть, в такие периоды угнетает еще больше. Поэтому решил писать это письмо со своим новым соузником — Вячеславом Чорновилом, политзаключенным с Украины. Может, его журналистский и лагерный опыт поможет хоть в какой-то мере передать непередаваемое.

Его судьба — типичная судьба «крамольного» украинского интеллигента, однако попрошу Вячеслава самого представиться тебе.

ЧОРНОВИЛ:

Мне 37 лет. В 1960 году окончил Киевский университет. Потом 6 лет работал в Киеве и во Львове в печати, на радио и в телевидении, некоторое время на комсомольской работе. Выступал также как литературный критик, завершал кандидатскую диссертацию по истории украинской литературы. Но с 1965 года попал в сферу «интересов» органов КГБ. Связано это с оживлением в начале 60-ых годов украинской литературно-общественной жизни и с моим участием в ряде оппозиционных выступлений, особенно в кампании по поводу первой волны политических арестов на Украине в 1965 году. На материале этих арестов и судов я подготовил два сборника документов: «Правосудие или рецидивы террора» (1966 г.) и «Горе от ума» (1967 г.). В 1966 году был окончательно изгнан из журналистской работы и вообще из печати. Периоды безработицы чередовались со случайными занятиями: в метеорологической экспедиции, в книжной рекламе, в обществе охраны природы, землекопом, весовщиком на железнодорожной станции и т. д.

В 1967 году впервые арестован и осужден на 1,5 года за составление названных выше сборников. В январе 1972 года стал жертвой второй облавы КГБ на украинскую интеллигенцию. Обвинен за написание критических замечаний на инспирированную кагебистами брошюру «Что и как отстаивает Иван Дзюба», задачей которой было убедить украинскую интеллигенцию в идеальном разрешении в СССР национального вопроса и дискредитировать выступающих против шовинизма.

В обвинение включены также мои выступления в защиту жертв репрессий (В. Мороза, Н. Строкатой и

других) и наличие у меня литературных произведений ряда авторов, в основном стихотворений.

Кроме того, только на основании субъективных подозрений кагебисты попытались приписать мне участие в издании нелегального журнала «Украинский вестник», выходившего в 1970—1972 годах. (Хваленые «чекисты» скандально провалились при попытке что-либо узнать об этом журнале.) В ходе следствия, длившегося 14 месяцев, неоднократно прибегали к использованию камерных провокаторов, к подлогу, шантажу и прямому психическому террору, в частности, для давления на меня спекулируя судьбой моих родных. Человеку из демократического общества вряд ли возможно представить себе то, что происходило во Львове 12 апреля 1973 года. Пустой зал суда, куда меня доставили украдкой через черный ход под усиленной охраной; отсутствие адвоката; скучающий судья, механически отклоняющий одно за другим мои ходатайства (о слушании дела открыто и допуске в суд представителей печати, о вызове необходимых свидетелей, о приобщении нужных документов и т. п.); какой-то высушенный, пахнущий нафталином сталинских времен прокурор Руденко (кстати, брат генерального прокурора СССР), который, не считаясь с материалами дела и показаниями немногих свидетелей, повторяет нелепости кагебистского обвинения и требует максимального наказания, допускаемого статьей кодекса; наконец, приговор, вычеркивающий из жизни 9 лет.

Только спустя 19 месяцев после ареста я оказался в лагере — в поселке Озерном (ЖХ 385 — 17 «А»). Формально лагеря для политзаключенных подчинены МВД, но фактически нашей судьбой и тут распоряжается КГБ при помощи прикрепленных к лагерям своих уполномоченных.

Так, пытаясь удержать в секрете пикантные обстоятельства «следствия» и «суда» по моему делу,

кагебисты дали указание осенью 1973 года из-под ворот лагеря прогнать жену, а через две недели и сестру, приехавших на свидание со мной за три тысячи километров. Только ценой почти месячной голодовки (декабрь 1973 года — январь 1974 года) мне удалось добиться свидания с матерью и сестрой (с женой свидания так и не дали). Также по кагебистской указке меня подвергали постоянной травле: не говоря о более мелких наказаниях, менее чем за год пребывания в 17-й зоне меня наградили сорока тремя сутками ШИЗО и, наконец, отправили на полгода в ПКТ. Как это делалось, я упомяну дальше, когда мы будем говорить о том, как расправляются в лагерях с неугодными лицами.

ПЭНСОН:

Думаю, нужно будет упомянуть и о той расправе, которой подвергли Вячеслава в феврале 1975 года перед переброской к нам.

Но будем последовательны. Мое предыдущее письмо кончалось событиями в 19-й зоне («Лесной») в начале 1974 года. Потом в этой зоне наступили какие-то тусклые «бессобытийные» недели. Поэтому пропущу их и начну с радостного для меня и всех еврейских пленников события. 15 июня 1974 года из ворот лагеря в Потье навстречу свободе и Родине вышел Анатолий Гольдфельд. Вероятно, стоит вообще вкратце остановиться на том, как обставлено здесь освобождение политзаключенных. Опасаясь утечки из лагерей свежей информации, особенно письменных заявлений, КГБ ввело сложную систему освобождения. Многих за несколько недель до освобождения внезапно выбрасывают на этап. Их увозят или в тюрьмы по месту жительства и освобождают оттуда, или перебрасывают на другие зоны, иногда в больницу. Вся одежда, которую зэк носил в зоне, отбирается, взамен выдается новая зэковская униформа. Личные вещи тща-

тельно проверяются. Все самодельные и подозрительные вещи, в том числе чемоданы, разламываются на куски (вдруг там запрятаны записи, которых КГБ боится не меньше бомб). Если же освобождающегося не увозят заранее на дальний этап, его все равно за несколько дней до конца срока отправляют (обыскав и переодев) на пересыльный пункт, существующий на станции Потьма при бытовой зоне ЖК 385 — 18, через который проходят все поступающие в Мордовию и все убывающие отсюда политзаключенные.

Спустя два дня после освобождения Гольдфельда, 17 июня, на 19-ой зоне началась голодовка. Первым объявил ее Кронид Любарский, и сразу же, дабы не показывал «дурной пример», был изолирован в камеру ШИЗО (обычно, в соответствии с какой-то негласной инструкцией, это делается на четвертые сутки голодовки, а до изоляции голодающий должен три дня работать и выполнять норму, иначе будет наказан).

Голодовка была объявлена в связи с тем положением, в каком находится наша переписка с родственниками и друзьями — вопрос для всех нас очень болезненный. По этому поводу мы не раз обращались с заявлениями и жалобами. Например, незадолго до голодовки я отправил следующее заявление.

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНО-РЕЖИМНОГО ОТДЕЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ЖХ 385 С М А Г И Н У

В последнее время особенно участились случаи пропажи почтово-телеграфных отправлений, как моих лично, так и адресованных мне. Только за последние три месяца я не получил несколько писем и телеграмм, отправленных мне матерью, и несколько писем и телеграмм, отправленных мне родственниками и друзьями, проживающими в СССР и за рубежом.

Сейчас я не перечисляю всю корреспонденцию, направленную мне и пропавшую бесследно. За годы моего пребывания в ЖХ 385 ее набралось столько, что, чтобы все перечислить, потребуется исписать не одну страницу настоящего заявления. Если возникнет в этом необходимость, я и мои корреспонденты в состоянии предоставить по этому вопросу исчерпывающую информацию. Думаю, что Вы и без того располагаете возможностью знать о всех почтовых отправлениях, не дошедших до меня. Совершенно очевидно, что подобное положение противоречит закону. Мне известно, что недоставка корреспонденции в большинстве случаев происходит не по вине почты, и поэтому вся ответственность за это беззаконие полностью ложится на администрацию ЖХ 385.

Я полагаю, что Вы облечены достаточными полномочиями, чтобы привести практику доставки корреспонденции в соответствие с законодательными нормами. Я требую, в частности, получения всех недоставленных мне ранее почтовых отправлений. Если это не произойдет в ближайшее время, то, естественно, я буду вынужден прибегнуть к крайним мерам, имеющимся в распоряжении заключенного.

Б.Пэнсон.

30 мая 1975 года.

Однако ни наши жалобы, ни беседы с начальством положения не изменили. Время от времени нам объявляли о конфискации того или иного поступившего письма, не называя при этом ни отправителя, ни причину конфискации. «На основании приказа 20 МВД, 629^а» — это все, чем мы можем довольствоваться. В большинстве же случаев наши письма (как наши, так и адресованные нам) изымают тайно, без каких-либо объявлений, то есть попросту воруют. В конце концов наше терпение лопнуло.

ЧОРНОВИЛ:

Интересные события развернулись в ПКТ и ШИЗО после изоляции туда голодающего Любарского. Кроме Кронида, нас в этой душегубке оказалось четверо. В камере ШИЗО очередные 14 суток отсиживал я, в одной из камер ПКТ завершал шестимесячный срок украинский поэт Василь Стус, репрессированный в январе 1972 года, в другой камере ПКТ сидел Зорян Попадюк из Львова, получивший в 1973 году 7 лет лагерей и 5 лет ссылки за украинский Самиздат и антишовинистские листовки, и пожилой рабочий из Волгограда Петр Сартаков, осужденный на 7 лет за то, что в 1972 году на американской промышленной выставке в Волгограде пытался передать американцам воззвание декларативного характера (об отсутствии в СССР демократии, о необходимости в связи с этим вмешательства США и других нетоталитарных стран и тому подобное).

Узнав от Любарского о причине начатой им голодовки, все мы в нее включились. Стус и Попадюк, кроме вопроса о переписке, выдвинули требование прекратить издевательство надо мной. Такое же требование заявил в дополнительном заявлении Любарский. Речь шла о том, что меня вторично, с перерывом всего в шесть дней, водворили в ШИЗО на 14 суток без вывода на работу, то есть на голодное содержание. Такие случаи крайне редки. Обычно между двумя турами карцера дается какой-то более длительный срок, так, чтобы политзаключенный мог прийти в относительную норму. В своем заявлении о голодовке я указывал, что в первом полугодии 1974 года из 12 посланных родным заказных писем пропало 6, хотя все письма прошли лагерную цензуру и их отправка была удостоверена почтовыми квитанциями. Такие же примеры привели Стус и Попадюк.

ПЭНСОН:

Таким образом, события приняли нежелательный для администрации и КГБ оборот, тем более что о голодовке стало известно во внешнем мире. 20 июня в зоне появились сотрудники КГБ, голодовка, однако, шла своим чередом. Утром в этот день я подал заявление, в котором указал, что никакие меры по моему ранее поданному заявлению о переписке не принимаются — и это вынуждает меня объявить голодовку. В обед меня вызвали в штаб, в «кабинет» хозяина. Оказалось, со мной желает познакомиться подполковник (сейчас уже полковник) Дротенко, начальник отдела КГБ в Явасе (этот пост он занял незадолго до описываемых событий).

— Ну-с, Борис Соломонович, как поживаете? Как самочувствие? Как вас кормят? Впрочем, тут не курорт. Вы что ж, решили вслед за Любарским попроститься? Напрасно. С письмами вы преувеличиваете. Есть люди, которые этим занимаются, решают и отвечают за них. Мне ваши письма не нужны. Почему объявили голодовку именно сейчас? Письма — лишь повод! Мышиная возня к визиту Никсона, он вам не поможет, будете пенять на себя!

ЧОРНОВИЛ:

Потом большая группа начальства появилась в ШИЗО и начала уговаривать нас. Мне пообещали разобраться с претензиями к лагерной администрации и заявили, что мое наказание прекращают (мне оставалось сидеть в ШИЗО еще 7 суток) и на следующее утро отправляют меня обратно в Озерный. В других камерах тоже щедро раздавали обещания, желая любой ценой разрядить обстановку. Но голодовку никто пока не прекратил, даже больной гипертонией Попадюк, переживший во время голодовки тяжелый приступ.

На следующий день меня действительно освободили из ШИЗО и отправили в зону. Но там, разумеется,

мои претензии никто и не думал удовлетворять (я требовал снятия незаконно наложенных наказаний и прекращения терроризации политзаключенных некоторыми «активистами» из числа бывших полицейских и фашистских карателей) — и я снова отказался выходить на работу. Ожидал наказания за такую «строптивость» — отправки в ПКТ или во Владимирскую тюрьму, но шли дни за днями, а меня никто не трогал. Только через две недели меня, наконец, вызвал начальник участка капитан Дежуров и заявил, что президент США уже уехал восвояси, мой «отдых» поэтому кончается и меня водворяют на 6 месяцев в ПКТ.

ПЭНСОН:

Тем временем на 19 зоне события разворачивались вширь. 21 июня к голодающим присоединились Азерников и Пашнин. 22 июня в знак поддержки наших требований объявил однодневную голодовку Комаров (бывший офицер Советской Армии, ушедший за границу, а потом добровольно вернувшийся и получивший 10 лет лагеря).

Кончили голодать все вместе 23 июня, а затем до середины июля наслаждались относительным покоем. Но помнили: расплата за голодовку неминуема.

ЧОРНОВИЛ:

Лагеря для политзаключенных тем и отличаются от бытовых зон, что здесь не соблюдается даже та относительная объективность, которую проявляют к уголовникам. Сужу по собственному опыту, так как первый срок, несмотря на политическое обвинение, отбывал в бытовой зоне. В политических лагерях можно идеально соблюдать правила режима — и не вылезать из ШИЗО. Здесь введено правило: за каждую акцию протеста, особенно за коллективную, участники должны быть наказаны по какому угодно вымышленному поводу. Действительных причин наказания в

постановлении не указывают. Но в устных «беседах» представители администрации бывают откровенны до цинизма.

В ноябре 1973 года некий капитан Тарташов из политотдела управления ЖХ-385 поучал меня: «Чорновил, поверьте мне, что все ваши жалобы на администрацию бесполезны и только вам повредят. Вот вы любите ссылаться на законы. Но вы же государственный преступник, выступали против Советской страны, поэтому никакие законы на вас не распространяются. Если, например, начнется война, вас и таких, как вы, могут вывезти куда-нибудь в лес и там расстрелять. Вам пора понять, что вы находитесь на особом положении и что во всех действиях относительно вас за спиной администрации стоит КГБ. И свидания вас лишили по указанию КГБ. Если будет другое указание, вы получите свидание хоть завтра, несмотря на постановление о лишении. Кстати, я это говорю вам неофициально, чтобы вы поняли свое действительное положение, и вы не вздумайте где-нибудь ссылаться на мои слова».

Откровенничают иногда и те, кто подписывает постановления о наказании. Так, в связи с объявленной 10 декабря 1973 года голодовкой меня 14 декабря вызвал на беседу весь лагерный синклит во главе с начальником 17 колонии капитаном Акмаевым и пригрозили отправкой в ШИЗО. «За что? — поинтересовался я, — я режим не нарушаю, а голодовка — мое право». «Захочем найти за что, найдем!» — последовал ответ. А начальник оперчасти старший лейтенант Павлов уточнил: «Да я за три дня десять рапортов на вас при желании составлю». И действительно, составил; и ровно через три дня я был отправлен на 15 суток в ШИЗО, где встретил свой день рождения и новый 1974 год. А в постановлении о наказании значилось, что я не поприветствовал Павлова и не имел на одежде нашивки с фамилией.

Еще один пример. 9 мая 1974 года группа политзаключенных 17-й зоны (Граур, Глезер, Каминский, Коренблит, Петров, Кузюкин, Болонкин, Роде, Пашилис, Вильчаускас, Микитко, я и др.) направили в Президиум Верховного Совета СССР обращения с требованием содержать нас отдельно от военных преступников — бывших полицаев и карателей (при этом мы оговорились, что участников национальных движений военных и первых послевоенных лет мы в виду не имеем, так как считаем их политзаключенными).

Петиции были вызваны тем, что администрация 17 зоны предоставила полицейской братии особые права. Если в других зонах такие «активисты» сотрудничают с администрацией в основном в форме тайных доносов, внешне держа себя относительно благопристойно, то здесь они дошли до открытой травли политзаключенных.

Некто Прикмета, бывший капо в немецком концлагере, а теперь бригадир в советском, сочинял доносы, которые даже без формальной проверки становились основанием для наказаний. Или, скажем, бывший фашистский полицей Лынкин, ныне член лагерного «совета коллектива», открыто следил за политзаключенными и записывал в блокнот услышанные разговоры. Показательная деталь — во время октябрьской арабско-израильской войны он, радуясь победным радиореляциям, так их комментировал: «За что же я сижу? Ведь я тоже жидов убивал!» В конце апреля 1974 года этот «активист» с возгласом: «Мы здесь будем командовать, а не вы!» — затеял драку с политзаключенным Лигутиным. В результате Лигутина увезли на 14 суток в ШИЗО, а Лынкина поощрили в первомайском приказе.

Возмутил нас и циничный приказ начальника колонии Акмаева 9 мая. В честь Дня Победы над фашизмом он поощрил благодарностями, разрешениями на закупки в ларьке, передачами и свиданиями только

бывших фашистских пособников — человек 15. Кто-то из нас пошутил: «Администрация приняла единственно правильное решение. Не было бы врагов — не было бы победы!»

В одном из заявлений в прокуратуру я писал по поводу подобных фактов: «Не мешало бы, кстати, разобраться в причинах такого трогательного взаимопонимания между администрацией учреждений МВД и бывшими шутманами и карателями из зондеркоманд. Только ли приспособленчеством последних и их рьяной готовностью к услугам при травле политзаключенных это объясняется, или, может быть, существуют какие-то общие социально-психологические корни поведения?»

Наши заявления 9 мая в Президиум Верховного Совета СССР были задержаны, а авторов по одному вызывали в кабинет начальника, где сидел также кагебист, и угрожали наказаниями. Посыпались лишения заупок, передач, свиданий, затем в ШИЗО на 14 суток были отправлены Петров и Роде. 24 мая настала и моя очередь. Оказалось, Прикмета сочинил на меня несколько новых рапортов. Когда на вахте начальник колонии Акмаев зачитал мне постановление о водворении в ШИЗО на 14 суток, я попробовал возмутиться, на что последовал веселый ответ Акмаева: а, это все ерунда, что в постановлении написано. Я вас не за то наказываю, а за то, что вы разные кампании организуете и с 19-й зоной для этого пытались связаться.

ПЭНСОН:

Почти таким же образом фабрикуются наказания и на 19-й зоне. Всегда можно почувствовать, когда на тебя что-то готовится. Начинаются придирки надзирателей, частые обыски, усиливается персональная слежка. Расплата за июньскую голодовку началась с твоего незадачливого корреспондента. Сочинили три рапорта за три дня: за нарушение формы одежды — два раза

появился на территории в тапочках, на одном из рабочих пунктов не оказалось бирки с фамилией (кстати, эти бирки сравнительно недавнее нововведение, за ними, возможно, последуют концлагерные номера, как в «добрые старые времена»).

За каждый из этих рапортов последовало наказание: лишение закупки продуктов на месяц, лишение очередного свидания и, наконец, 14 суток ШИЗО. Что такое штрафной изолятор, непосвященному представить трудно. Познакомлю тебя сначала с официальными документами — пунктом пятым извлечений из «Правил внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений». Эти правила объявлены приказом номер 20 МВД СССР от 14 января 1972 года. Их назначение — «разъяснить», а в действительности ужесточить и без того жесткие положения исправительно-трудового кодекса. Авторы этих правил на всеобщую известность не претендовали, так как снабдили свое творение грифом: «за пределы подразделения не выносить».

Цитирую пункт Правила водворения в штрафной изолятор (в тюрьме он называется карцером, а для несовершеннолетних — дисциплинарным изолятором, что, впрочем, существа сего заведения не меняет):

«Осужденному запрещается брать с собой в штрафной или дисциплинарный изолятор, либо в карцер, имеющиеся у него в пользовании продукты питания и личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубного порошка и зубной щетки. В период содержания осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе, либо в карцере, принадлежащие ему полотенце, мыло, зубной порошок, зубная щетка хранятся в специальном помещении и выдаются только на время туалета. ...

Осужденные подвергаются тщательному обыску, они переодеваются в одежду, закрепленную за штрафным изолятором...

В штрафном или дисциплинарном изоляторе и в карцерах осужденные находятся под замком. Они лишаются права пользования свиданиями, получения посылок, передач и бандеролей, приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости, отправки писем. Им не разрешается курить. Гарантированный минимум заработной платы таким осужденным не начисляется, право пользования дополнительной суммой денег за перевыполнение норм выработки или образцовое выполнение установленных заданий не предоставляется, дополнительное питание они не получают.

... К лицам, нарушающим режим в штрафном или дисциплинарном изоляторах, либо в карцере, применяются все меры взыскания, предусмотренные Исправительно-трудовым законодательством. Досрочное освобождение осужденных из штрафных или дисциплинарных изоляторов или карцеров, кроме случаев, когда это требуется по медицинским показаниям, не допускается.

Осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, верхняя одежда (пальто, бушлат, полушубок) выдается только при выводе на работу... Постельные принадлежности им не выдаются, на прогулку они не выводятся...

Водворение осужденных в дисциплинарные изоляторы производится только при наличии медицинских заключений о возможности содержания их в этих изоляторах по состоянию здоровья.

...Лицам, водворенным в карцеры, верхняя теплая одежда не выдается. Постельными принадлежностями они не обеспечиваются, на прогулку не выводятся».

Некоторые особенности ШИЗО в этом тексте не отражены. Так, водворение в ШИЗО определяется с выводом или без вывода на работу. В первом случае наказанный получает ежедневное горячее питание, хоть и пониженное. Во втором случае полмиски от-

дельно приготовляемой обезжиренной баланды узнику выдается один раз в два дня в обед, остальное время он голодает, получая 400 грамм хлеба в сутки и воду. Так длится по полмесяца, иногда по месяцу и более, что наносит здоровью человека необратимый урон и поэтому может считаться проявлением узаконенного геноцида.

Нелишне упомянуть и такие, не отраженные в официальных документах прелести содержания в ШИЗО, как холод, грязь, отсутствие туалета. В туалет выводят на несколько минут раз в сутки, в остальное время приходится пользоваться древнейшим изобретением русских тюремщиков — «парашей». На 19-й зоне это ржавая, погнутая, плотно не закрывающаяся, иногда текущая, посудина. Но открыть форточку невозможно — и без того коченеешь в холодном тряпье, выдаваемом вместо собственной одежды. Согласно где-то записанному положению (в цитированных правилах этого нет), температура в камере ШИЗО должна быть не ниже 16°C. Это положение здесь понимают так — она не должна быть здесь выше 17°. Помещение сырое, холодное, зимой топится раз в два-три дня, в холодные осенние и весенние дни не топится вовсе. Открываемые только на ночь голые нары сделаны из неровных, неподобранных досок со щелями.

В правилах предусмотрено медицинское обследование перед водворением в изолятор только для несовершеннолетних, с состоянием же здоровья взрослых совершенно не считаются. В ШИЗО водворяются даже лица, имеющие тяжелые хронические заболевания; например, Стус и Любарский с острой формой язвы желудка, Чорновил с обострением болезни руки (бурсит).

А какая «медпомощь» оказывается водворенным в ШИЗО, я покажу на примере с Израилем Залмансоном, получившим в августе 1974 года 14 суток за «нарушение формы одежды» (под лагерной курткой обна-

ружили белую тенниску). Для точности передам (в изложении) жалобу Израилья прокурору Мордовии от 30.8.74 г. Израиль пишет, что между 16-ым и 30-ым августа, когда он находился в изоляторе, значительно похолодало, в камере ШИЗО без верхней одежды и постели спать было невозможно. Температура, без сомнения, была ниже 16°, но надзиратели (Фролкин, Кучеров) отказались ее измерить, а надзиратель Терехин даже умышленно включал без потребности вентилятор рабочей камеры. Из-за холода и сквозняка Залмансон заболел, у него поднялась температура. Но из ШИЗО его не освободили, постели не выдали, в первый день болезни при температуре 37,3° даже заставили работать. Все «лечение» заключалось в выдаче на ночь бушлата. На третий день медсестра «вылечила» больного довольно оригинальным способом. Она положила ему термометр на плечо и велела ему удерживать его наклоном головы. После 5 минут такого измерения термометр показал 35,9°, медсестра объявила, что Залмансон здоров, и у него немедленно отобрали бушлат. К счастью, через сутки срок заключения в ШИЗО окончился, иначе результаты «медпомощи» могли бы оказаться плачевными. На жалобу Израиль получил ответ от прокурора по надзору за местами лишения свободы Мор. АССР Фофанова: «Проверкой установлено, что никаких нарушений при содержании Залмансона в ШИЗО не было».

ЧОРНОВИЛ:

Такова судьба 99% наших жалоб в прокуратуру и в административные органы. Никто их, конечно, не проверяет, а ответы составляются по нескольким трафаретам. При этом случаются казусы: скучающие чиновники иногда ленятся даже внимательно прочитать жалобу и присылают нелепые отписки.

В ноябре 1973 года на жалобу по поводу незаконного лишения свидания с сестрой я получил ответ,

что свидание мне не предоставлено правильно, ибо брак наш не оформлен, и она мне никакая поэтому не жена (прокурор Новиков из Яваса, вспомнил, что я когда-то писал о лишении свидания с женой, и решил, не читая, что я снова пишу о том же).

Летом 1974 года я получил еще более курьезную отписку от прокурора Фофанова, после чего обратился к нему и в прокуратуру РСФСР с заявлением, оканчивавшимся так: «Ваш странный ответ не по существу моей жалобы свидетельствует о том, что вы не можете осуществлять надзор за деятельностью исправительно-трудовых учреждений, так как не в силах понимать смысл направляемых Вам жалоб и даже составить отписки, согласующиеся с правилами формальной логики. Поэтому ставлю вопрос перед прокуратурой РСФСР о вашем несоответствии занимаемой должности и о целесообразности направления Вас на другую работу, где от Вас будет больше пользы обществу, например, в сферу материального производства». Такое заявление возымело действие на представителя обычно толстокожего прокурорского племени. Он сразу же появился в ПКТ 19-й зоны и после пятиминутного разговора со мной поставил диагноз: «Что-то вы слишком быстро и возбужденно разговариваете. Вас, наверное, придется направить к психиатру на обследование». Если вспомнить известные факты водворения в психбольницы здоровых людей, этот «намеки» был более чем прозрачным и рассчитанным на то, что желание жаловаться на прокурорские нелепости у меня больше не появится.

ПЭНСОН:

С конца июля 1974 года в Мордовии началась активная перетряска политзаключенных. Я еще сидел в ШИЗО, когда на 3-ю зону, имеющую репутацию глухой, отправили Азерникова. Срок у Бориса приближался к концу, и я не надеялся уже с ним увидеться.

Однако, освобождая меня из изолятора, дежурный офицер объявил, что утром я должен явиться на вахту с вещами — иду на этап.

Расставание с друзьями всегда тяжело, а в лагере вдвойне. 9 августа утром — традиционное прощание: чай, проводы до вахты. Горько было разлучаться с Кронидом Любарским, замечательным человеком, с которым мне повезло здесь встретиться и подружиться. Прощаясь, не подозревали, что и Крониду уготовлена нелегкая дорога. Спустя месяц его перебросили на 17-ю зону, в Озерный, где ему вновь пришлось прибегнуть к 10-дневной голодовке, так как ему не разрешили взять в зону книги. Голодовку впоследствии поддержали Илья Глезер (кандидат биологических наук, бывший преподаватель МГУ, осужден на 3 года лагерей и 3 года ссылки по обвинению в сионистской пропаганде) и Яромир Микитко (бывший студент Львовского лесотехнического института, осужден по одному делу с Попадюком на 5 лет). Явившийся в 17-й лагерь полковник КГБ Дротенко пообещал перевести Любарского на другую зону, где ему будет оказана медпомощь. На самом же деле Кронида во второй половине октября приговором суда отправили до конца срока во Владимирскую тюрьму.

ЧОРНОВИЛ:

Стоит сказать несколько слов о так называемом «суде», которым заключенных переводят из лагеря в тюрьму. Здесь не бывает даже той формальной видимости законности, как при первичном осуждении. Обычно это происходит так. Заключенному приказывают собраться на этап, не объявляя, куда отправляют. Его выводят из лагеря, заводят в любое административное здание возле лагеря, где судья зачитывает ничего не ведавшему ранее политзаключенному приговор. Ему не дают даже слова промолвить по поводу предъявленных ему обвинений в нарушении режима.

О какой-то защите, адвокаты и т. п. не может быть и речи. Таким образом «осудили» и Любарского.

Осенью 1974 года КГБ провело еще ряд перебросок. С 17-ой зоны на 19-ую перевели политзаключенных Каминского и Коренблита, с 19-ой на 3-ю отправили Бабича. В октябре увезли на Украину для «оперативной работы» в тюрьмах КГБ группу украинцев — И. Геля и М. Осадчего из зоны особого режима, Н. Строкатую из женской зоны, меня из ПКТ 19-ой зоны. Все эти многочисленные перемещения были отнюдь не случайны. Из разговора с Дротенко в сентябре я сделал вывод, что кагебисты знают о намерении 30 октября впервые отметить День заключенного в СССР и делают все возможное для ослабления или предотвращения этой акции.

ПЭНСОН:

В результате этой кагебистской стратегии я и трясся 9 августа в «воронке» по «русским горкам» к Явасу. Ехать по лесному ухабистому бездорожью в железном ящике — нелегкое испытание. Но, к сожалению, для нашего брата довольно частое. Так возят с Озерного и Лесного в больницу, так везут в Лесной наказанных, так как 3-ая и 17-ая микрзоны своих изоляторов не имеют.

ЧОРНОВИЛ:

Иногда эта дорога становится дорогой смерти. В 1972 году на лесных ухабах скончался эстонец Калью, которого, как выздоровевшего, возвращали после операции в Озерный. 20 км трясли по бездорожью в 1974 году разбитого инфарктом Ершова, в результате чего он скончался в больнице, не придя в сознание. Некоторые тяжелобольные (например, Казновский в 17-ой зоне), панически боясь дороги, категорически отказываются ехать в больницу. Раньше политические зоны в Мордовии располагались возле железнодорожной

ветки. То, что их сейчас загнали в лесную глушь, — не только способ большей изоляции от внешнего мира, но и дополнительное средство издевательства над заключенными и их родными, приезжающими на свидание.

ПЭНСОН:

Мне путь на «Тройку» обошелся всего лишь несколькими ушибами, и вскоре, основательно прощупанный на вахте (при этапах это неизбежная, многократно повторяемая процедура), я был выпущен в 3-ю зону навстречу улыбкам Азерникова и Залмансона.

Впрочем, я не совсем точно сказал «3-я зона», так как 3-я зона состоит из отдельных участков, друг от друга отгороженных, и включает в себя бытовую зону (участок 1), центральную больницу «Дубровлага» (отделения для уголовников и политических), зону для женщин-политзаключенных (участок 4), и, наконец, нашу зону (участок 5). Всего на «Тройке» (с больными) содержится около тысячи заключенных; только охрана — надзиратели и солдаты — составляет 205 человек.

Наиболее примечательным местом «Тройки» является центральная больница управления, безусловно, заслуживающая особого описания. Я попрошу сделать это Василя Стуса, которого тяжелая болезнь загоняла в лагерную больницу неоднократно.

СТУС:

Лагерная больница — учреждение довольно странное. Смысл ее — совместить кагебистскую жестокость с профессиональным долгом врачей. А совместить эти понятия не так просто. Не один из врачей повторяет: «Сначала я чекист, а потом уже врач.» Но ни один кагебист не скажет: «Сначала я врач, а потом уже...» «Вас расстреливать надо, а не лечить», — кричит эзкам жена замполита Самсонова, числящаяся в штате медперсонала. Ее, конечно, могли пожурить за такую

фразу, ибо считается неприличным делать тайное явным.

Центральная больница Дубровлага имеет хирургическое, терапевтическое, зубопротезное отделение, специальные корпуса для душевнобольных, пациентов с туберкулезом и болезнью Боткина. Есть здесь и физиотерапевтический и рентгеновский кабинет. Но все это — лишь бутафория, нарочито громоздкая, чтобы скрыть лаконичную правду: центральным корпусом больницы является морг.

Еженедельно морг принимает один, а иногда два-три трупа. За 1974 год в морг было доставлено 68 трупов. Неудивительно, что именно к нему приковано внимание и больных, и медперсонала. Раз в неделю к нему направляется целый консилиум врачей — единственный случай заметить, что медиков в больнице целый десяток. И живые завидуют мертвым: им такого внимания не уделяют. Эка, попавшего в больницу, врач осматривает обычно только при поступлении. Больному прописывают минимум лекарств или не прописывают ничего. Так он пролежит три-четыре недели — срок, за который больной обязан поправиться. Если же улучшения не наступает — тем хуже для него.

Четыре недели пролежал больной П. Яковлев в больнице. Его мучило сердце, желудок, запущенный тромбофлебит. Никакого лечения ему оказано не было, он не смог добиться даже консультации у хирурга. Когда его выписали, как выздоровевшего, он уже не мог самостоятельно передвигаться: к поезду его доставили на повозке, а через два месяца его привезли в больницу снова, на этот раз для того, чтобы ампутировать обе конечности. На операционном столе он и умер. И так лечат многих.

Едва ли не самая распространенная в лагере болезнь — гипертония. Инсульт, инфаркт, паралич — как часто эки переносят их в зоне, и только после этого их перевозят на больницу, чтобы лечить. Слиш-

ком запоздалая госпитализация стала причиной не одной смерти. Так умер М. Шевцов, И. Козловский, монах М. В. Ершов, свыше сорока лет просидевший по социалистическим лагерям.

Есть в больнице несколько постоянных поселенцев: глухие, слепые, безногие, парализованные, агонирующие старики, словно видения из Дантовских адских кругов. Безногий Н. Юхновец — жертва преступной халатности медиков: его стали лечить лишь тогда, когда избежать ампутации стало невозможно. Выживший из ума П. Гугало, впавший в старческий маразм восьмидесятипятилетний И. Захарченко, у которого впереди еще 6-8 лагерных лет. Их держат под замком как сумасшедших или зверей, они еще живые, но уже давно мертвые, хотя все еще «особо опасные государственные преступники», жертвы автоматической жестокости так называемого правосудия.

Человека, впервые попавшего в терапевтическое отделение, не покидает ужас. Вечная грязь, вонь от туалета, параш и палат, где содержатся полумертвецы-старики. Умывальник напоминает отхожее место. В каждой палате обязательный пациент, работающий на оперчасть и КГБ. Потерявшие всякое человеческое лицо санитары из зэков, на каждом шагу третирующие и обворовывающие больных. Особенно отвратительные среди них — полицаи Даугавиетис, Чмара, штатные осведомители, паразитирующие на чужом несчастье. Время от времени в корпусе появляются кагебисты, назначая, кого выписать, кого подержать еще. Их мнение — самое авторитетное, ведь они — лучшие тюремные медики, и лечат больных они. Лечат, убивая.

Нельзя обойти молчанием и лагерной аптеки. Даже в больнице обычно не бывает самых необходимых препаратов. Нередко больных пичкают таблетками, срок годности которых давно истек.

За два с половиной года я не знаю случая, чтобы в больнице был викалин. Вместо него язвенникам выдают «более эффективные средства» — новокаин, анестезин, белалгин. Поскольку эти препараты не помогают, я неоднократно требовал, чтобы отсутствующие медикаменты я мог получить от своих родных или приобрести за свой счет. Однако и то и другое тайный циркулярный «закон» запрещает. Я обратился по этому поводу в Министерство здравоохранения. Ответа не получил. Из советского Красного креста сообщают, что вопрос о содержании политзаключенных в Советском Союзе в их компетенцию не входит. Они, видите ли, интересуются только чилийскими порядками и пакистанскими землетрясениями.

Особое место в системе ЦБД (Центральная больница Дубровлага) занимает 12-ый корпус, спецпсихбольница для уголовников, куда при случае направляют и политзаключенных. И, конечно, чаще всего здоровых. Туда был брошен Игорь Огурцов по отбытии им срока тюрьмы (Владимира) в конце 1973 года, там находился литовец Альгирдас Жипре, в конце 74 года — москвич Владимир Балаханов, политзаключенный из Перми Калиниченко. В этом же корпусе побывал и А.Романов после того, как бросился на запертку, ища последнего спасения от мучений.

Надо сказать, что смерть потеряла в лагерных условиях всякую трагичность, она стала будничным фактом. К умершим благоволят: в последнее время пошли даже на то, что им бесплатно выдают новую униформу, носки и тапочки (раньше хоронили голыми): последняя возможность проявить неусыпную заботу, даже об усопших.

Конечно, не всякий способен находиться в этом пространстве между жизнью и смертью. Некоторые (обычно полицаи) быстро скатываются по нескончаемой плоскости духовного падения, теряя последние человеческие характеристики; другие, к сожалению, даже

отдельные «семидесятники», раскаиваются и начинают сотрудничать с КГБ (упомяну «марксистов» О.Сенина и В.Белохова); третьи сходят с ума, не выдержав мучений. Еще в начале 1973 года вогнал себе в сердце отточенное острие латышский партизан Сви-кланс; не выдержав тяжелых карцерных условий, повесился в ШИЗО в 19-й зоне Козловский. В последнее время участились случаи самоубийства, и власти предпринимают меры к тому, чтобы лишить зэка последней возможности освобождения от страданий, а с ней лишить и последней иллюзии личной свободы, и надо сказать, что это решение далеко не последнее в ряду других. Ведь человек сохраняется до тех пор, пока у него существует последний этот выбор.

Кажется, одна из функций больницы — обеспечить тихую смерть заключенного, подальше от зоны, от товарищей. Здесь, в больнице, каждый умирает тихо и почти всегда — наедине с самим собой. Смерть без свидетелей — лучшая смерть для зэка, его последняя обязанность.

ПЭНСОН:

На 5-м участке, куда меня привезли, содержатся всего 50-60 заключенных, жалкие остатки некогда большого контингента, находившегося на 1-м участке. В 1972 году крупные политзоны в Мордовии — 3-я и 17-ая, были ликвидированы приказом № 014 по ГУИТУ (Главное управление исправительно-трудовых учреждений). Значительная часть политзаключенных переведена на Северный Урал (Пермская обл.), а оставшихся в Мордовии разбросали на три маленьких зоны — пятый участок 3-ей, 17-ую «А» и несколько большую 19-ую. В Мордовии оставили также женщин-политзаключенных и лагерь особого режима.

ЧОРНОВИЛ:

В этом тоже можно видеть кагебистскую «страте-

гию»: желание рассеять активную часть политзаключенных по карликовым зонам, не допустить массовых выступлений и максимально ограничить связь со свободой.

ПЭНСОН:

Пятый участок произвел на меня удручающее впечатление. Большинство состава — старики из Прибалтики (более активные среди старших эзков участники оуновского движения на Украине в основном вывезены на Урал), сидящие по 15-20 и более лет. Кто сидит «за войну», кто «за лес». Серые, выцветшие, выжившие из ума люди, в основном калеки, многие больны экземой. Еле двигаются, о чем-то про себя бормочут. Время от времени мертвых или умирающих увозят в больницу. Жуткое и жалкое зрелище — реальный театр абсурда. Такие люди случались и на 19-ой зоне, но скопление их в одном месте показалось особенно нелепым и диким. «Молодежи» (понятие относительное, здесь под него попадают и совсем немолодые), к сожалению, оказалось немного. Попытаюсь ее вкратце представить.

Наша община вначале состояла из троих. Но уже в сентябре Бориса Азерникова отправили до конца срока в ПКТ, и мы остались вдвоем с Израилем. Поводом для расправы над Азерниковым стал однодневный невыход на работу: Борис был болен, имел температуру, но освобождения от работы ему не дали.

Сначала было также трое украинцев из Киева: поэт Василь Стус, кандидат философских наук Василь Лисовый и студент юридического факультета университета Владимир Рокецкий. Потом Рокецкого внезапно отправили на Урал, Лисового — в ПКТ, а 19 февраля этого года к нам перебросили Вячеслава. Все они арестованы в 1972 году во время репрессивной кампании на Украине. Обвинения однотипные: литературное творчество, хранение внецензурных материалов, протесты против репрессий. Сроки у украинцев,

учитывая статью кодекса и характер обвинения, самые жестокие: от 5 до 7 лет плюс ссылка.

ЧОРНОВИЛ:

Да, действительно, в подавлении инакомыслия Украине по давней традиции уделяют особое внимание.

Хочу немного дополнить сказанное Борисом, в частности, о Лисовом. Нас «брали» в январе, его — через полгода, при своеобразных обстоятельствах. 5 июля Лисовый как член КПСС послал обращение в ЦК КПСС Украины по поводу наших арестов, а 6 июля уже любовался решетками в тюрьме республиканского КГБ.

Сейчас Василь находится в крайне трудном положении. Так как администрация колонии отказывала ему в эффективном лечении, Василь отказался от выхода на работу и после нескольких водворений в ШИЗО в январе 1975 года был увезен на 5 месяцев в ПКТ. Там он также был вынужден отказаться от выхода на работу, так как ему не выдали привезенные с собой книги (еще одно проявление постоянно ощущаемой нами ненависти к «писанине» и «читанине»). Лисового содержат на пониженном, даже по сравнению с нормами ПКТ, питании, дважды переводили в ШИЗО, каждый раз по 15 суток. Состояние здоровья В. Лисового вызывает самые серьезные опасения (у него болель печень, кишечник). Протестуя против физического истребления Лисового, группа политзаключенных 19-ой зоны проводила в феврале этого года голодовку солидарности с ним. С этой голодовкой связаны, очевидно, новые перетряски политзаключенных, в частности, перевод на 17-ую зону с 19-ой 3. Попадюка и некоторых других участников голодовки.

ПЭНСОН:

Литовцев «последнего призыва» здесь представ-

ляет совсем молодой Римас Чекалис, о котором я упоминал в предыдущем письме, так как он раньше был на 19-ой зоне, и 60-летний врач Исидор Рудайтис, арестованный в марте 73 года и осужденный на три года за распространение документов об обстоятельствах оккупации Литвы в 1940 году. По одному делу с ним осужден на два года молодой инженер-химик Видас Павилионис, которого в декабре 74 года перевели отсюда в 19-ую зону. Из репрессированных в последние годы в Латвии на 3-ю зону попали Феликс Никмантис, студент рижского университета, получивший в 1972 году три года за листовки антишовинистического содержания, и осужденный по одному делу с ним, также на 3 года, старый литератор Петр Озолиньш. Три года получил в 73 году арестованный несовершеннолетним за распространение листовок и вывешивание национального флага рабочий завода ВЭФ Вольдемар Кузикс, успевший уже побывать несколько раз в ШИЗО и 6 месяцев в ПКТ.

Еще два-три человека — вот и вся «молодежь» или, по другому бытующему термину, «семидесятники» (по статье 70 УК РСФСР «антисоветская пропаганда и агитация»), которых я застал, прибыв на «Тройку».

ЧОРНОВИЛ:

Думаю, надо упомянуть и прибывших недавно армян — Паруйра Айрикяна и Азата Аршакаяна. Оба осуждены как члены подпольной Национальной объединенной партии (НОП), существующей в Армении с 1966 года и ставящей задачей создание самостоятельного армянского государства в естественных границах (в последнее время пропагандируется лозунг проведения в Армении референдума по этому вопросу). Айрикяну — 26 лет, он уже отсидел 4 года здесь же, в Мордовии, на свободе пробыл всего несколько месяцев и в 1974 году снова осужден на 7 лет лагерей и 3

года ссылки. Поводом для обвинения послужили письма, которые Айрикян посылал через цензуру домой во время первой отсидки, заявления должностным лицам, поданные уже в ходе следствия, требования убрать из зала суда портрет Ленина, и наконец, то, что «с целью распространения клеветнической информации о Советском Союзе в 1967 году послал копию приговора с просьбой передать его за границу». Красноречивое признание, что фабрикуемое обвинение и приговоры сами по себе являются компрометирующими материалами!

Приблизительно через месяц после Паруйра в январе этого года на 3-ю зону прибыл из Армении двадцатипятилетний Азат Аршакян со сроком 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Осужден за то, что с 1967 года был членом НОП и впоследствии одним из руководителей ячейки этой организации. Действия этой группы: антишовинистические надписи на улицах и стенах зданий, изготовление типографским способом и распространение свыше 10.000 листовок и других изданий НОП, поджог в центре Еревана портрета Ленина в знак протеста против политических арестов и судов...

Надо отметить, что в условиях закрытого общества, самоизбираемые руководители которого пытаются навязать миру представление о «морально-политическом единстве советского народа», тщательно скрываются от своей и иностранной общественности оппозиционные выступления внутри СССР. Поэтому уровень репрессий служит чуть ли не единственным реальным показателем размаха оппозиционных движений в той или иной республике. Сегодня можно реально говорить о таком движении на Украине (в 1972-73 годах около 40 политических процессов и несколько водворений здоровых людей в дома умалишенных), в Армении (11 процессов только в 1973-74 годах), в Литве (не меньше 10 процессов за последние

годы), меньше в Латвии. Сейчас стало известно также об арестах в Эстонии. Под следствием находятся члены «Эстонского национального фронта» Кийренец Мати Альфред, Мяттик Кальо Янович, Варато Арво Гуннар и другие. За индивидуальные выступления и участие в разных группах (в основном общедемократического направления) осуждены в последние годы несколько десятков русских. В связи с некоторой либерализацией выезда евреев из СССР в политические лагеря Мордовии перестали поступать евреи (последним прибыл москвич Илья Глезер). Как видно, даже в нашей «микроне» находятся сейчас представители многих национальных движений, существующих в Советском Союзе.

ПЭНСОН:

И все те же проблемы, что и в больших зонах. В этом я убедился летом 1974 года, так как с первых дней пребывания на «Тройке» оказался участником конфликта между заключенными и администрацией из-за созданных здесь нестерпимых условий жизни. Ситуация вкратце такова: питание на редкость скверное; лагерный ларек совершенно пустой, работает как придется, не считаясь с вывешенным графиком; врачи не появлялись, медсестра заглядывала редко; постельное белье грязное, одеяла старые, рваные; ни одна жалоба и заявление не отправлялись.

Остановлюсь подробнее на вопросе питания в лагерях вообще.

Норма № 1 суточного довольствия осужденного, содержащегося в ИТК МВД СССР (на одного человека)

1. Хлеб из ржаной или пшеничной обойной муки — 650 гр.
2. Мука пшеничная второй сорт — 10 гр.
3. Крупа — 110 гр.
4. Макароны изделия — 20 гр.

5. Мясо — 50 гр.
6. Рыба — 85 гр.
7. Сало, комбижир — 10 гр.
8. Масло растительное — 15 гр.
9. Сахар — 20 гр.
10. Чай натуральный или кофе суррогатный — 1,5 гр.
11. Соль — 25 гр.
12. Картофель — 450 гр.
13. Овощи — 200 гр.
14. Томат-паста — 5 гр.
15. Лавровый лист — 0,1 гр.
16. Мыло хозяйственное — 200 гр. (в месяц для туалетных надобностей).

Как много лет довольствующийся этим убогим довольствием, могу его прокомментировать: редко когда хлеб бывает удовлетворительным, обычно это кусок клейкой массы; мороженная рыба три-четыре раза в неделю варится в супе; мясо отсутствует — как правило, вместо него в обед дается кусочек вареного сала весом граммов в 20, картошки нет, в лучшем случае, несколько кусочков в так называемом супе — безвкусной бурде из крупы; овощи круглый год представляет кислая капуста, которая либо варится в шах, либо дается тушеная; крупы представлены перловкой, пшеничной сечкой, иногда пшеном, чаще всего неочищенным овсом с шелухой.

Примерное ежедневное меню:

Завтрак — суп пшеничный

Обед — щи из кислой капусты и каша овсяная, сало вареное (около 20 гр.).

Ужин — суп рыбный

или:

Завтрак — каша овсяная

Обед — суп-рассольник (из крупы, соленых огурцов, иногда чуть-чуть картошки), каша пшеничная, сало вареное (около 20 гр.).

Ужин — каша перловая, рыба (около 40 гр.).

О вкусовых качествах этой пищи говорить не приходится — какой может быть вкус у испорченных, недоброкачественных продуктов?

Со вторым источником нашего продуктового довольствия — лагерным ларьком — дело обстоит не лучше. Тем же приказом №20 МВД СССР от 14.1.72 г. устанавливается список продуктов питания, которые осужденный имеет право приобрести в лагерных ларьках: хлеб и хлебобулочные изделия: сельдь, консервы (рыбные, мясорастительные, салобобовые, овощные, фруктовые); жиры (масло растительное, масло сливочное, комбижир, маргарин, сало-шпиг); сыр; конфеты, повидло, джем; чай натуральный; лук, чеснок; табачные изделия (папиросы, сигареты, махорка)...

На самом же деле обычно в магазине имеется один-два сорта карамелей, один-два вида рыбных консервов, горох, маргарин (нередко испорченный), комбижир, повидло, чай (часто некачественный, плиточный), махорка, сигареты «Дымок» и спички. Из остальных предусмотренных продуктов за 8 месяцев моего пребывания на «Тройке» только два-три завезли серый хлеб, сыр, лук. На наши требования соблюдать установленный перечень продуктов ответ такой: «Приказом №20 предусмотрен только ограничительный максимум, а минимум администрация может определить сама», то есть свести его, например, к одной махорке...

Остается добавить, что в месяц на покупку продуктов питания мы имеем право израсходовать до 5 рублей, заработанных в ИТК (но не присланных из дома). За перевыполнение производственного плана, отсутствие нарушений режима, посещение политзанятий администрация может разрешить отовариться еще на 2 рубля. За нарушение режима содержания, наоборот, может последовать вообще лишение закупки на месяц, что бывает довольно часто.

Только со второй половины срока политзаключенный может получить одну продуктовую посылку в год весом в 5 кг. Понятно, такая посылка носит чисто символический характер, что не мешает администрации в виде наказания «за нарушение» лишать заключенного и этого символа родительской заботы.

ЧОРНОВИЛ:

Еще один штрих о лагерном питании. Из-за отсутствия в пище витаминов многие зэка весной и летом переходят на «подножный корм», делая «салаты» из растущей по зоне травы — тысячелистника, лебеды и др. Некоторые подсевают к цветам на убогих лагерных клумбах петрушку, укроп. Тогда по цветам гуляют надзирательские сапоги — идет «прополка».

На 17-ой зоне весной 1973 года этим занялись офицеры — начальник участка капитан Дежуров и начальник отряда старший лейтенант Зиненко, но потом заметили, что Лассаль Каминский все-таки кормит свой «кибуц» какой-то зеленью. Агентура донесла: едят настурцию. Заключенные стали свидетелями «оперативного совещания». «Надо немедленно вырвать», — проявил инициативу Зиненко. «Вырвать, конечно, можно, — глубокомысленно раздумывал Дежуров, — но ведь настурция — это все же цветы... А вдруг жиды начнут тополиные листья жевать, что же нам, тополю резать?» И настурцию пощадили...

Остается добавить, что получение из дому витаминов даже в очередной посылке или бандероли в лагерях строго воспрещается.

ПЭНСОН:

«Воспитание» голодом является главным средством в арсенале методов воздействия на узников лагерей. Возмущенные этим политзаключенные в 3-ей зоне в июле 1974 года начали требовать прибытия в зону прокурора по надзору, чтобы на месте разобраться с

вопросами питания, медобслуживания, отправки жалоб и др. Но администрация задержала заявление в прокуратуру. Возмущение нарастало. Последним толчком стало обнаружение в пище червей. 19 августа 8 человек отказались выйти на работу, а 20 августа объявили голодовку, требуя прибытия прокурора. В этот же день на зону прибыл замначальника управления по режиму полковник Мишутин. Он принял и выслушал каждого из нас, что-то у себя пометил, помешал ложкой баланду, которую мы отказались есть, понюхал ее и после этого обещал, что даст указание улучшить питание и по мере возможности удовлетворит другие требования. После этого голодовку мы сняли. После ухода Мишутина начальник колонии майор Шорин наказал каждого из нас за невыход на работу, лишив кого ларька, кого очередного свидания. Однако на следующий день всем арестантам выдали новые одеяла и простыни, кое-что из продуктов завезли в лагерьный ларек, и баланда стала некоторое время приготовляться чуть лучше.

ЧОРНОВИЛ:

Как-то совпало, что возмущение из-за питания в эти же дни вспыхнуло и на 17-ой зоне. Кормят там так же скверно, как и на «Тройке», ларек не намного богаче. Во второй половине августа в «Озерном» также несколько раз сряду в пище были обнаружены черви, что вынуждена была признать даже проверявшая жалобы комиссия. Однако после проверки черви в баланде появились вновь. Последовал отказ от выхода на работу — и в ответ репрессии. Я узнал о событиях на 17-ой зоне, находясь в ПКТ, так как в ШИЗО на 14 суток привезли «организаторов» — Петрова, Траура. Требуя освобождения из ШИЗО товарищей, несколько политзаключенных 17-ой зоны (Каминский, Коренблит, Глезер, Микитко, Роде и др.) отказались выходить на работу и тоже угодили в ШИЗО, а Роде

был посажен на три месяца в ПКТ. Как водится в таких случаях на недельку-другую после «взрыва» питание немного улучшилось, а потом все постепенно вернулось к старому.

ПЭНСОН:

Но случались и радостные события. Центральным из них было, конечно, неожиданное освобождение Сильвы Залмансон, воспринятое нами с радостью и надеждами. Об освобождении Сильвы ее брат Израиль узнал позже нас, так как в это время находился в ШИЗО, где его, больного, обучали новому способу измерения температуры...

...После перетасовок и некоторого затишья 30 октября 1974 года мы впервые отмечали «свой день» — День политзаключенного в СССР. Девять человек — Стус, Лисовый, Никманис, Кузикс, Павилионис, Рудайтис, Масальскис, Залмансон и я — отправили заявление протеста и объявили голодовку. Я, в частности, отправил в Президиум Верховного Совета СССР следующее заявление:

«Сегодня, 30 октября, в День политического заключенного в СССР я заявляю протест в связи с тем, что вот уже пятый год нахожусь в заключении только за то, что я, еврей, желаю вырваться из СССР к себе на Родину в Израиль.

Я протестую против условий, унижающих человеческое достоинство, в которых содержатся политзаключенные в СССР.

Истязание голодом, карцерами, непосильным физическим трудом, отсутствие должной медицинской помощи, запрет на книги и занятие творческим трудом, духовное оскудение — все это является постоянной практикой по отношению к политическим арестантам.

Я требую, в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека, положить этому конец. Сегодня, в

связи с вышеуказанным, в знак протеста объявляю голодовку».

ЧОРНОВИЛ:

Как стало теперь известно, День политзаключенного отмечали во всех политических зонах Мордовии и Перми, в том числе и на особом режиме, и женщины, которые, кроме петиции и голодовки, отказались также от выхода на работу. В отместку Н. Светличная, И. Калинец, С. Шабатура были отправлены в ШИЗО, а в начале 1975 года С. Шабатура и Н. Строкатая были заточены в ПКТ.

ПЭНСОН:

В ноябре 1974 г. с И. Залмансоном произошел, на мой взгляд, знаменательный эпизод, отраженный в его заявлении Генеральному прокурору СССР:

«12-го ноября с. г. в ИТК-3 учреждения ЖХ-385 прибыл заместитель прокурора данного учреждения Новиков для разбора по существу жалоб моих и моего брата Самуила Залмансона, проживающего в г. Риге, по поводу жестокого со мной обращения администрации ИТК в том числе содержания меня в ШИЗО в больном состоянии.

Однако, как мне представляется, целью визита Новикова было не выяснение обстоятельств жалоб, а стремление запугать возможностью упрятать меня в психбольницу, если я буду и впредь жаловаться на действия администрации ИТК. Для большей убедительности он привел с собой врача-психиатра Кокарева, работающего в системе ИТУ. Кокарев заявил, что, по его мнению, я, вероятно, страдаю манией преследования, раз я необоснованно жалуюсь на действия администрации.

Я не намерен в этом заявлении доказывать, что подобной манией не страдаю, думаю, что для иллюстрации пристрастного отношения ко мне со стороны

администрации достаточно лишь упомянуть, что только в течение последних шести месяцев, благодаря вмешательству управления ЖХ-385, с меня были сняты как необоснованные четыре взыскания, наложенные начальством ИТК-3. Следует отметить, что три из этих взысканий наложены в присутствии и с согласия Новикова — должностного лица, обязанного следить за соблюдением законности. Возникает вопрос, какой же манией страдает администрация лагеря и прокурор Новиков, которые так часто и необоснованно меня наказывают?

Кроме всего прочего, создается впечатление, что Новиков дает еще один повод утверждать враждебной СССР пропаганде, что здесь совершенно здоровых психически людей заточают в психиатрические больницы за их инакомыслие. Возможно, последнее не находится в сфере Вашей прямой компетенции, но я надеюсь, что Вы не останетесь к этому безразличны.

Прошу принять меры, чтобы подобная практика шантажа и запугивания была незамедлительно прекращена. Прошу также не направлять мое заявление вниз по инстанциям с тем, чтобы оно не попало к самому Новикову для разбора».

Заявления протеста против шантажа с приведением других аналогичных примеров отправили также и некоторые другие политзаключенные.

ЧОРНОВИЛ:

О том, как даже без психиатра ставил мне диагноз прокурор Фофанов, я уже упоминал. Угрожают психбольницей многим. Когда перед 30 октября мордовские лагеря частично разгружали от потенциальных участников голодовки, я 22 октября встретился по дороге в Москву в «столыпинском» вагоне (сохранение в народе старой тюремной терминологии — тоже верность «нравам и обычаям») с Ниной Строкатой. Ее, как и меня, везли на Украину «для профилактики», как

обычно, не уведомив, куда отправляют. Нина Антонова была уверена, что ее везут в печальной славы Институт имени Сербского, так как за активные лагерные выступления ее неоднократно обещали упрятать в психбольницу.

ПЭНСОН:

Закончили мы 1974 год, отметив две даты. 10 декабря, в День прав человека, по укоренившейся традиции мы отправили петиции протеста.

Вторую дату — 24 декабря, годовщину вынесения нам, «самолетчикам», приговора, отмечали на сей раз в меньшем составе. Залмансон и я, как обычно в этот день, объявили голодовку протеста.

ЧОРНОВИЛ:

Итак, на российские просторы шагнул 1975 год. Ротационные машины выбрасывали миллионные тиражи газет — с новогодним обращением — о социалистической демократии, о разрядке, о новых трудовых успехах... Под бой часов подымали бокалы, провозглашали тосты. А на островах Архипелага ГУЛаг царили тишь и благодать. В бараках со спертым воздухом (норма 2 м² на душу) тяжелым сном спали измученные работой зэка. Кто-то сквозь сон стонал, преследуемый кошмарами... И зимний ветер покачивал фонари над «запреткой», выхватывая из темени украшенную снежинками колючую проволоку. И тоскливо перекликались на вышках часовые. А в «глазке» тюремной камеры во Львове, где я встречал Новый год, время от времени появлялся внимательный глаз надзирателя. Все совершалось в том выработанном десятилетиями однообразно-мертвящем ритме, которому дошлые политики подыскивали красивый эвфемизм — «верность нравам и обычаям страны»!

ПЭНСОН:

Да, неволя не тешит разнообразием. Этот год в зоне начался, как и предыдущие. По уголкам барака пили рождественский чай (чай — назаменимый спутник всех лагерных празднеств); потом украинцы 12 января по родившейся традиции отмечали третью годовщину последнего погрома на Украине. Теми же ухабистыми дорогами везли 17 января в ПКТ Лисового, а 24 января в ШИЗО Залмансона.

Впрочем, однообразие все-таки иногда нарушалось взлетами надзирательской фантазии. Залмансона вызвали на вахту со всеми вещами. Так собирают только для отправки на другую зону, и мы попросились. Однако после тщательного обыска вещи оставили на вахте, а Израиля, как стоял, отправили на 7 суток в ШИЗО. Оказывается, таким способом решили проверить все вещи Залмансона.

Тут как раз место упомянуть, что представляет собой имущество советского зэка. Из гражданской одежды в зону можно взять только нижнее белье (у женщин и оно казенное), носки, шарф и тапочки. Остальная одежда и обувь — нелепо сшитая серая хлопчатобумажная униформа — выдается в зоне и ее стоимость высчитывается. При себе можно иметь еще только писчую бумагу, конверты, письма и фотографии, а также не больше пяти книг. Кроме обычного желания во всем узника ограничить, преследуется цель придать зэку высокую транспортабельность: собираться нужно быстро, в «воронки» и в камеры трамбоваться плотно. Поэтому иметь больше 50 кг вещей на «зэк-душу» не разрешено.

И все же за долгие годы отсидки зэк имуществом обрастает. Сидящие десятилетиями старики, то ли впадая в детство (таких немало), то ли помня тяготы послевоенных лет, собирают для освобождения изношенную одежду, всякую ненужную рухлядь...

ЧОРНОВИЛ:

А наш брат, политзаключенный, обрastaет книгами. Раньше нужную литературу в зоны могли присылать родные и знакомые. Но новый жесткий исправительно-трудовой кодекс 1969 г. ввел дискриминационное ограничение: книги можно получать только через систему «книга-почтой». Однако магазины высылают литературу в лагерь очень неохотно, большинство заказов не удовлетворяется, подобрать нужную литературу для целенаправленных занятий невозможно. Распространяемые официально в СССР зарубежные издания в зонах получать запрещено, не внушают доверия даже издания стран Восточной Европы. Все эти ограничения больно бьют по упрятым в лагерь литераторам, ученым, художникам. Последним не разрешают также пользоваться не только красками, но и цветными карандашами. Возможности делать всего лишь маленькие эскизы для будущих работ (гобеленов) Стефания Шабатура (до ареста член Союза художников СССР) добивалась ценой голодовок, отказов от работы, многократных водворений в ШИЗО. У Ильи Глезера на 17-ой зоне отобрали цветные карандаши и альбом с его рисунками. Выписанные мне родными на 1975 год разрешенные в СССР польские периодические издания конфисковываются даже без возмещения убытков. Литература на «непонятных» языках (т.е. на всех, кроме русского) особенно раздражает наших не шибко грамотных «воспитателей».

ПЭНСОН:

Когда Израиль возвратился из ШИЗО, ему отказались отдать книги. Потребовались немалые усилия, чтобы добиться их возвращения. Это привело в том числе и к объявлению 1 марта голодовки, которой Залмансон протестовал против дискриминационных ограничений на получение литературы вообще, на родном языке в частности.

Следующее коллективное действие на «Тройке» связано с обстоятельствами появления у нас Вячеслава. Во Львове его почти четыре месяца незаконно содержали в следственной тюрьме КГБ. Согласно положению исправительно-трудового кодекса, нас имеют право переводить на ограниченное время в следственные изоляторы по санкции прокурора только для допроса в качестве свидетеля, но не для какой-то «оперативной работы». Однако КГБ этот закон часто нарушает, надеясь, что под замком заключенный станет поговорчивей (то есть согласится, вернувшись в зону, доносить на товарищей). Только в последние годы в тюрьме Мордовского КГБ побывали М. Коренблит, Л. Каминский, Дымшиц, Бабаян, Л. Лукьяненко и многие другие, я в том числе. Вывозят и подальше — на Украину, в Прибалтику. Наши протесты против такого незаконного перевода на тюремный режим оставляют без внимания. Находясь в тюрьме в КГБ, Вячеслав объявил голодовку, требуя пересмотра сфабрикованного на него дела и оформления фактически существующего брака для получения возможности видеться с женой. О том, что произошло дальше, а также о других аналогичных случаях, дает представление заявление Василя Стуса:

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
от репрессированного украинского
литератора Стуса В.С.

Настоящим выражаю свое крайнее возмущение преступными действиями украинских кагебистов, которые дошли до зоологической мести репрессированным украинским литераторам.

Как стало известно, львовский кагебист Шумейко в беседе с украинским писателем М. Осадчим, незаконно вывезенным из лагеря в изолятор КГБ, страшил его за несговорчивость всякими неприятными нежиз-

данностями, которые-де могут случиться с заключенным при его возвращении в лагерь.

Обещания кагебиста выполнили уголовники. Когда в начале января с. г. Осадчего бросили в пересыльную тюрьму Потьмы, там его ограбили, а потом тяжело избили находившиеся в одной камере с ним уголовники Бельмесов и Гоцуляк. Четыре дня измывались они над Осадчим, выполняя директиву львовского КГБ, а тюремные власти этого не замечали, хотя избитый Осадчий лежал без сознания.

Еще более возмутительный случай произошел с украинским журналистом В.Чорновилем. На пятый день голодовки, начатой им в изоляторе львовского КГБ, 6 февраля, к нему в камеру ночью ворвались вместе с надзирателями КГБ солдаты МВД и потащили больного на этап. Изможденный голодом Чорновил отказался от поездки, ссылаясь на соответствующее законодательство. Тогда конвоиры схватили его, надели наручники, затолкали в рот кляп и, проволока полуголого по тюремным коридорам, бросили, разбив лицо, в бокс тюремной машины, где он потерял сознание. Придя в сознание, Чорновил просил одежду, но в ответ слышал только глумление. В таком состоянии его продержали несколько часов в промерзшем боксе воронка, а потом, доставив на станцию, провели босиком в одном нижнем белье по снегу к завагону. И только в вагоне ему была брошена одежда.

Подобная физическая расправа становится уже системой.

Два года назад был тяжело ранен известный публицист Валентин Мороз (находится во Владимирской тюрьме). До сих пор содержатся в спецпсихбольнице репрессированные в 1972 году украинцы Лупынос, Ковгар, Плахотнюк, Рубан, Плющ. Брошены в такую же больницу бывшие заключенные Владимирской тюрьмы Красивский и Тереля.

Вызывает большие опасения здоровье украинского

философа В. Лисового, вначале доведенного до нервного истощения, а потом брошенного из зоны в камеру изолятора, где его содержат на голодном пайке. В ПКТ же упрятаны художница С. Шабатура и ученый-микробиолог Н. Строкатая.

Не боясь преувеличений, заявляю, что от подобной расправы до прямого убийства один шаг.

Надо сказать, что такого массированного изуверства не знает демократическое движение никакого другого народа СССР. Подобные традиции сталинщины и бериевщины сильны на Украине, как нигде в стране.

Требую остановить кагебистский произвол и привлечь виновных к уголовной ответственности.

3 марта 1975 года».

Описанное Стусом можно дополнить тем, что Вячеслава на протяжении 8 дней этапировали, перебросив через 3 пересыльных тюрьмы (Харьков, Рузаевка, Потьма), в состоянии голодовки, которую он снял только на 13-е сутки, уже прибыв в зону.

Если здоровый человек, пройдя тяжелые условия этапа, вспоминает о них с содроганием, можно представить, как пришлось больному и обессиленному голодовкой. Кроме Стуса, по поводу издевательств над Чорновилом написали протесты и другие политзаключенные нашей зоны.

ЧОРНОВИЛ:

Собственно говоря, в поступке львовских кагебистов я не вижу ничего экстраординарного. Обозленные на меня за голодовку, они произвольно отпустили тормоза — и проявили свою истинную сущность. Мне же этот садистский эксперимент послужил толчком для окончательного «самоопределения»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ГР. ПОДГОРНОМУ Н. В.

З а я в л е н и е

На протяжении последних 10 лет мое положение в советском обществе определяется не моим образованием, способностями или стремлениями, а диктатом КГБ. За попытку иметь собственное мнение по ряду вопросов советской жизни и откровенно его высказать меня лишили всего: возможности работать по специальности, печататься, неприкосновенности личной жизни, защиты от клеветы и, наконец, на долгие годы лишили свободы.

Репрессивные органы определили мне (как и еще группе лиц из среды украинской интеллигенции) вымышленную ими роль — «вещественного» доказательства истинности сомнительной теории об усилении идейной борьбы и идеологических диверсий в период разрядки международных отношений (эту теорию можно рассматривать как современный вариант сталинского тезиса об усилении классовой борьбы по мере приближения к коммунизму — творческой платформы массовых репрессий 30-40-ых годов).

При искусственном создании моего «дела» КГБ не только прибегло к совершенно фантастической интерпретации действительных фактов, но не остановилось даже перед полной фабрикацией значительной части «обвинения». Прокурор и суд при «рассмотрении» моего дела оказались послушным орудием в руках КГБ, еще раз подтвердив этим условность советских законов и невозможность на них полагаться. Мой арест и осуждение сопровождались травлей моих родных и близких, даже детей, которая не прекращается по настоящее время.

При сохранении существующих сейчас на Украине условий занесения в черные списки, КГБ делает меня жертвой репрессий на всю жизнь, если я откажусь

стать нравственным уродом, а такая возможность для меня исключена.

Поэтому нет никаких гарантий, что после отбытия мной длительного срока заключения КГБ не сфабрикует еще одно «дело» и не бросит меня в третий раз за колючую проволоку.

Поэтому нет никаких гарантий, что при желании меня не объявят сумасшедшим (такие угрозы уже были) и не закроют пожизненно в «палату №6», как сделали это с М. Плахотнюком, В. Рубаном и еще рядом украинцев.

Поэтому нет никаких гарантий, что для сведения счетов со мной не бросят за решетку кого-нибудь из близких мне людей, ибо такие попытки относительно жены и сестры уже делались.

Поэтому, наконец, нет никаких гарантий, что меня не уничтожат физически или умышленно не истребят. Ибо только такими намерениями можно объяснить сцену дикого садизма, устроенную львовскими кагэбистами 11 февраля этого года, когда меня не только выбросили на длительный и тяжелый этап в состоянии, исключающем возможность этапирования, но и подвергли физическим истязаниям: оковали обессиленного голодовкой и больного в наручники, а после этого свыше трех часов держали голого и босого на морозе.

Не желая быть пожизненной жертвой КГБ и прозябать в условиях, при которых элементарные гражданские права и даже моя жизнь подвержены постоянной угрозе, прошу Президиум Верховного Совета лишить меня советского гражданства и после освобождения дать возможность выехать из СССР. Учитывая имеющиеся прецеденты, я не возражаю против досрочного освобождения и выдворения из СССР.

Вместе с тем, не желая духовно разрывать связь со своей Родиной, без которой не мыслю своего существования, я, в случае официального изменения

гражданства, буду продолжать считать себя также гражданином Украины, куда возвращусь, как только украинский патриотизм перестанет считаться преступлением и будет изъят из-под «опеки» КГБ.

Независимо от Вашего ответа, с момента подачи этого заявления, т. е. с 1 марта 1975 года, гражданином СССР себя не считаю. До предоставления мне гражданства (непосредственно или заочно) какой-либо из демократических стран мира, считаю себя лицом без официального гражданства со всеми вытекающими из этого решения последствиями.

Копию этого заявления направляю для сведения в Президиум Верховного Совета Укр.ССР.

1 марта 1975 года.

В. Чорновил.

Одновременно я послал заявление в органы прокуратуры, где уведомил, что с 1-го марта «считаю себя лицом, насильственно удерживаемым в СССР», я также заявил, что «от каких-либо контактов с КГБ (беседы и т. п.) отказываюсь, считая КГБ организацией безнравственной и антиобщественной». Вскоре последовал вызов к уполномоченному КГБ в зоне, лейтенанту Зуйко. Мой отказ разговаривать с ним кагебист прокомментировал так: «Были уже у меня такие, что говорить отказывались, но я им такое сказал, что сразу заговорили. То же и с Вами будет». Как реализуется эта угроза, покажет будущее. Тем временем я обратился к правительству Канады с просьбой предоставить мне канадское гражданство и ходатайствовать о моем освобождении и выезде из СССР. Прошение адресовал канадскому посольству в Москве, но я не сомневаюсь, что начальство его туда не отправит.

ПЭНСОН:

Март на нашем «пяточке» оказался богатым на события. 8-го марта, в связи с Международным годом женщины, мы провели голодовку солидарности с

женщинами-политзаключенными в СССР. В ней приняли участие Айрикян, Аршакян, Залмансон, Кузикс, Стус, Чорновил, я. Паруйр и Азат, кроме того, заявили, что отказываются от лагерных завтраков на весь срок заключения армянской патриотки Анаит Карапетян. Такую же частичную голодовку (отказ от лагерных завтраков) на период с 8 марта до конца 1975 года начал и Вячеслав, требуя освобождения политзаключенных-украинок И. Калинец, Н. Светличной, И. Сеник, Н. Строкатой и С. Шабатуры. Еще несколько человек, хотя не голодали, но также подали петиции протеста в разные инстанции, в частности, в Комитет советских женщин на имя Николаевой-Терешковой. Такие же события происходили и в других мордовских зонах. Это видно и по следующему обращению, подписанному группой политзаключенных всех мужских лагерей Мордовии:

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ МОРДОВИИ В СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ЖЕНЩИНЫ И В КОМИССИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ООН

Решением ООН 1975 год объявлен годом женщины. В связи с этим нам приходится констатировать тот печальный факт, что Советский Союз — одна из немногих стран мира, где еще имеются женщины-политзаключенные. Большинство из них находится по соседству с нами в лагере ЖХ 385/3-4 (Морд. АССР, Теньгушевский р-н, пос. Барашево). Среди нескольких десятков узниц этого лагеря есть женщины, репрессированные за религиозные убеждения, несколько женщин, ставших жертвами массовых репрессий на Украине в 1972 году, есть заключенные с 15-летним и даже с 25-летним сроками. Некоторые женщины, осужден-

матерей с малолетними детьми), периодические тяжелые дисциплинарные наказания — это атрибуты ежедневного быта несчастных узниц. Даже юбилейный женский год здесь отмечается своеобразно: периодическими водворениями в карцер политзаключенных Н. Светличной, И. Калинец, Н. Строкатой, С. Шабатуры и др. за отстаивание своих прав и протесты против своеволия администрации и КГБ. А С. Шабатуру, до ареста члена Союза художников СССР, и научного работника микробиолога Н. Строкату, кроме того, в юбилейном году посадили (первую на 6, вторую на 3 месяца) в ПКТ (помещение камерного типа) — на длительный голод, холод, унижения женского достоинства.

Ставим Вас в известность, что сегодня, в Международный женский день, мы, политзаключенные мужчины, начинаем кампанию солидарности с женщинами-политзаключенными в СССР, включающую политические голодовки, петиции к советским и международным инстанциям и другие мероприятия. В частности, нами будет объявлена политическая голодовка солидарности в день открытия Международного женского конгресса.

Просим поддержать наши требования о немедленном освобождении всех женщин-политзаключенных из советских лагерей и тюрем и о предоставлении желающим из их числа беспрепятственной возможности покинуть с семьями СССР — во избежание дальнейших преследований.

Айрикян, Аршалян, Болонкин, Вильчаускас, Гель, Траур Гимпутас, Долишний, И. Залмансон, Зограбян, Каминский, Караванский, Квецко, Коренблит, Кузикс, Кузнецов, Курчик, Лисовый, Маковичук, Маркосян, Матвиюк, Микитко, Мурженко, Никманис, Овсиенко, Осадчий, Пашинин, Петров, Попадюк, Поулайтис, Пэнсон, Родэ, Романюк, Рудайтис, Саранчук, Сартаков, Симукайтис, Стус, Талмасян, Федоров, Хейфец, Чекалис, Чорновил, Шумук.

8 марта 1975 г.

ные по политическим мотивам, содержатся также в бытовых зонах, среди уголовниц (например, Анаит Карапетян в Армении, Алешкявичуте в Литве и др.).

Женщина-узница — фигура всегда трагическая, живой укор обществу, за что бы ее ни осудили. И уже совершенным анахронизмом представляется в наше время осуждение женщин-матерей, жен, любимых — за убеждения: за несколько написанных стихотворений, за чтение внецензурных материалов, за разговоры со знакомыми, за выступления в защиту других арестованных. На такое не решаются даже некоторые тоталитарные режимы, но именно такова «вина» большинства узниц лагеря 385/3-4. Обращаем Ваше внимание и на условия, в которых содержатся женщины-политзаключенные в СССР. Вывоз за тысячи километров от родины, однообразный изнурительный труд, культурно-национальная и языковая дискриминация, отсутствие надлежащей медицинской помощи, крайне ограниченные контакты с семьями (даже

ПЭНСОН:

С положением женщины-политзаключенной связано и заявление Святослава Караванского, который по дороге из лагеря особого режима в больницу случайно встретился с женой, которую возвращали из ПКТ:

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ МОРДОВСКОГО ОБКОМА КПСС

Следуя этапом со станции Сосновка на станцию Барашево, я встретил в пути свою жену Строкатую Н. А., которая следовала туда же со станции Явас, где она содержалась в лагерной тюрьме. Я едва узнал свою жену, так изменило ее трехмесячное пребывание в ПКТ. Жена страшно исхудала и потеряла голос,

не говоря уже о том, что на нее наложило свою печать состояние непрерывной травли.

За что же жена была посажена на три месяца в лагерную тюрьму? За невыход на работу. Неужели же это такое ужасное преступление?

Содержась в течение двух с половиной лет в лагере Сосновка (учреждение 385/1-6), я наблюдал, какие меры применяются к отказчикам от работы из числа уголовников. Заключение Костиков за два года пребывания в лагере Сосновка ни разу не был на работе. За два года его два раза посадили в ШИЗО по 10 суток каждый раз. Заключение Сигачев, осужденный за целую серию лагерных убийств и за людоедство, не ходит на работу более года, но ни разу не наказывался. По два года не работали и другие уголовники, судившиеся ранее за убийство, но они не подвергаются такой серии наказаний, каким подвергается моя жена.

Стало быть, отказ от работы в учреждении ЖХ-385 (Дубровлаг) для людоедов и убийц не такой уж тяжкий грех, как для вчерашнего врача, научного работника и капитана медицинской службы.

Моя жена — врач с двадцатилетним непрерывным стажем работы. Из них около 10 лет в качестве сельского врача, остальные в качестве сотрудника научно-исследовательского института. Имеет печатные научные работы. Но в женском концлагере Барашево ее рьяно взялись переквалифицировать на швейномотористку...

Моя жена никого не убила, никого не покалечила, никого не жарила на костре. Возможно, это вызывает к ней ненависть и злобу лагерного персонала?

Моей жене остается до освобождения 8 месяцев, после чего она должна продолжать трудовую деятельность. Почему же администрация усердно печется, чтобы из лагеря вышел инвалид, неспособный приносить пользу обществу? Кстати, такому же издевательству, как моя жена, подвергается и член Союза

художников СССР Шабатура С., посаженная за отказ от принудительной работы в лагерную тюрьму на 6 месяцев.

В связи с тем, что на руководство обкома ложится моральная ответственность за все злодеяния, совершающиеся в Дубровлаге, я обращаюсь к вам с просьбой положить конец издевательствам над гражданином СССР, честно проработавшим на пользу общества 20 лет, а теперь отказавшемся от принудительной работы не по специальности.

Считая, что вопрос не терпит отлагательства, прошу как можно скорее сообщить о вашем решении, так как продолжение травли моей жены вынудит меня на крайние меры, вплоть до отказа от гражданства государства, в котором возможно преследовать человека за отказ от принудительного труда не по специальности, что противоречит «Международному пакту о социальных и экономических правах». Подобные факты тем более возмутительны, что все эти издевательства совершаются над женщинами в Международный женский год.

Караванский С. И.

6. 4. 1975 года

ЧОРНОВИЛ:

Прошло несколько дней после голодовки 8 марта, и снова — «чрезвычайное происшествие», вызвавшее наши протесты, как устные (администрации), так и письменные (высшим инстанциям). Вот одно из таких заявлений, дающее представление о происшедшем:

ПРОКУРОРУ МОРДОВСКОЙ АССР

17 марта сего года политзаключенный Аршакян ждал свидания с женой. Об этом он известил администрацию колонии, но, несмотря на это, 16 марта (обратите внимание — воскресенье) в комнатах свиданий внезапно начали ремонт. Жена Аршакяна три дня

ждала в Барашево и, получив отказ из-за «ремонта», 19-го числа отправилась обратно за тысячи километров в Армению. Как впоследствии Аршакиану говорил начальник участка Александров, она просила предоставить хотя бы двухчасовое краткосрочное свидание, но ей отказали и в этом.

Характерно, что того же 19 марта на другой участок третьей колонии был переведен из нашего участка заключенный Скибчик А. Ф. для предоставления ему там длительного (трое суток) свидания.

То, что невозможно было сделать для Аршакиана, оказалось вполне возможным для Скибчика. Это ничем не прикрытое издевательство и беззаконие. Мало того, что нас из Армении привезли сюда, так еще и издеваются над нашими семьями.

Показательно, что сразу же после отъезда жены Аршакиана, 20 марта, «ремонт» был закончен.

Кем и для чего было устроено это представление, сомнения не вызывает.

Этим заявлением я выражаю свой протест, требуя наказания виновных, оплаты всех материальных расходов жены Аршакиана и предоставления ему свидания, положенного по закону.

Для прекращения шовинистических издевательств требую также перевода политзаключенных армян на территорию Армении.

П. Айрикан

24 марта 1975 года.

Сотрудники КГБ, действительные инициаторы издеательства над Аршакианом и его женой (запомнит бедная Каринэ Международный год женщины...), однообразны в приемах. В ноябре 1973 года, узнав о предстоящем приезде моей сестры, они тоже начали накануне «ремонт» в комнатах свиданий, отправив сестру обратно, но вместе с моей сестрой уехали тогда ни с чем нескстати подвернувшиеся родственники ла-

герного «активиста» из полицаев (позже перед ним извинились, дав 6 суток свидания вместо допустимых законом трех).

Здесь же, на «Тройке», «активиста» решили не обижать, чем особо оттенили цинизм ситуации.

ПЭНСОН:

Еще одну обойму петиций нам пришлось выпустить в конце марта в связи с «лечением», которому подвергли тяжело больного (обострение язвы желудка) Василя Стуса. И в медпункте нашей зоны, и в больнице, куда Стуса вынуждены были положить, нет самых распространенных лекарств. Поэтому врач разрешил Стусу получить лекарства (викалин и другие) из дома. Но когда пришла бандероль, вмешалась оперчасть, и лекарства Стусу не выдали, а перепуганный врач начал отказываться от своего разрешения. В своих заявлениях в медотдел управления мы напомнили, что Стус осужден к 5 годам лишения свободы, а не к смертной казни через медленное истребление; обращали внимание на отсутствие в стационарной больнице управления и в лагерных медпунктах даже таких медикаментов, какие имеет каждая уважающая себя сельская больница, протестовали против кагебистских методов врачевания...

* * *

ЧОРНОВИЛ:

Низкое утреннее солнце, заглядывая в окна барака, отбрасывает на стены и на лица спящих длинные тени от забора и вышек. Пронзительный звонок — и начинается еще один лагерный день. Строимся пятерками на утреннюю проверку. Пока надзиратель, запуставшись в подсчетах, начинает сначала, взор блуждает по серой унылой толпе мертвых духовно и полумертвых физически стариков. Выше голов наталкивается на длинный ряд воспитательных лозунгов и фиксирует

давно примелькавшееся: «Осужденный! Делай добро людям — и они тебе ответят тем же», «Каждому осужденному — производительность труда передовиков». И своиравные законы ассоциации воскрешают в памяти знакомое по фильмам и книгам: «Jedem das Seine», «Arbeit macht frei...». «Разойдись!» — обрывает мысль команда, и масса расползается — за утренним черпаком жижи, называемом супом, к оглушительному треску швейных машинок, к оглупляющим мелочам ежедневного жестоко лимитированного быта.

ПЭНСОН:

Впрочем, не утомила ли тебя, мой далекий друг, эта безыскусная хронология лагерных будней? Тем более, что сегодня для такого заинтересованного читателя, как ты, этот архипелаг — уже не *terra incognita*. Надеемся все же, что найдешь в нашем письме новые факты, детали, новые примеры для иллюстрации известных истин, на которые кое-кто у вас пытается закрыть глаза, убаюканный колыбельными песнями опытной пропаганды.

ЧОРНОВИЛ:

И не подумай, что мы хотели напугать твое воображение подборкой ужасов. Отчаянный бросок Саши Романова на колючую проволоку весной 1974 года, издевательство надо мной в феврале этого года, известные уже миру испытания, выпавшие во Владимирской тюрьме на долю Валентина Мороза, — это все-таки лишь исключения, атаквистические проявления. Для ежедневной изуверской жестокости нужна ненависть к жертвам, которой обладали предшественники наших «воспитателей». Сегодняшняя лагерная администрация и ее кагебистские вдохновители нас не любят, так как с нами хлопотно (не то, что с бывшими шуцманами!). Но я не решусь заявить, что нас ненавидят, скорее всего, к нам относятся со служебным рав-

нодушием. Они же понимают, что таких, как мы, много «на свободе» (или, как мы говорим, «в большой зоне»), что мы — лишь жертвы кампании, люди для процента. Так же для процента и для создания видимости деятельного «воспитания» нас периодически наказывают или в каких-то мелочах идут на уступки — «поощряют». Иногда в действиях кагебистов и администрации чувствуется даже неуверенность, компромиссность, вызванная и внутренними, и, может быть, внешними причинами. Не всегда удобно бывает говорить о Чили или Испании — и закручивать гайки в собственных мордовских, владимирских и пермских «заповедниках» для инакомыслящих.

Но когда-то запущенная машина подавления, теряя детали и деформируясь, в силу «инерции стиля» все же продолжает двигаться вперед, вместо горячего пережевывая человеческие судьбы. Долго ли еще?!

1975 год

ЧОРНОВИЛ Вячеслав Максимович — литературный критик и публицист. Родился 1 января 1938 года в селе Ерки Звенигородского района Черкасской области. В 1960 году окончил Киевский университет. Автор сборников документов «Правосудие или рецидив террора» и «Горе от ума». В 1967 году арестован за составление этих сборников и осужден на полтора года. Вторично был арестован и осужден в апреле 1973 года на девять лет строгого режима.

ПЭНСОН Борис Соломонович — художник. Родился в 1946 году в Риге. В 1969 году подал прошение о выезде на постоянное местожительство в Израиль и получил отказ. Участник знаменитого «самолетного» процесса. Был арестован 15 июня 1970 года. В декабре 1970 года был осужден на десять лет строгого режима с конфискацией имущества.

Читайте в седьмом номере «Континента»

прозу

Вас. Гроссмана, И. Гохмана

СТИХИ

И. Бродского (переводы), Н. Коржавина

СТАТЬИ

**Д. Анина, Я. Виньковского,
Э. Ионеско, В. Розанова,
А. Сахарова, В. Спарре,
А. Терца, о. П. Флоренского,
Л. Шестова, Э. Штейна, К. Штрёма**

Восточноевропейский диалог

Доминик М о р а в с к и й

СЛОВАКИЯ: МОДЕЛЬ КОВАРНОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ ВЕРЫ

Монсиньор Павел Хнилица, словацкий иезуит, бывший узник концлагерей, в 1951 году тайно посвященный в сан епископа, был призван к бегству на Запад и в 1953 г. нелегально покинул родину. В настоящее время живет в Риме. На Ватиканском соборе папа Иоанн XXIII раскрыл тайну посвящения Павла Хнилицы в сан епископа. Павел Хнилица, как и украинский кардинал Слипый, как покойные кардиналы Миндсенти и Беран (Прага), принадлежит к числу церковных иерархов, ненавидимых коммунистами, которые предпочитают немногочисленных епископов, не обладающих достаточной моральной силой, трусливых, услужливых или скомпрометированных у своих народов, а, следовательно, поддающихся шантажу. Коммунисты глубоко ошибаются, когда приписывают мужественным иерархам Церкви политическую роль. Монсиньор Хнилица не занимается дипломатией, он ограничивается духовной деятельностью, являясь одним из наиболее опытных знатоков современного воинствующего атеизма и проблем Церкви, угнетаемой в коммунистических странах, прежде всего, в Чехословакии. На протяжении многих лет он руководит в Риме деятельностью общества «Pro fratribus» («Для наших преследуемых братьев, для наших братьев-атеистов»). Это общество ищет пути христианского решения проблемы воинствующего атеизма. Информировует общественное мнение о положении Церк-

ви, повсюду, где ее преследуют: в Чехословакии, Венгрии, Литве, на Украине, в России. Публикует сведения, почерпнутые из «Самиздата», высказывания православного писателя Анатолия Левитина-Краснова, призывы об освобождении Владимира Буковского и других русских диссидентов. Напоминает о великом вкладе, который Церковь Молчания, своими жертвами вносит ежедневно в дело спасения человечества.

Общество ставит своей целью и «возвращение в лоно Церкви братьев-атеистов, увязывая свидетельство преследуемых с нашей молитвой и жертвой». Выступая в соборе Св. Петра перед словацкими эмигрантами, собравшимися со всего мира в Риме по случаю Святого Года, епископ Хнилища сказал:

«Когда я вместе с 700 монахами и верующими мирянами находился в концлагере, нас мучали холод, голод и скверное отношение охраны, но больше всего мы терпели от ненависти безбожников по отношению к нам, к нашему избранничеству, от проклятий по адресу всех наших святых: Бога, Богородицы и Святого Отца... Мы принесли тогда в жертву наши мучения и молитвы за их обращение... Мы принесли себя в жертву прежде всего Богородице, прося Ее спасти наших преследователей. Могу сказать вам, что многие обращались и тайно приходили к нам исповедываться... В нашей стране тысячи священников и монахов находятся в концлагерях и тюрьмах, все за единственную «вину» — за веру в Бога и желание жить по-христиански. Но все эти мучения не напрасны. Христос по-прежнему терпит в своих братьях, которых преследуют. Христос продолжает свое дело примирения... Я прошу вас помнить в ваших молитвах о преследователях, которые ненавидят Христа и воюют с ним... Мы знаем «великое обещание» Фатимы относительно обращения России и атеистов. Богородица призвала весь мир молиться за тех, кто не молится, любить тех, кто не любит. Это акт примирения... Девизом

нынешнего Святого Года Папа выбрал — примирение... Обращение России и атеистов не зависит от препятствий, воздвигаемых врагами Бога, оно зависит от нашего христианского и миссионерского пыла. Пожертвуем это паломничество и эти молитвы обращению безбожников и обращению России... В Братиславе атеисты, чиновники Комитета по церковным делам, провели в нынешнем году «ревизию» молитв и изъяли следующие: за нехристиан, за неверующих и за евреев. Быть может, эти молитвы показались особенно опасными для режима? А может быть, наши братья-атеисты боятся, что «кто-нибудь» действительно услышит эти молитвы? Думая, очевидно, что молитвы могут иметь некоторое действие, была изъята также молитва за евреев, их врагов...

Мы публикуем текст, написанный епископом Хнилицей специально для «Континента».

«Атеистический коммунизм — страшная опасность, нависшая над всем человечеством» (Павел VI)

Вот уже почти век человечество безвольно, как загнипнотизированное, стоит перед лицом распространения «зла», выступившего вначале в форме теоретической, на Западе, а затем воплотившегося на Востоке, отождествившись с атеистическим коммунизмом. С того времени этой зловещей силе удалось проникнуть всюду и овладеть многочисленными человеческими умами, ослепляя иллюзорными обещаниями.

Сегодня она представляется «абстрактной», оторванной от страстей, стимулов и индивидуальных человеческих чувств;

она поднята в сверхчеловеческие сферы, где уничтожены, запутаны или преображены все духовные и моральные ценности;

она обладает своей «религией», представляющей собой полный отказ от моральных основ не только христианства, но всех других религий;

она не признает никакого права, кроме собственного, основанного на принципе: все средства допустимы для достижения своих целей — не только ликвидация противников и обращение в рабство целых народов, но и опутывание душ и обман собственных сторонников, путем создания и инспирирования движений, основанных на лжи и обмане;

цель этого дела — торжество Великой Лжи.

Римские папы первыми начали предостерегать о приближающейся огромной опасности, первыми забили тревогу.

Первым выступил в 1846 г. Пий IX. В энциклике «*Qui pluribus*» он предостерегал: «Знайте все, что в наше время началась страшная война против всего христианского... Враги правды и света, опытные мастера обмана, стремятся погасить в душах чувства жалости, справедливости и честности, опрокинуть все божественные и человеческие права... К этому стремится та несчастная, противоречащая естественным правам, доктрина, называемая коммунизмом...» Этот же папа в 1864 г. предостерегал верующих от коммунизма, называя его «фатальной ошибкой». Так же однозначно звучали слова Льва XIII в энциклике «*Quod Apostolici Muneris*» от 1878 г., в которой констатировалось вызывающее тревогу усиление коммунистической опасности: «...С первых дней нашего понтификата мы указывали на смертоносную заразу, распространяющуюся в обществе, грозящую смертельной опасностью и гибелью... Легко понять, что мы говорим о секте тех, кто называет себя коммунистами и, выступая открыто, стремится подорвать самые основы человеческого общества». Спустя 59 лет Пий XI оглашает энциклику «*Divini Redemptoris*» — сегодня драматически актуальную, а в то время казавшуюся только пророческой: «Коммунизм, — подчеркивал Пий XI, — коварен по своей природе и нельзя допустить сотрудничества с ним ни в одной области со сто-

роны тех, кто хочет спасти христианскую цивилизацию. Те же, кто, заблудившись, будут содействовать победе коммунизма в своей стране, первыми падут жертвой своей ошибки... Впервые в истории мы видим хладнокровно подготовленную борьбу человека с божеским... Такое быстрое распространение коммунистических идей, проникающих в страны большие и малые, в развитые и слаборазвитые, объясняется дьявольской пропагандой, подобной которой мир никогда не видел... Настоящий заговор молчания значительной части мировой печати оказывает помощь в распространении коммунизма».

Произведения Пия XII, его выступления, послания по радио, а в особенности отлучение коммунизма, способствовали окончательному разделению «сферы Христа от сферы его противников» (13.VII.1949). И папа Иоанн XXIII призывал верных «быть бдительными и осознать западни врагов Бога, быть готовыми защищать христианские принципы». 26.IX.1959 г. он напомнил об абсолютном несоответствии христианства и коммунизма: «Мы будем решительно и точно продолжать подчеркивать это несоответствие». Наконец, папа Павел VI подтвердил осуждение марксизма и коммунизма в общей сложности в 75 документах, не оставляющих никакого сомнения относительно неизменной и решительной позиции Церкви и Апостольской Столицы. В обращении ко всему миру Папа призывал реагировать на эту ошибку «немедленно, сегодня, ибо завтра может быть слишком поздно» (1.IX.1963). Обращаясь к иезуитам 7.V.1965, Павел VI сказал: «Мы намерены говорить о страшной опасности, нависшей над всем человечеством, то есть об атеизме. Она проявляется и распространяется разным образом, принимая различные формы. Самой страшной из этих форм является воинствующее безбожие, не ограничивающееся отрицанием существования Бога мыслью и поведением, но берущееся за оружие против деизма

с целью истребления всех религиозных чувств и ценностей...»

В римских катакомбах св. Каликста, в месте мученичества христиан, Павел VI сказал: «Мы думаем о тех частях Всеобщей Церкви, которые по сей день живут в катакомбах. Фактическая аналогия между преследуемой Церковью, терпящей, или едва терпимой и подвергающейся нападкам, в странах с атеистическим и тоталитарным режимом, и Церковью древних катакомб очевидна. Одинаковы мотивы их сопротивления: защита Правды и одновременно требование для каждого человека права на самостоятельность и свободу, прежде всего в основной области совести и религии. Одинаковы и стремления старых и современных гонителей, стремящихся физической силой или нажимом судебного либо административного аппарата подавить каждое проявление инакомыслия».

Одновременно в странах еще свободного мира коммунизм ведет свою кампанию проникновения, разложения и раскола, иногда открыто, иногда камуфлируясь, пролезая всюду: в города и села, в учреждения и семьи. Цель — не только уничтожение в обществе религиозной памяти. Она значительно более широка и глубока: нанести удар по образу Бога в человеке!

В странах, находящихся под властью коммунистов, преследования Церкви достигли высшей точки, несмотря на маски псевдоразрядки и «диалогов». Секрет успехов коммунизма в мире в области чисто человеческой заключается в тактике, разработанной «великим воспитателем масс» Лениным. Он воспитал массы в ненависти, лжи, обмане, двойной игре, уклончивости, компромиссах и маскировании. Борьба коммунистических режимов с Церковью ведется по определенным схемам, разработанным отдельно для каждой страны. Выбор и использование той или иной схемы зависит, прежде всего, от интенсивности религиозной жизни данного народа (его сопротивления

антирелигиозной пропаганде) и от реакции, какую борьба может вызвать за границей. Коммунизм, уважающий только силу, высоко ценит организационную силу Церкви, признает ее противником, с которым трудно воевать в лобовую. Поэтому он стремится к разложению церковных структур изнутри. В письмах Горькому на Капри в 1912 г. Ленин писал: для радикального уничтожения религии необходимо атаковать ее изнутри, вызывая усобицы и отступничество среди верующих. Необходимо, — продолжал Ленин, — сеять смуту, сомнения, неуверенность, порождая, наконец, отказ от веры.

Коммунистическая тактика ставит перед собой следующие, точно определенные цели:

1. Ликвидация унии с Римом, разрывающая контакты иерархов с центром католицизма; одновременно использование политических и пропагандных маневров для подрыва доверия священников и паствы к Папе;
2. разрушение единства среди епископов;
3. разрушение единства между епископами и священниками;
4. разрушение единства среди священников;
5. разрушение единства между священниками и верующими.

Разработанные Москвой директивы, обязательные для режимов государств-сателлитов, требуют проведения антирелигиозной кампании таким образом, чтобы не задевать слишком сильно чувств населения и по возможности избегать обострения внутреннего сопротивления. Директивы указывают, что с Церковью следует бороться не на чисто религиозной платформе, а на платформе общественной и политической, обвиняя, в частности, Церковь и ее представителей в антисоциальных, антинародных и антиморальных преступлениях. Этой цели служат показательные процессы, в ходе которых обвиняются и осуждаются наиболее

влиятельные епископы и монахи, известные своей решительной позицией в деле защиты религии. Достаточно напомнить, что в 1948-70 гг. в Чехословакии, Литве, Венгрии и Польше имело место 263 процесса. Все эти процессы ставили перед собой одну цель: скомпрометировать Церковь и духовенство.

Стремясь к расколу церковной организации изнутри, коммунистические режимы использовали и используют тактику разделения клира по политическим и общественным вопросам. По этим вопросам, не касающимся непосредственно веры, легче разделить клир и, разжигая среди священников «классовую борьбу», искусственно вызвать зависть и раздоры между «верхними» и «нижними» слоями клира. Таким образом, были созданы и функционируют разного рода коммунистические «троянские кони», как «ксендзы-патриоты», «ксендзы-защитники мира», ксендзы, входящие в организацию «ПАКС» в Польше, в движение «*Rasem in terris*» в Чехословакии.

Чехословацкое «движение» представляет собой типичный образец этого рода. В его уставе, в частности, говорится: «§7. Задачей членов движения «*Rasem in terris*» является воспитание верующих в духе положительного отношения к социалистическому государству. §12. Движение устанавливает связи с другими католическими организациями, борющимися за мир за границей, прежде всего, в социалистических странах. §33. Движение имеет доверенных людей в приходах и деканатах». Совершенно очевидно, что речь идет о послушном орудии в руках коммунистического режима, использующего его для следующих целей: контролирование иерархии и клира; шпионская деятельность против епископов, духовенства, недостаточно преданного правительству; разложение церкви изнутри; материальное разложение духовенства посредством определенных экономических условий (в Чехословакии клир не располагает никакими средствами, кроме государ-

ственного жалования, выплачиваемого правительством); создание под фальшивой вывеской мира своего рода «интернационала» духовенства, подчиненного коммунистическим партиям и выполняющего определенные задания за границей. Движение «*Rasem in terris*» хотя и объявляет себя послушным иерархии, в действительности же стремится не только к установлению над ней своего непосредственного контроля, но и просто к лишению ее авторитета на разных участках папской деятельности и подрыву авторитета в глазах клира и верующих. Деятельность «*Rasem in terris*» иногда облегчается некоторыми инициативами малоудачного свойства, например, т. н. «диалогом» между католиками и марксистами. Католики — участники «диалога» — приезжали с Запада, как правило, хорошо подготовленные теоретически, но, за очень небольшими исключениями, отличавшиеся полным неведением в вопросах практических. При направлении их на встречу совершенно не учитывался тот факт, что ныне для марксистов, стоящих у власти, проблемы доктрины перестали играть важное значение. В дискуссиях и переговорах с марксистами важно не столько умение спорить с ними по теоретическим вопросам, сколько, прежде всего, умение хорошо разбираться в тактике защиты атеистическо-марксистской системы, меняющейся в зависимости от страны, ситуации и случая.

Папа, в бытность его еще миланским архиепископом, успехи марксизма объяснял путаницей в понятиях, преобладающей в общественном мнении. 4 сентября 1956 г. он указывал: «Вместо того, чтобы утверждать собственные идеи по отношению к другим, принимаются в качестве собственных чужие идеи. Мы не обращаем, а позволяем, чтобы нас обращали. Перед нами явление, противоположное апостольскому призванию. Капитуляция маскируется фразеологией...» Позднее, уже будучи папой Павлом VI, он

настойчиво уточнял: «Диалог не может стать тактической западней; он не может представлять собой уступки католиков, отказа их от своих принципов, он не может заключаться в покорном и наивном принятии идей противника... Поэтому мы призываем вас твердо придерживаться своих взглядов и убеждений, оставаться на них» (19.3.1965).

Это поучение Верховного Пастыря имеет значение для всех христиан, пионеров диалога в угнетенных странах, но прежде всего оно имеет значение сегодня для христиан, католиков и некатоликов, в Чехословакии.»

Павел Хнилица

* * *

В последнее время все чаще говорят о защите гражданских и человеческих прав. Связано это прежде всего с конференцией по вопросу безопасности в Европе в Хельсинки. Западные предложения, касающиеся, в частности, свободного обмена идеями, информацией и людьми, встречают сопротивление со стороны СССР и стран-сателлитов Восточной Европы. Есть основания опасаться, что Запад удовлетворится кажущимися и второстепенными, не имеющими практического значения уступками советской стороны. Государства советского блока заинтересованы в интенсификации торговли с развитыми капиталистическими странами, нуждаются в помощи современной технологии, но боятся идеологической «заразы». Поэтому советский блок упорно выступает против подлинной либерализации личных и культурных связей с западным миром, препятствует свободному доступу информации. Поэтому продолжается практика дискриминации.

Наряду с Литвой и Украиной (не говоря, конечно, о других советских республиках), наиболее тяжелое

положение в этом отношении сложилось в Чехословакии. Коммунистические лидеры убедились, что свободное столкновение идей привело к «пражской весне», к компрометации советского варианта «социализма». В тот период многие приверженцы марксизма «заразились» идеями свободы. Этим объясняется полный крах встречи между марксистами и католиками, организованной в Австрии и ФРГ «Обществом Павла». Сегодня, точно так же, как и в сталинское время, коммунистическими властями строго контролируются личные и туристские контакты, обмен студентами, артистами и учеными. Обмен и контакты искусственно ограничиваются, отбираются с учетом единственного критерия — государственной (то есть коммунистической партии) пользы. Положение в Чехословакии особенно драматично, ибо почти все крупнейшие деятели культуры, науки, искусства принуждены к молчанию, они вынуждены искать любую работу, часто физическую. Драматичность положения видна на примере судьбы католической Церкви и верующих. На Западе охотно принимают на веру полуправды или просто ложь, фабрикуемые управлением дезинформации при госбезопасности и распространяемые «полезными идиотами», то есть сторонниками коммунизма и разного рода одурманенными марксистами. Их много на Западе, где свобода часто граничит с невежеством и абсурдом. Необходимо, следовательно, прилагать все усилия, чтобы приподнять завесу распространенных ложных мнений, беспрепятственно пропагандирующих картину, которую хочет представить на Западе чехословацкий режим.

В рамках Чехословацкой республики особенно тяжелым является положение в Словакии (в Чехии и Моравии католики составляют около 50% населения, в Словакии — почти 90%). Католицизм в Словакии не только превосходит чешский и моравский в численном отношении, он — более жизнотворный, будучи важ-

ным традиционным общественным и национальным фактором. В Словакии, следовательно, сильнее сопротивление, но одновременно и преследования носят более беспощадный характер.

Назначения духовных лиц и вся пастырская деятельность подчиняется государственным указам и строгому контролю отделов по церковным делам, подчиненных Министерству культуры и отделам культуры в повятовых и региональных народных советах. Из 7 диоцезий ординарные епископы имеются только в двух, в остальных — апостольские администраторы или капитульные викарии. Несколько десятков священников лишены права исполнять свои духовные функции; в духовных семинариях установлена процентная норма, городские монашеские общества не разрешены законом: разогнаны и не имеют права никого принимать в монастырь; монашенки лишь в исключительных случаях могут работать в старческих домах, в домах для психических и физических инвалидов, они не имеют права жить вместе. Монастыри, следовательно, обречены на медленную смерть. Многие священники и монахи арестованы и заключены в лагеря принудительного труда. Преподавание религии подвержено юридическим ограничениям и административным нормам, которыми по своему желанию манипулируют государственные органы. Родители, посылающие своих детей на уроки закона Божьего, систематически запугиваются, подвергаются репрессиям и дискриминации на предприятиях, на которых работают.

Церковная пристройка коммунистической партии

Для разложения Церкви изнутри, для разжигания раздоров и недоверия между епископами, ксендзами и верующими используется множество средств. Наиболее коварным и действенным оказалось «движение ксендзов в защиту мира», которое после подавления

в 1968 г. эксперимента Дубчека стало называться обществом «*Rasem in terris*» («Мир на земле»). Уже в самом этом названии видно все отвратительное коварство коммунистов: обществу дано название знаменитой энциклики папы Иоанна XXIII (все коммунистические режимы, включая и польский, «полюбили» этого Папу после его смерти). В общество «*Rasem in terris*», названное епископом Хнилицей «троянским конем», входит немало духовных лиц и даже некоторые епископы (один из них — епископ Врана был даже председателем общества, но после посвящения в епископский сан под нажимом Ватикана ушел с поста председателя, оставшись активным членом организации). Члены «*Rasem in terris*» — люди неустойчивые, запуганные, оппортунисты, с очень гибким моральным хребтом, а нередко вдобавок и шантажируемые. Общество — просто-напросто церковная пристройка коммунистической партии. В феврале нынешнего года накануне визита в Прагу представителя Ватикана монсиньора Казаролли министр культуры Чехословакии Ключак, выступая на съезде общества, предупредил Апостольскую Столицу: «Мы не потерпим политической дискриминации по отношению к искренним священникам, входящим в состав вашего общества и предпочтения их тем, кто не в состоянии положительно отнестись к нашему социалистическому строю и вредит ему... Мы собираемся вести переговоры на темы, касающиеся наших внутренних дел. Основы нашей церковной политики останутся неизменными и в будущем».

Можно ли выразиться яснее? «Хорошие» священники — это те, которые по тем или иным причинам сдались насилию, а «плохие» — это те, которые решили сохранить свое личное достоинство и отказались от гнилого компромисса с режимом. Но раздаются голоса, разрушающие этот фронт оппортунизма и страха. В октябре 1974 г. в Кошицах, на собрании

словацкого отделения общества «Pacem in terris» выступил священник Алойз Ткач. Он обратился к своим братьям-священникам в присутствии районного секретаря по церковным делам, что требовало, несмотря на осторожность оратора, немало мужества:

«...Мы живем в социалистическом государстве, в котором права верующих гарантированы законом. Поэтому помните об этих законах, касающихся религиозной жизни, относящихся к верующим и к нам самим! Наша Республика подписала Всеобщую Декларацию прав человека, охраняющую свободу религии и совести... Их гарантирует и наша Конституция... Председатель Национального Фронта д-р Густав Гусак (генеральный секретарь ЦК партии) говорил: «Свобода религии является одним из конституционных прав нашего общества... Мы, коммунисты, уважаем религиозные чувства граждан...» § 236 Уголовного кодекса гласит: «Кто с помощью насилия или угрозы применения насилия делает невозможным для других отправление религиозного культа или иным образом мешает пользоваться свободой совести, наказывается лишением свободы на срок от года до пяти лет...» Мы не можем, следовательно, страдать комплексом бесполезности, как если бы наша вера и религиозные убеждения только терпелись. Наоборот, мы должны воспитывать в наших сердцах сознание верующего гражданина, являющегося составной и конструктивной частью социалистического общества... Следовательно, долой пораженчество!.. Директивы, изданные министром культуры словацкой республики, гарантируют преподавание религии, организуемое церковью и монашескими орденами. Эти директивы, в особенности касающиеся записи детей на уроки религии, нарушаются. Созданы специальные группы, получившие задание не только мешать детям, но и терроризировать родителей, не позволяя им записывать детей на уроки религии... Под разными предлогами

у родителей отказываются принимать заявления. Им угрожают: «Вы хотите, чтобы вашего ребенка не приняли в вуз? Вы хотите погубить будущее вашего ребенка?» Методы некоторых учителей грубы, вызывающи (некоторые рвут заявления или выбрасывают их в мусорный ящик), нарушают закон, глубоко оскорбительны для достоинства верующих граждан. Детей, посещающих уроки религии, часто исключают из кружков, не допускают к участию в общественных мероприятиях, не принимают в пионерскую организацию, требуя предварительного отказа от записи на уроки религии. Кампания по борьбе с детьми, посещающими уроки религии, продолжается весь школьный год. Таким образом, ежегодно и родители, и дети переживают мучения. Это — мученики! Как же это примирить с декларациями и директивами, о которых я говорил? Даже если бы факты этого рода были немногочисленными и редкими, мы не могли бы молчать. К сожалению — это повседневные факты. Известно, что число детей, записавшихся на уроки религии, невелико. Следует ли отсюда сделать вывод, что родители и дети перестали верить и стали атеистами? Безусловно, нет. Это лишь результат естественного страха человека, думающего о своем будущем. У верующих граждан отбивают охоту к соблюдению религиозных обязанностей, к соблюдению обрядов, к оказанию последней услуги тяжело больным и умирающим — священники могут приносить святыне дары только тайком. Царит атмосфера страха и отчаяния. Многие тяжелейшим образом переживают этот психический нажим. Все чаще случаи нервных заболеваний. Войдите в положение верующих! Мы должны делить с ними их горе и защищать их. Они ждут от нас этого, от нас — их духовных руководителей.

Фабрикаруя ложные обвинения, священников лишают права исполнять пастырские обязанности. До сих пор не решен вопрос нашего собрата священника Ур-

банеца, уже 2 года работающего шофером в колхозе, несмотря на то, что официально государственное разрешение на пастырскую деятельность у него не отобрано. Честь другого достойного священника, находящегося на пороге пенсионного возраста, была оскорблена привлечением его к судебной ответственности в результате лживого обвинения в позорном преступлении. Несмотря на то, что невиновность его была доказана двумя судебными инстанциями, он не был публично реабилитирован, ему запрещен вход в церковь, запрещено отправлять службу, его вынудили покинуть приход! Разве это нас не касается? Если так — это было бы трагично! Вот уже 4 месяца 15 священников ожидают в нетерпении декрета о своем назначении. Ведь другие граждане, закончившие высшее учебное заведение, получают немедленно назначение на работу!

Во многих приходах по-прежнему нет священников. Некоторые храмы в скором времени предполагают превратить в пожарные депо, в склады. И это несмотря на решительное сопротивление граждан! Здания эти были построены благодаря денежным взносам достойных, скромных людей, работающих в коллективных хозяйствах или на предприятиях... И речи нет о разрешении на постройку новых храмов... Есть много и других болезненных проблем, но я предпочел бы, чтобы другие высказались о них».

Самый опасный человек в Словакии

Самым убедительным примером преследований, которым подвергается в Чехословакии церковь, примером неудержимого процесса разложения церковной структуры и борьбы с религией, является дело священника Виктора Трестенского, которого государственные власти лишили права исполнять пастырские обязанности. С 30 января до конца мая 1974 г. продолжался обмен писем между разными государственными

учреждениями (от местных до самого президента республики) и бесстрашным священником. Результат можно было предвидеть заранее: Виктор Трестенский выброшен за борт жизни, превращен в существо бесполезное, лишенное человеческого и гражданского достоинства. У него отобран смысл жизни. И это не единичный случай. Подобных случаев — сотни. Но ни в одном из них не проявился так ярко контраст между бездушной, более того, бесчеловечной природой коммунистической бюрократии и одинокой борьбой человека с сильным характером, не позволившего сломать себя. Священника Виктора Трестенского называют сегодня «словацким Солженицыным». Не потому, конечно, что он обладает писательским талантом, равным таланту Солженицына, но за его отвагу и твердость. Документы, которые мы излагаем, дают представление о юридических, политических, психологических и культурных аспектах положения, описывают конкретное положение и климат, в котором идет истребление Церкви и религии в Чехословакии, прежде всего в Словакии.

Предупрежденный о лишении его государственного разрешения, Виктор Трестенский, приходской священник в Старой Любовне (восточная Словакия), в прощальной проповеди сказал:

«Я обвинен в том, что выступаю против атеизма, в том, что на Рождество раздаю подарки старикам и больным, прихожу с визитом к прихожанам, во время которых поются колядки, я обвинен в том, что даю работу монахиням, что мне прислуживают во время мессы... Я назван самым опасным индивидуумом в восточной Словакии... Я обращаюсь к вам, я хочу, чтобы вы знали, когда я буду вынужден отсюда уйти, что я не преступник и не опасный человек. А так кто-нибудь может подумать, ибо слишком легко расходятся слухи, когда случается, что неожиданно арестовывают священника. О нем публикуется разного рода

информация, а он не имеет возможности защищаться. Я повторяю: за все то время, что я был в Любовне, я не сделал ничего против государства, я не организовывал никакой антипартийной группы, я не произнес ни одного слова против морали и вы хорошо об этом знаете...

Я могу без опаски смотреть прямо в глаза каждому, в том числе и тем, кто изображает меня сегодня опасным человеком. Это абсурд. Я не выступал против атеистов и коммунистов. Я говорил об учении Христа. Потому что я считаю недостойным человека, а тем более священника, имитировать атеистов, воюющих с верой и религией, не ограничивающихся в газетах, радио, телевидении, на партийных собраниях и нападками на религию и ее осуждением, но ведущих также беспощадную борьбу с верующими. Об этом свидетельствуют угрозы по адресу родителей, посылающих детей на уроки Закона Божьего, отказ принимать этих детей в среднюю школу, что вынуждает их оставаться чернорабочими. Это оскорбление рабочего класса. Верующим, выполняющим религиозные обряды, грозят увольнением с работы. Подвергаются контролю те, кто ходит на мессу, крестит детей, заключает церковный брак и так далее. В каждой своей проповеди я не переставал повторять: любите и врагов своих, помогайте каждому, в каждом человеке вы должны видеть близкого, брата... Я поступаю в соответствии со словами св. Августина: «Ненавидьте ошибку и грех, любите человека!» Свидетельством моей любви к жителям Любовны может быть и тот факт, что за четыре года моей работы среди вас, я ни разу не встретил презрительного взгляда, свидетельствовавшего бы, что кто-то меня ненавидит. А ведь здесь живут люди разные: верующие и неверующие, люди разных национальностей. Но никто никогда не оскорбил меня. Это также свидетельствует и о том, что я не сеял раздоров. После четырех лет работы я

могу сказать, что есть и моя заслуга в том, что в жизни Любовны не произошло ничего, нарушившего бы спокойствие и общественный порядок. Сотрудники полиции и секретной службы безопасности, здесь наверняка присутствующие, могут сказать, что у них не было трудностей с верующими...

Четыре года за мной следили, кружили вокруг моего дома, — я не слеп и по опыту знаю, как в таких случаях поступают, — меня контролировали люди, навещавшие меня и мой телефон: четыре раза без моего ведома и согласия, разбирали мой телефон, наверняка не для того, чтобы его чинить. Но ведь не было найдено ничего, что свидетельствовало бы о моей антигосударственной деятельности... Что же касается раздачи рождественских посылок, то это правда. Когда у меня появлялись возможности, я посылал посылки-подарки старикам и больным, без всяких, конечно, пропагандных целей, а желая только оказать им внимание, посочувствовать. Тот, кто обвиняет меня в пропаганде, не понимает людей и я не желаю ему оказаться когда-нибудь больным стариком без всякой помощи. Я не злорадствую, я от всей души желаю моим обвинителям научиться настоящему отношению к людям, особенно к старикам и больным. Можно быть Ротшильдом или Рокфеллером, но если нет вокруг тебя человеческих чувств, богатство не представляет никакой ценности. Именно эти чувства я и хотел проявить своими подарками... Я признаю также, что обходил дома, распевая рождественские колядки. Я делал это потому, что многие из вас меня об этом просили. Я пошел только туда, куда меня позвали, не красуюсь, выполняя лишь религиозный обряд, рекомендуемый Церковью, пошел в сопровождении дьячка и певчих. Совсем не для того, чтобы мутить верующих. Туда, куда меня не звали, я не ходил. Я ничего не добивался и отказался от денег, которые мне предлагали... Что же касается монахинь,

которых я должен был уволить, мною написана уже давно жалоба. Мне ответили, что пока для них не найдется работа в домах призрения, они могут остаться. Эти наши монахини, занимающиеся церковью и приходским домом, перестали даже носить монашеские одежды, чтобы их не обвиняли в провоцировании людей! Ведь и они имеют право жить, и они свободные гражданки, причем две из них больны и на склоне лет. Если они могут выполнять полезную работу, то почему нам следует их оттолкнуть? Хорошо было бы если бы все граждане были такими же честными и трудолюбивыми, как эти монахини! Тогда не понадобились бы полицейские и тюремные надзиратели...

Пока же я знаю, что меня удаляют отсюда. Но я не боюсь. Я научился жить в лагерях и бараках. Конечно, я с удовольствием нахожусь в хорошей комнате, но я буду также доволен, если мне придется где-нибудь жить в лохмотьях. Не в этом дело. Дело в правде, потому, что кто не любит правды, напрасно старается построить государство. Ни пушки, ни другое смертоносное оружие не могут спасти государства и народы, спасти их может только правда. Так говорил Иоанн XXIII. Я стремлюсь только к правде и поэтому говорю так: помните, когда я вынужден буду вас покинуть, что уйду не как преступник, не как убийца, опасный для общества. Я люблю это государство и родину: если бы не любил, я бы не вернулся в Словакию. Два раза я был за границей, приглашенный родственниками: в Вене, Риме, Париже. Моя сестра приглашала меня в Америку, братья-священники зывали ко мне, чтобы я остался на Западе. Я ответил им: я словак, никому не причинил зла, никого не обидел, я хочу жить среди моего народа, потому что люблю родину и нужен ей. Я вернулся без каких-нибудь тайных намерений...

...Я не на словах, как это часто бывает, провозглашаю мир, честность и моральность, а всей своей

жизнью, всей моей деятельностью. Такова правда!..

Когда явится к вам новый настоятель — власти, наверное, уже назначили моего преемника — уважайте его. Даже если жизнь его будет не такой, какой она должна быть, имейте к нему уважение, молитесь за него... Божья любовь побудит вас к любви к ближнему и родине, ибо правду сказал Паскаль: «Кто уничтожает основы морали и религии, уничтожает государство». Если бы мы с вами отказались от Бога, мы способствовали бы уничтожению государства и родины. Выполняйте законы Божьи, я буду молиться за вас, чтобы вы были к этому способны...

Я прощаю вас и прошу у вас прощения, если причинил вам зло. Я прошу также тех, кто причиняет мне зло, чтобы они не поступали так по отношению к моему преемнику. Я прощаю их и буду за них молиться, ибо поступают они либо по невежеству, либо по неведомым мне мотивам, за что придется им отвечать перед собственной совестью».

Все жалобы на несправедливое решение, посланные священником Трестенским сначала в совет, потом президенту республики, были отвергнуты на основании декретов о государственных назначениях и норм, регулирующих пастырскую деятельность. В апелляционной жалобе, отправленной президенту республики в Прагу, Трестенский, в частности, писал:

«Я не прошу о помиловании, потому что я не совершил никакой вины, заслуживающей наказания... Я родился в бедной крестьянской семье младшим из 9 детей и меня радует, что сегодня наши граждане с материальной точки зрения живут лучше, чем раньше. Но я всегда помню слова Христа: «Не единым хлебом жив человек, но и словом Божиим...» Палач польского народа, нацист Ганс Франк перед смертью сказал покаянно: «Мы отвергли Бога и Бог отверг нас, поэтому мы стали преступниками». Подобные слова произнес верующий еврей Альберт Эйнштейн: «Без религии мир

погрузится в варварство». Задолго до него то же самое писал Лев Толстой: «Тот, кто хочет утверждать в мире мораль без религии, подобен ребенку, который хочет пересадить цветок, оторвав его от стебля». ...Мы печатаем резолюции и протестуем против нарушения прав человека в Чили, Испании, Вьетнаме, США... И хорошо делаем, потому что нужно осуждать и клеймить угнетение человека. Никто из нас не одобряет преступлений чилийской хунты. Но разве мы не должны в такой же самой мере осуждать деятельность наших усердных чиновников, которые не из любви к родине, а по совершенно другим причинам, мешают консолидации общественных отношений в стране и дают нашим врагам оружие, используемое против нашего строя? Раньше факты безосновательного лишения пастырей права исполнять свои обязанности (два до 1968 г. и три в последние годы на территории нашего маленького повята), нежелание назначать священников в пустующие приходы, вмешательство во внутренние дела Церкви не имели отклика за границей. Но сейчас мы уже не так изолированы, как раньше. Каждая информация, в особенности самые плохие, расходятся с быстротой молнии... Поэтому мне трудно понять отрицательный ответ на мою жалобу генерального секретаря партии Густава Гусака. Теперь мне не остается ничего другого, как обратиться в ООН или в Международный суд в Гааге. А может быть, мне следует последовать примеру буддийских монахов во Вьетнаме и превратиться в живой факел? Если бы я не был священником и не обладал живой верой в Бога и Его справедливость, я сделал бы это.

Терпеливо и в духе христианского смирения перед волей Божьей я буду ждать восхода солнца справедливости для каждого гражданина, а значит и для священника, и верующего, которые так же, как и неверующие, имеют право на справедливость».

Дело священника Трестенского закончилось в

сентябре 1974 г., когда воеводский суд в Кошицах отклонил его последнюю апелляцию к административным властям, в которой выражался протест против нарушения кодекса о труде и незаконного расторжения трудового соглашения (на основании этих законов священники, как и все граждане, получают ежемесячное жалованье). Виктор Трестенский поселился в родной деревне как безработный, в надежде, что в конце концов справедливость победит. Поддерживают его в этой надежде бывшие прихожане, постоянно навещающие его, приносящие поддержку и чувство солидарности.

Эта солидарность, интерес, проявляемый к судьбе священника, помощь, оказываемая простыми людьми пастырю, вышедшему из народа, — убедительнейший обвинительный акт тоталитарному режиму.

ПАТРИОТИЗМ ОТЗЕМЛЕННЫХ^{1), 2)}

...нет ничего более страшного в жизни человека чем отсутствие земли, которую он мог бы назвать своей во всех отношениях.

*Альгимантас Мацкус³⁾ (1960 г.)
(Эпиграф к книге)*

М. СТАРК: «Надо по-новому подойти к Литве и перестать говорить о Джане, который находится где-то в Африке. Господин Мацкус должен петь о Литве. Есть ли у вас в поэзии свой дом?»

А. МАЦКУС: «Я снимаю квартиру» (Из отчета о дискуссии, проходившей в Лос-Анджелесском Клубе Изящных Искусств 7.12.1964 г., опубликованного газетой «Дирва»⁴⁾ 29.1.1965 г.)

(Эпиграф к главе)

1

Каждое поколение, приобретшее в историческом развитии неповторимо своеобразный облик (или же ищущее его), по-своему переживает и свое отношение к обществу. Общество в данном случае следует понимать не только в обычно-социологическом смысле.

¹⁾ «Патриотизм отземленных» — отрывок из книги профессора Каволиса «Поколение отземленных» (ее 7-я глава), вышедшей в США на литовском языке в 1968 г. (Издательство общества «Сантара-Швеса»). Данная глава посвящена творчеству выдающегося литовского поэта Альгимантаса Мацкуса, десятилетие со дня смерти которого отмечалось в 1975 году. (Прим. переводчика).

²⁾ Слово «отземленный» — неологизм, введенный автором для обозначения как эмиграции, отделенной от своей земли в буквальном

Через конкретное общество, состоящее из отношений между людьми, можно узреть и совокупность всех предметов, имеющих значение для человека. В этом смысле общество становится как бы посредником между человеком и бытием вообще. Отношение же человека к его обществу выступает, таким образом, в качестве конкретизированной формы его отношения к совокупному человеческому бытию. В этой связи понятие патриотизма следует рассматривать не просто в качестве конкретного долга по отношению к национальному обществу, но и более глубоко — в качестве обобщенного символа верности.

2

Он говорил одну только правду, потому что от ее горечи ему некуда было спрятаться.

В основе патриотизма Альгимантаса Мацкуса лежит напряжение, столь характерное для многих

смысле слова, так и явления отчуждения в целом, уподобляющего очень многих людей в XX веке эмигрантам, независимо от того, где они живут. (Прим. переводчика).

³⁾ А. Мацкус (1932-28.12.1964), начал свой творческий путь в эмиграции, куда попал в возрасте 12-ти лет (1944 г.). Первый сборник стихов («Элегии», Чикаго, 1950 г.) сразу выдвинул Мацкуса в первые ряды литовской поэзии. Последующие книги стихов: «Его земля» (Чикаго, 1959 г.), «Поколение правдивых слов» (Чикаго, 1962 г.), «Часовня Б» (вышедшая посмертно в 1965 г. в Чикаго) сделали Мацкуса властелином душ молодого поколения литовских эмигрантов. Его произведения широко проникли и в Литву, где, распространяясь в списках, стали необыкновенно популярны. Через семь лет после смерти Мацкуса издательство «Вага» опубликовало некоторые его стихи в виде книги, в первый же день продажи ставшей библиографической редкостью (А. Мацкус, Поэзия, Вильнюс, 1972 г.). На русский язык стихи Мацкуса никогда не переводились (приводимые в настоящей публикации отрывки стихов Мацкуса являются первой попыткой такого рода). (Прим. переводчика)

⁴⁾ «Дирва» — литовская эмигрантская газета крайне консервативного направления; издается в США. (Прим. переводчика).

людей его поколения. С одной стороны, — разочарование в эмигрантском обществе, доходящее до прямого отвращения к нему (не потому, что оно было более других выродившимся, а потому что за свое вырождение несешь больше ответственности, чем за чужое).

«Только, чтоб не был так глуп,
чтоб по ночам не искал
пристанища всем нам, —
заблудшим и проклятым, — тем,
кто поколением нынешним назван,
чтобы не снилися мне гомосексуальные ангелочки
и лесбианские девы святые...»

(«Generacija»⁵⁾, p. 18)

С другой стороны, — тоска по корням, закрепляющим бытие личности в определенном времени и конкретном пространстве:

«Все брожу по ночам в поисках дома родного.
Если б нашел дом родной,
не удалось б никому вынести оттуда меня
ни в смерти, ни в гробу».

(Там же, стр. 17)

Под заблудшим поколением здесь понимается не только эмиграция. В более глубоком смысле заблудшим является все оторванное от надежных природных корней. Родной дом обозначает здесь символ окончательного устройства человека в мире, эту еще никем не достигнутую Утопию. Однако поиск дома — это вместе с тем и устремление к своему народу, говорящему на отдаленно родном, звучащем как архаический миф языке предков, к народу, который уже вряд ли можно застать на этой земле.

⁵⁾ Так автор сокращенно ссылается на сборник стихов А. Мацкуса «Поколение правдивых слов» (1962) — «Neornamentuotos Kalbos Generacija». (Прим. переводчика).

Ника-Нилюнас⁶⁾ всем своим телом еще ощущал прирожденный «патриотизм почвы». Даже лишившись родины, он продолжал меланхолично любить ее. Мацкус же, наоборот, был вынужден непрестанно и болезненно искать свой патриотизм. Ноша его неизбывна. Ведь он созрел в эмиграции.

Ноша его неизбывна. Ведь он созрел в эмиграции.

А эмиграция импотентна — «стерильность и пустота — вот что характерно для любой эмиграции» (The Captive Mind, p. 161).

«Мы — мир неживой,
.....

Мы — вымерший сад».

(«Jo uga Zemė»⁷⁾, p. 48).

«В таком изгнании
нету даже сил,
чтоб ненавидеть».

(«Generacija», p. 18).

«Род наш закончен уже:
нет нашим детям земли».

(«Chapel B»⁸⁾, p. 38).

Реальность эмиграции, по словам Римвидаса Шилбайориса⁹⁾, — это мир «святых теней». В нем ничего нельзя открыть, в нем можно лишь делиться воспоми-

⁶⁾ Альфонсас Ника-Нилюнас, литовский поэт, начавший публиковаться еще на родине; с 1944 г. находится в эмиграции; ныне живет в США. (Прим. переводчика).

⁷⁾ Сборник стихов А. Мацкуса «Его земля» (1959 г.). (Прим. переводчика).

⁸⁾ Сборник стихов А. Мацкуса «Часовня Б» (1965 г.). (Прим. переводчика).

⁹⁾ Р. Шилбайорис, литовский литературный критик, профессор литературы Университета штата Огайо, США. (Прим. переводчика).

нениями (тем, у кого они есть) или общей осознанностью невозможности открыть себе родину (тем, у кого этих воспоминаний никогда не было).

Потеряв исторические корни и не будучи в силах создать собственных нравственных основ своего существования, эмиграция остается бесплодной. Она способна лишь к выражению своих сентиментов, символизирующих всю безнадежность ее состояния:

«Сюда уже больше никто не приходит рожать:
сюда лишь приходят завывать безнадежно от боли...»
(«Generacija», p. 35).

«Редееющим строем мужи
по дням выходным к пивной устремляются вяло.
Сипло песня звучит — в ней о Немане мощном поется.
И читает из края родного
письма часом полночным Мария».

.....
«мы все разгребаем и вновь разгребаем
ту же пену архивного сна».

.....
«произносим слова и они исчезают
с нашей речью родной, что уж еле жива».
(«Chapel В», pp. 33, 43, 39).

Естественные источники жизни в эмиграции необнаружимы. Исчез тот жизненный поток, который способен не поверхностно дурманить, а по-настоящему освежать. Но и в этом случае поколение отземленных только подчеркивает положение современного человека вообще, лишенного где бы то ни было земли для себя и корней. Из всего, что он мог обрести, — в христианских, ренессансных, марксистских или же, наконец, во фрейдистских представлениях, — ему оставлено только сознание неосуществленных возможностей:

«Сосешь апельсин, набрякший на солнце,
ибо м о г быть таким же и вкус
той земли, что т в о я».

(«Generacija», p. 52).

Физическая действительность эмиграции, если оценивать ее реалистически, впрочем, точно так же, как и человеческого бытия вообще, является лишь прелюдией к полному исчезновению:

«Распрощавшись со старшими, дети
делят тайной вечера дары.
Поминальные песни звучат лишь —
умирающей расы продленный словарь —
и в глазах ваших кружатся буквы
из краев экзотических наших».

(Там же, стр. 53).

«Нет, не хочу я узреть
изгнания пустеющих рук
и не хочу увидеть
путь прощального возгласа их.»

(«Chapel В», p. 50).

Казалось бы, что из мгновенья, обозначенного «прощальным возгласом», некуда больше идти. Но именно в этот момент отчаянья, в преддверии физического исчезновения, происходит нравственное прозрение. Перед лицом безысходности во всем своем значении выступают категории человечности и они требуют от нас решительно самоопределиться.

Первое пробуждение: из глубины нашего сознания возникает неистребимое чувство верности тем, кого только мы одни и можем помнить.

«Всмотрись-ка в полночь,
сыне: что мертво сегодня —
вчера все живо было
в стране белеющей луны».
(«Generacija», p. 48).

Серебристым светом непостижимого чуда сияет Альгимантасу Мацкусу потерянная земля. В стране белеющей луны жили те, кто в эмиграции лишь изображает живых, а на самом деле безвозвратно ушел из жизни. Жизнь, которой нет, действительно зовет нас к отклику.

«О праотце, мой праотце,
зачем ты возвращаешься?»
(Там же, стр. 58).

Не подлежат забвению прежде всего те, о которых человечество забыло.

Второе пробуждение: возникает чувство, что обязательства других связывают долгом и нас. Только те, кто жил не щадя себя, остаются для нас тем единственным доказательством потустороннего, высшего начала, которое не в силах сокрушить ни время, ни с окончанием детства закрывшийся в наш характер скептицизм, тот самый, который без иронии уже не позволяет почитать никаких богов (даже гуманизма). Альгимантас Мацкус знает, на чем держится «возможность жить» при распаде всякой веры. Поэтому он пишет исполненный отчаянья гимн борцам сопротивления и поэтам, продолжающим жить в нашей памяти:

«На запорошенном снегом и солнцем,
запорошенном лунным светом
перекрестке села и реки,
.....
вы, не успевшие посвятить свою смерть

совершенству развязки трагедии,
вы, не жившие ни в землях героев,
ни в землях душевнобольных,
возвышенно прислоняетесь к древнему
гербу истории».
(Там же, стр. 45).

Третье пробуждение: наши уши разрывает крик боли замученных. Альгимантас Мацкус ответил на этот крик жертв истории провозглашением своего родства с застреленным мальчиком из Вильнюсского гетто. Говоря словами Люне Сутема¹⁰⁾, он в самом начале детства своего поколения был «свидетелем неповторимого»:

«Двор заполняют злые мужчины.
— Юрек, скачи! Юрек, скачи!
— Как поскачу я, как поскачу я —
конь-то мой деревянный!
.....
Пал деревянный конь во дворе,
в сторону крови качнувшись».
(Там же, стр. 68).

Кареокий Юрек своим происхождением был чужд нам, но нравственный импульс поколения отземленных вписал его судьбу в незабываемый пейзаж Литвы:

«Внесу его наивное я тело
в наш дождь серебристый,
в ветер сосняка:
совместно пусть с деревьями, с дождем,
с зеленым и с серебряным пусть цветом

¹⁰⁾ Л. Сутема, литовская поэтесса, принадлежащая поколению Мацкуса и входившая в возглавляемую им литературную группу; живет в США. (Прим. переводчика).

живет его не зная про ненависть душа».
(Там же, стр. 69).

Мы существуем в пространстве, в котором пересекаются траектории многих жизней. Растворившиеся в прошлом оставили часть своего существа и в нашей крови. Мы несем в себе жизнь всех и в линиях наших губ заключены все истины — как те, что были высказаны, так и те, что жили только в немом ощущении. А поэтому — «Смерть есть в архивах не пылящийся коллаж» («Chapel В», р. 13). Она не уничтожает незабываемости человека. И живые несут за это ответственность. При этом каждый более всего ответствен за незабываемость тех, которых только он один и может вспомнить. Мы живем для того, чтобы сохранить людям тот человеческий опыт, единственными хранителями которого мы являемся.

Патриотизм Альгимантаса Мацкуса представляет собой ценность универсальную. Не отказываясь ни от чего литовского, он вместе с тем не предает ничего общечеловеческого. Мацкусу удалось ощутить наиболее всеобщую основу человеческого родства: долг верности по отношению к тем, у кого не осталось уже ничего, кроме нас. Он понял, что этой солидарности нельзя предавать, даже если мы предаем своими повседневными действиями самих себя; что наш долг заключается в том, чтобы жить и за тех, чье волнующее нас существование в плоскости сокрушающей человека истории осталось незавершенным и вызывает к завершению.

Значение темы смерти в литературе изгнания, о котором первым заговорил Антанас Шкема¹¹⁾, по всей вероятности, отражает ощущение эмиграцией своего

¹¹⁾ А. Шкема (1911—1961), крупный литовский прозаик, драматург, режиссер и актер; наиболее значительные литературные произведения Шкемы были написаны в эмиграции; на протяжении 1967—1972 гг. в США издано собрание сочинений Шкемы. (Прим. переводчика).

бессилия. Проистекающую из этого бессилия опасность, как в политическом, так и в культурном плане, Альгимантас Мацкус осознавал с доходящей до отчаянья трезвостью. Однако при объяснении существенности темы смерти для его поэзии одной социологией не обойтись. Смерть здесь — символ изгнания, продолжающегося тридцать лет. Она разрушает все: перед ее лицом только то остается истинным, что даже в перспективе уничтожения всего человеческого достойно того, чтобы быть передано другим. Достойным же этого оказывается лишь долг человека перед человеком, конечная основа которого — боль с ним и за него¹²⁾.

За этой болью уже нет ничего: ни природных инстинктов, ни законов истории. Боль за человека есть та «донная» истина человеческого бытия, по которой надо равнять и себя самого, и все остальные свои истины. Именно ею, этой болью, следует взвешивать свою любовь и свое презрение, ценность своих дней и приемлемость своих богов. Может быть, нужен был отрезвляющий опыт изгнания (надо было потерять не только землю рождения, но и доверие к любому унаследованному обычаю), чтобы прочувствовать бесконечную ненадежность всего, этой мерой не испытанного. Тот, кто в этих условиях по-человечески пытался отыскать основы своего патриотизма, неизбежно должен был задать себе вопрос, может ли этот патриотизм сохраниться и перед лицом неминуемой смер-

¹²⁾ Альгимантас Мацкус наверняка согласился бы с таким же до отчаянья трезвым прозрением Костаса Остраускаса¹³⁾ в его драме «Жили однажды старик со старухой», где он говорит, что даже и эта боль может быть источником извращения. Таковой она часто в эмиграции и становится, что проявляется в стремлении отомстить евреям или неграм за учиненное во имя коммунизма над литовцами. (Прим. автора):

¹³⁾ К. Остраускас, современный литовский драматург, проживающий в США. (Прим. переводчика).

ти. И Альгимантас Мацкус ответил на этот вопрос: да, патриотизм возможен, если им свидетельствуется чувствительность к боли всех людей. Только этой чувствительностью оправдывает себя любая вера, любое движение; даже коммунизм мог бы себя оправдать, если бы сумел эту чувствительность в себя вместить. Только такой чувствительностью снимается напряжение, возникающее от отвращения при виде вырождения собственного общества и тоски по поискам своего дома на этой земле. Во взятом на себя обязательстве, — оставаясь в литовском обществе, свидетельствовать о чувствительности к боли всех, — Альгимантас Мацкус нашел единственно приемлемую для него возможность быть литовцем¹⁴⁾.

Здесь возникает вопрос: можно ли оправдывать боль, ожидающую всех, кто в эмиграции решится встать за проявление национального литовского чувства человечности, за то, чтобы быть не просто малыми сими, но и на стороне всех обижаемых, всех тех, у кого нет надежды на спасение в этой жизни?

Но и с другой стороны: можно ли свою собственную нацию обвинять в том, что сегодня оказалось больнее быть литовцем, нежели человеком почти любой другой национальности? И нужно ли из-за этого отказываться от своей нации, неосознанно бояться ее, с тем чтобы этой боли избежать?

¹⁴⁾ Подобно тому, как некоторые люди сего поколения находят возможным быть литовцами именно тогда, когда они участвуют в движении за гражданские права негров. Эти люди с меньшим успехом могли бы оправдать свою принадлежность к литовскому, и поэтому были бы меньше литовцами, если бы они за права негров не боролись. А поколению отземленных свою «литовскость», как и любую иную установку, с этим связанную, уже необходимо оправдывать нравственно; сама собой разумеющейся их решимость отстаивать определенные позиции признана быть уже не может. (Прим. автора).

«Окажется ль виновным твой народ,
что боль души твоей
превысит боли тела?»
(Там же, стр. 50).

Альгимантас Мацкус нашел ответ и на этот вопрос:

«Осилив боль неумогу,
о, сыне,
опору в своей расе обрети!
Серебряные звери и растенья
заговорят родным с тобою языком:
«...в бору росла
зелёна липонька».
«Берестяная твоя там лодчоночка,
там найдешь ты к ней весло немоченое».
(Там же, стр. 49)

Из отказа предать свою восприимчивость к скорбности человеческой судьбы вообще и из тоски по своим собственным корням возникает долг поколения отземленных по отношению к амальгаме всех не подлежащих забвению и все же забытых миром обликов боли, а, тем самым, — и к своему собственному обществу:

«На том берегу воспетых вод
Йонукас на родном наречьи
рассказывает о своем доме,
повествует понятие лучшего устройства жизни завтра».
(Там же, стр. 38-39).

Только мышление, которое возникает из чувствительности к боли, обладает спасительной силой.

И возможно именно потому, что свобода в Литве растоптана, она (и свобода, и сама Литва) сохраняется

там «в архивах не пылящимся коллажем», сплывающим вокруг себя и человечность живых, и жизнь человеческих.

Не к тривиальности типового эмигранта и не к ряженным под живых носителям «правильных и здоровых взглядов» обращался Альгимантас Мацкус. Он писал для тех, «в ком бьются бурей на разрыв сердца» (там же, стр. 72), кто «на родном наречьи» не может не повествовать «понятья лучшего устройства жизни завтра». Им посвящены и последние слова «Поколения правдивых слов». В них есть надежда трудом и дружбой обрести свой дом.

«И если от вчерашней сдачи
осталось время цельное еще,
вам быть и дочерьями его, и сыновьями!»
(Там же, стр. 73).

КАВОЛИС Витаутас — литовский писатель, социолог, профессор Дикинсонского колледжа в Карлейле (Пенсильвания, США). Автор многочисленных работ по социологии и истории литовской культуры, главный редактор единственного толстого журнала на литовском языке в Европе — *Metmenys*.

Восток — Запад

Джордж М и н и

АМЕРИКАНСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ И «РАЗРЯДКА НАПРЯЖЕННОСТИ»

1 октября 1974 года президент АФТ-КПП (Американская федерация труда-Конгресс производственных профсоюзов) Джордж Мини выступил перед Комитетом по иностранным делам Сената США. Выступление состоялось по приглашению председателя Комитета, сенатора Фулбрайта, для того, чтобы представить Комитету точку зрения АФТ-КПП на вопрос о «разрядке напряженности» между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Из-за большого интереса к показаниям президента Мини, и оттого, что в них излагается политика АФТ-КПП, мы печатаем этот материал.

Р е д.

Зовут меня Джордж Мини. Я президент Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов. Я рад возможности сообщить этому Комитету точку зрения АФТ-КПП на разрядку напряженности.

Я думаю, господин председатель, что вы достаточно хорошо знакомы с моим мнением по этому вопросу. О нем сообщалось в печати, иногда довольно красочно. Разрешите прочесть вам передовую статью маленькой газеты, называющейся «Торрингтон, Коннектикут реджистер», от 24 мая 1973 года. Я цитирую:

«В былые времена организованное рабочее движение нашей страны находилось в авангарде либерального движения как во внешней, так и во внутренней политике. Сегодня его либерализм внезапно останавливается на наших границах. В вопросах нормализации отношений с коммунистическим миром политика АФТ-

КПП, как ее представляет стареющий Джордж Мини, часто заставляет думать, что Американская торговая палата — клика дикоглазых большевиков».

Стареющий или нет, но я не собираюсь защищать Американскую торговую палату от обвинения в дикоглазом большевизме. Однако я могу высказать предположение, что в глазах членов торговой палаты отражается не красный флаг, а доллар.

Но важнее другое. Приходится удивляться, что произошло со словом «либерализм». Я всегда считал, что либерализм имеет общее с защитой свободы и что защита свободы не останавливается на наших границах.

Я не знаю, сколько либералов примут недвусмысленный намек этой передовой, что либерализм следует определить как более мягкое и дружеское отношение к тоталитарным силам, в то время как консерватизм означает более жесткое и более враждебное отношение к тоталитаризму.

Я всегда считал это — клеветническим и глупым определением «либерализма», хотя и должен признать, что некоторые либералы усиленно содействовали такой путанице определений.

Однако я не вижу обязательной связи между либеральным подходом к социальной и экономической справедливости внутри страны и политикой потакания коммунистической агрессии за границей.

Мы живем в странные времена. Мы живем во время, когда человек, вся политическая карьера которого строилась на яростном антикоммунизме, может, став президентом, со дня на день превратиться в главного сторонника безоговорочных уступок Советскому Союзу.

Мы живем во время, когда президент компании Пепси-Кола впадает в экстаз от личности Брежнева, который — говорит он — произвел на него огромное впечатление

«своей прямоотой и искренностью, своим упорным стремлением добиваться не только мира, но и ... повышения уровня жизни в своей стране».

Так говорит Дон Кендаль — человек, стоящий во главе компании, которая заполняет наши радиоволны песенками о «чувстве свободы».

Я уверен, что все вы слышали песенку Пепси, заканчивающуюся такими словами:

«К нам, к людям Пепси, ощущая свободу, иди!

По всей стране — это поколение Пепси.

Это сегодняшнее поколение. Это завтрашнее поколение

С чувством свободы».

Под эту прекрасную музыку советские бульдозеры разгоняют выставку картин!

Так что, господин председатель, нам надо попытаться ориентироваться в этом мире, где всё поставлено вверх дном. Мы в рабочем движении не поддаемся влиянию и не руководствуемся заявлениями демагогов, навешивающих ярлыки и видящих «воинов холодной войны» под каждой кроватью. Мы руководствуемся основными принципами рабочего движения, которые были очень хорошо сформулированы Сэмом Гомперсом. Он сказал:

«Я ценю рабочее движение не только за его возможность добиться лучших заработков, лучшей одежды, лучшего жилья. Конечные цели движения следует искать во всё время меняющихся жизненных возможностях для людей труда и в преданности основной идее свободы для всех людей, везде».

Такова наша позиция, господин председатель, — за «основную идею свободы для всех людей, везде». А везде — для американского рабочего движения — означает везде: от Литтл Рока до Москвы.

Таким образом, выступая перед этим Комитетом, АФТ-КПП не нарушает лучших традиций рабочего движения, а продолжает долгую традицию заинтере-

сованности и заботы — традицию заботы о рабочих людях везде и о деле свободы везде.

Именно с этой исходной позиции мы смотрим на то, что называется разрядкой.

Что такое разрядка?

По-моему, определить это очень важно. Это не академический вопрос. Если мы не знаем, что такое разрядка, то мы не можем оценить ее. Если мы не знаем, что она означает, то у нас нет мерки, критерия, чтобы определить, добиваемся ли мы успехов в наших отношениях с Советским Союзом, или идем назад. Как можем мы сказать, удастся ли разрядка, если мы не знаем, что она означает?

И вот, я начал искать хорошее определение разрядки. И я выяснил очень интересную вещь. Я выяснил, что эта разрядка внезапно стала очень двусмысленной. Внезапно эта великая идея, этот «психологический прорыв», — чтобы воспользоваться одним из любимых выражений государственного секретаря Киссинджера — становится похожей на тончайшую паутину: ее невозможно схватить.

Я поражаюсь, как мы могли так воодушевиться чем-то, за чем, по сути дела, ничего не кроется.

Правда, конечно, выглядит несколько иначе. На самом деле, по мере того, как растет общее разочарование в разрядке, ее защитники, отступая, впадают в риторику неясных ожиданий, неопределенных двусмысленностей. Это можно назвать революцией утерянных надежд.

По крайней мере два члена этого Комитета, по моему мнению, внесли свой вклад в запутывание вопроса его излишним уточнением. Вот, например, точка зрения сенатора Черча на разрядку. Цитирую:

«В далекой перспективе разрядка может обещать налаживание дружбы, или, по крайней мере, надежды на дружбу. Но в настоящее время она не представляет собой ничего большего, как ограничение при других

условиях очень дорогого и опасного соперничества».

Другими словами, разрядка — только ограничение, — не больше. Исходя из этого, сенатор Черч продолжает:

«Не стоит, например, спрашивать себя, выступал ли Советский Союз на Ближнем Востоке как наш партнер в борьбе за мир. Конечно, этого не было, но этого не следовало и ожидать, так как мы — не друзья; мы — соперники. С точки зрения разрядки следовало ставить вопрос, было ли соперничество ограничено из-за опасности конфронтации».

И на это сенатор дает положительный ответ. А это доказывает, по-моему, что если поставить вопрос должным образом, то можно получить требуемый ответ. Разрядка сработала, так как мы не начали войну с Советским Союзом из-за разногласий на Ближнем Востоке.

Примерно аналогичную точку зрения выразил и председатель этого Комитета. Я цитирую:

«В своей сути, разрядка — соглашение не дать этим разногласиям (между двумя сверхдержавами) разразиться атомной войной».

А по словам государственного секретаря Киссинджера, разрядка означает, что — я опять цитирую — «конфронтации остаются в рамках, не угрожающих цивилизованной жизни».

Общая нить проходит через все эти определения разрядки. Дело сводится к тому, что разрядка — избежание атомной войны. Разрядка означает наложение ограничений для того, чтобы две сверхдержавы не взорвали друг друга.

Но если это означает разрядку, то я спрашиваю: какая разница между разрядкой и холодной войной? Разве холодная война не означала избежания горячей?

И если мы приходим к выводу, что разрядка означает только сдержанность обеих сторон, то зачем же весь этот шум? К чему страстные нападки, в том

числе и сенатора Черча, на «старых воинов холодной войны»? Может быть, нам следует перед ними извиниться? Или, может быть, прав известный писатель Теодор Дрепер, недавно заявивший:

«Пора прекратить пользоваться термином «холодная война» для запугивания, а термином «разрядка» — для успокоения. В их отношении к атомной войне нет никакой разницы».

Вероятно, правильно язвительное замечание кого-то другого, что разрядка — это холодная война, которую ведут другими, а иногда и теми же самыми, методами.

Но как бы то ни было, это не то, что подразумевает под разрядкой простой человек. Я же утверждаю, что важно именно то, что думает простой человек, то есть, что думают рядовые американцы. И я утверждаю, что не так объяснили разрядку американскому народу господа Никсон и Киссинджер. Они не говорили, что это холодная война, которую ведут другими методами.

Не с такими объяснениями продали разрядку американскому народу, когда заключали пшеничную сделку с Советским Союзом.

Нет, американский народ думал, что покупает нечто более существенное. Для него разрядка означала не только что-то отрицательное, но и что-то положительное — не только сдерживание, но сотрудничество. Сотрудничество не только для сокращения вооружения, но и для содействия установлению всеобщего мира. Чтобы не допускать малых войн.

Для американского народа разрядка означала обоюдные уступки, своего рода основанный на взаимном доверии спор между соперниками.

Откуда появились такие мысли? Может быть, люди высосали их из пальца? Или просто ветром надуло? Нет. Это впечатление им было внушено Никсоном и Брежневым в результате их встречи на верхах

в мае 1972 года. Оба политика заявили, — я цитирую:

«На Советском Союзе и Соединенных Штатах лежит особая обязанность, ... делать все от них зависящее, чтобы не возникало конфликтов или ситуаций, способных усилить международную напряженность».

Это не было отрицательным определением разрядки. Определение было положительным. Подразумевалось сотрудничество между сверхдержавами. Как же, если не путем сотрудничества, могут они «делать все от них зависящее» — не только, чтобы избегать конфронтаций, но чтобы даже не допускать возникновения ситуаций, способных усилить напряженность.

В этом определении нет ничего неопределенного и аморфного. Оно взято из двенадцати принципов, составляющих «Основы взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик». Текст можно получить в Государственном департаменте. Он определяет специфические нормы поведения этих стран.

Вот что такое разрядка, а не то, что говорит государственный секретарь Киссинджер, или сенатор Фулбрайт, или сенатор Черч.

Не означает она и того, что говорит Брежнев по тому или иному поводу.

Разрядка включает в себя специфические нормы поведения, о которых договорились Брежнев и Никсон от имени своих стран.

Согласно этим нормам, две державы будут делать «все возможное, чтобы избегать военных конфронтаций» — да. Но на этом дело не останавливается. Две державы будут не допускать возникновения «ситуаций, могущих вызвать опасное напряжение отношений между ними». Не создалась ли такая ситуация во время войны Йом Кипура?

«Обе стороны признают, что попытки получения

односторонних преимуществ, прямо или косвенно за счет другой стороны, несовместимы с этими целями». Не попытались ли арабы добиться как раз этого?

«Основные принципы» идут дальше. Две державы «не претендуют сами и не признают чьих бы то ни было притязаний на какие-либо особые права или преимущества в мировых делах. Они признают суверенное равенство всех государств». Действительно ли Советский Союз признал суверенное равенство Израиля?

Этого вполне достаточно, чтобы подчеркнуть мою точку зрения. Чтобы подчеркнуть, что сенатор Черч был абсолютно неправ, говоря о том, чего нам следовало ждать от разрядки, и особенно на Ближнем Востоке.

Вопрос не в том, друзья ли мы с Советским Союзом или соперники. Он и не в том, выступал ли Советский Союз как «наш партнер в борьбе за мир». Это простое крючкотворство.

Вопрос заключается в том, сотрудничал ли с нами Советский Союз, чтобы не допустить «возникновения ситуации, могущей вызвать опасное обострение отношений между ними».

Вопрос в том, признал ли Советский Союз свою «особую обязанность, ... делать все от него зависящее, чтобы не возникало конфликтов и ситуаций, способных усилить международную напряженность».

Вопрос в том, признал ли Советский Союз в своей ближневосточной политике «суверенное равенство всех стран».

Таков язык, специфический язык, которым Брежнев согласился пользоваться в мае 1972 года. Здесь и речи нет о толкованиях. «Основные принципы» не были случайным документом. Идея их создания принадлежала в первую очередь Советскому Союзу. Несколько месяцев ушло на их разработку и согласование. «Основные принципы» были обязательными для обеих

сторон. Вопрос в том, отвечало ли поведение Советского Союза в ближневосточном конфликте этим 12 принципам?

Ответ, конечно, может быть только один: нет. Нет никакой возможности ответить на этот вопрос двусмысленно.

Советский Союз знал о предстоящем арабском нападении на Израиль по крайней мере за четыре дня до нападения. Он был обязан, согласно «Основным принципам», предупредить нас заранее. Он этого не сделал.

И не только он не предупредил нас, не только не попытался ограничить размер Октябрьской войны, но он даже пытался ее расширить.

Во-первых, Советский Союз перебросил в район конфликта марокканские войска. Но словно этого еще было недостаточно, советские руководители, как пишет газета «Вашингтон пост» от 2 мая, «немедленно приняли решение о частичной мобилизации советских вооруженных сил. Семь советских дивизий были приведены в боевую готовность для отправки на египетский фронт. Больше того, в Каир прибыли их представители».

А затем, господин председатель, тот же Леонид Брежнев, который улыбался Ричарду Никсону и обещал делать все от него зависящее, чтобы не возникло конфликтов, «способных усилить международную напряженность», послал президенту Алжира Бумедьену, примерно через 72 часа после арабского нападения на Израиль, следующее послание:

«Сегодня, больше чем когда-либо, должна сыграть свою решающую роль арабская братская солидарность. Сирия и Египет не должны остаться одни в своей борьбе с вероломным врагом».

Это послание помечено 9 октября — через три дня после начала войны Йом Кипура. На следующий

день — 10 октября — аналогичные послания были направлены всем арабским странам.

Но и это не все, господин председатель. Трудно поверить, но за 24 часа до того, как он направил Бумедьену свое послание, точнее 8 октября, Брежнев выступил в Москве с речью, в которой выразил надежду, что война не нарушит советско-американской разрядки. Он призывал к «справедливому и устойчивому миру» и к «гарантированной безопасности для всех стран и народов этого района».

Господин председатель, это — высшее искусство дипломатического лицемерия, применяемого одним из лучших специалистов этого дела.

Так Брежнев — этот «прямой и искренний» человек, «упорно стремящийся добиться мира», старался втянуть Алжир, Ирак, Иорданию и другие арабские страны в войну с Израилем, которую, согласно «основным принципам», вообще не должен был допустить.

Единственное, в чем проявилось влияние этих «основных принципов» на положение на Ближнем Востоке, — это, по-видимому, растерянность нашей разведки. Она была так уверена, что Советский Союз и его арабские клиенты будут придерживаться принципов разрядки, что пришла к заключению, что войну, видимо, начали израильтяне.

Нам не нужна такая разрядка. Теперь Советский Союз вооружает до зубов Сирию. Именно так он понимает свою «особую обязанность».

Что-то здесь явно не в порядке. Я думаю, что большинство американцев прекрасно знает, что наша сторона понимает под разрядкой и чего она от нее ждет. Но понимаем ли мы, чего хочет Советский Союз?

Я считаю, что нам следует посмотреть на разрядку *из советской* перспективы. Они под разрядкой понимают совсем что-то другое, и в этом корень проблемы.

На самом деле разрядка — дело не новое. В дни нэпа Ленин думал о своего рода разрядке отношений с Западом, чтобы привлечь в разрушенную войной страну страшно нужный ей капитал. В 1921 году он написал слова, которые по прошествии десятилетий кажутся пророческими:

«В результате моих собственных наблюдений в годы эмиграции, я должен сказать, что культурная среда Западной Европы и Америки не может понять современное положение и расположение сил. Мы должны считать их глухими и действовать исходя из этого.

...Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за покорением советских рынков, закроют глаза на реальность и станут слепыми и глухими. Они предоставят кредиты, которые послужат поддержкой коммунистическим партиям их стран, а нас снабдят важными материалами и технологией, таким образом восстанавливая нашу военную промышленность, которая необходима нам для будущих победоносных нападений на снабжающих нас. Иными словами, они будут готовить свое собственное самоубийство».

Эта цитата не нуждается в комментарии.

Если цель разрядки, с нашей точки зрения, — уменьшение международной напряженности, сокращение конфликтов, то мы имеем право спросить: разделяет ли Советский Союз эту точку зрения, или он заинтересован в чем-то другом?

В этой связи, господин председатель, мне, а как я уверен — и вам, было очень интересно прочесть статью «Нью-Йорк таймс» от 26 сентября. «Таймс», более близкая к вашей точке зрения на разрядку, чем к моей, пишет — цитирую:

«Главное сомнение по отношению к политике разрядки, как ее представляет Киссинджер, работая со вторым уже президентом, заключается в том, что, в погоне за чаемой абстракцией, Соединенные Штаты

будут удовлетворяться минимально ощутимыми преимуществами, в то время как советское руководство будет успешно добиваться подлинных уступок в ответ на пустые фразы».

Это сказано деликатно. Я бы выразился резче. Но дело, господин председатель, в том, что знаменательно, когда такая газета, как «Нью-Йорк таймс» начинает высказывать сомнения по поводу разрядки, которые мы в АФТ-КПП выражаем уже давно.

Но нужно, господин председатель, только почитать, что говорят советские руководители.

Конец холодной войне положил не Никсон. Еще до того, как Никсон стал президентом, Советский Союз решил, что ему выгодно снизить накал холодной войны. Вот что Брежнев заявил избранным коммунистическим представителям в Карловых Варах 24 апреля 1967 года — до того, как Никсон стал президентом, а Киссинджер приобрел свою известность:

«Опыт... учит тому, в частности, что обстановка «холодной войны» и противостояния военных блоков, атмосфера военных угроз серьезно затрудняют деятельность революционных, демократических сил. В условиях международной напряженности в буржуазных странах активизируются реакционные элементы, поднимает голову военщина, усиливаются антидемократические тенденции, антикоммунизм».

И наоборот. Последние годы особенно отчетливо показали, что в условиях ослабления международной напряженности стрелка политического барометра смещается влево. Известные сдвиги во взаимоотношениях коммунистов и социал-демократов в некоторых странах, заметный спад антикоммунистической истерии и рост влияния западноевропейских коммунистических партий самым непосредственным образом связаны с наметившейся разрядкой напряженности на европейском континенте».

Что же это означает? Товарищ Брежнев считает,

что не следует воспринимать разрядку как изменение международных целей Советского Союза. На самом деле разрядка представляет собой только новую тактику, новые пути к старой цели — к мировому распространению коммунизма и к его окончательной победе.

Он говорит, что холодную войну надо закончить не в интересах мира, а потому что она «затрудняет деятельность революционных, демократических сил», а так они называют себя, хотя они не революционны и не демократичны, а статичны и тоталитарны. А холодная война активизирует «реакционные элементы» в «буржуазных странах», то есть — нас.

Другими словами, глубинный конфликт между нашими обеими социальными системами не будет ликвидирован. Наоборот, в некоторых отношениях он усилится. Влияние коммунистических партий в Европе будет расти, и они будут делать новые предложения социал-демократическим силам в некоторых странах.

Конечно, рассматривая положение в Европе, можно видеть достаточно примеров того, что коммунистическая стратегия разрядки имела некоторый успех.

Но брежневская речь 1967 года — не единственное указание на советскую точку зрения на разрядку. Три годами позже и через два года после того, как Никсон вошел в Белый дом, Брежнев похвалялся, что Советский Союз наступает, а Запад обороняется, что влияние коммунистической идеологии огромно, что оно растет со дня на день и подрывает основу других систем изнутри.

Как вам это нравится? «Подрывает основу других систем изнутри»! А я-то думал, что Советский Союз против вмешательства «во внутренние дела» других стран! Кажется, это невмешательство вспоминают только, когда заходит речь о праве советских евреев на эмиграцию.

Но дальше — больше. Двумя годами позже, в

июне 1972 года, на обеде в честь Фиделя Кастро, Брежнев сказал — я цитирую:

«Мы отдаем себе отчет, что успехи в этом важном деле (в борьбе за мирное сосуществование) ни в какой мере не означают возможности ослабления идеологической борьбы. напротив, надо быть готовыми к тому, что эта борьба будет усиливаться, становиться все более острой формой противоборства двух социальных систем».

Таким образом, для коммунистов разрядка означает усиление идеологического конфликта — «более острую форму противоборства двух социальных систем».

Что же это означает на практике? На практике это значит, что Советский Союз может поддерживать и усиливать свою кампанию пропаганды против Соединенных Штатов, а мы не можем критиковать его.

Никсон и Киссинджер не смогли даже всерьез защитить Солженицына, так как это было бы «вмешательством во внутренние дела другой страны», которое абсолютно недопустимо и вызывает большое недовольство Советского Союза.

Однако Советский Союз спокойно может продолжать свои пропагандистские атаки на Соединенные Штаты.

Сравните самоуверенную советскую пропаганду с откликом нашего государственного секретаря на призыв А. Д. Сахарова. Киссинджер не смог раскататься на большее, чем, — я цитирую:

«Как бы болезненно я ни воспринимал документ Сахарова, как бы я ни ощущал свою личную связь с ним, я все же считаю, что мы должны придерживаться избранного курса. И я по-прежнему предлагаю предоставить Советскому Союзу статус наиболее благоприятствующей страны».

Господин председатель, вы простите меня, если я

утверждаю, что это нельзя назвать решительной и сильной защитой прав человека.

А если нам нужно было более сильное напоминание о положении прав человека в Советском Союзе, то его предоставили те кагебисты, которые переодевшись в рабочих, разогнали выставку картин на окраине Москвы.

Боже мой, что это за общество, которое вынуждено выпускать бульдозеры против картин!

Но вместо того, чтобы в таких случаях выражать возмущение свободных людей, наше руководство стремится найти признаки конвергенции и параллелизма между нашим, в основном демократическим, обществом и советским тоталитаризмом.

Как иначе можно объяснить упорные попытки Киссинджера сравнить наш так называемый «военно-промышленный комплекс» с советской военной машиной?

Возвращаясь к советской точке зрения на разрядку, скажу, что я с интересом прочел анализ ее, сделанный Арнольдом де Борчгревом, известным главным редактором журнала «Ньюсуик», в номере от 2 июля 1973 года. Я цитирую:

«За исключением отдельных экспертов мало кто знает (да и беспокоится о том), что генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев добился поддержки своей «новой» внешней политики, убедив своих коллег, что это будет самый эффективный метод разрушения НАТО и нейтрализации Западной Европы. В Москве прибегли к решительному изменению тактики, но политикам ясно, что цели, которых Кремль добивается с начала пятидесятых годов, остались без изменений.

Практически, Москва уже достигла двух из четырех главных геополитических целей: перевеса в конвенциональном вооружении над Соединенными Штатами и их союзниками в Европе и признания советского

господства над Восточной Европой. По советским планам, на очереди вывод американских войск из Европы и развал НАТО. Это, по замыслу Кремля, должно произойти в результате внутреннего давления в Соединенных Штатах и растущего в Европе сомнения в том, что на США можно положиться».

Другими словами, господин председатель, тогда как разрядка вызвала глупые восторги на Западе, в Советском Союзе на нее смотрят с холодным расчетом. В то время как разрядка сделала антикоммунизм не модным на Западе — а вы, конечно, знаете, что он не соответствует настроениям «лучших» людей, — на Востоке разрядка означает усиление идеологической борьбы.

Вот как оценивается разрядка в Советском Союзе:
Разрядка основана на слабости США.

Разрядка означает усиление идеологической борьбы.

Разрядка, в конечном счете, означает советское военное превосходство над Западом.

Разрядка означает признание Западом советского господства над Восточной Европой.

Разрядка означает вывод американских войск из Европы.

Вот что означает разрядка для Советского Союза.
А для нас? Что означает она для нас?

Для крупной американской промышленности разрядка означает прекрасные видения новых прибылей и расширяющихся рынков — старую тягу к всесильному доллару, на сей раз перенесенную на землю комиссаров. Разрешите еще раз процитировать передовую статью из «Нью-Йорк таймс» от 26 сентября:

«В то время как советская сторона хочет заключать сделки в широком контексте своих политических и экономических потребностей, американская — слишком часто ограничивалась предоставлением возможности частным предпринимателям заключать свои

собственные сделки, исходя из чисто коммерческих соображений. Если правительство в конце концов попытается взвесить эти транзакции с точки зрения государственных интересов, может быть, будет уже слишком поздно».

Я ничего не имею против того, чтобы люди честно зарабатывали доллары. Но здесь происходит другое. Кое-кто из американских коммерсантов становится заинтересован в умышленном умалении репрессивного и бесчеловечного характера советского строя или в том, чтобы убедить людей, что это их не касается.

Может быть, Адольфу Гитлеру следовало родиться 50-ю годами позже?

Они выступают с удручающими речами о том, что неправильно было бы пользоваться нашим экономическим превосходством в качестве оружия, побуждающего режим к уступкам по отношению к своему населению. Не хотим же мы, утверждают они, чтобы советская сторона вмешивалась в наши дела.

Господин председатель, я считаю в корне неправильным, чтобы предприниматели, нажившиеся на Америке и ее рабочих, сравнивали наше давление, в целях достижения больших свобод в Советском Союзе, с советским вмешательством, направленным против прав человека в других странах.

И наши промышленники не только пытаются сделать американское общественное мнение менее чувствительным к советским нарушениям прав человека, но они также считают своим долгом распространять миф о международной торговле как пути к миру.

Господин председатель, эта мысль кажется очень симпатичной. Она хороша для рекламы. Представляете себе лозунги: «Промышленники за мир! Промышленники за торговлю!» То, что хорошо для Пепси Кола, для Чаз Манхеттен и Джeneral Моторс,

хорошо не только для Америки. Оно хорошо и для Советского Союза. Хорошо для всего мира!

Но при этом есть одна заковыка: замысел не соответствует действительности. Нет ни капли исторических доказательств этого тезиса, а довольно много — для доказательства противного. Можно даже утверждать, что торговля и капиталовложения порождают раздор и конфликты, даже среди друзей.

В конце концов, Германия была самым крупным торговым партнером России непосредственно перед обеими мировыми войнами.

А торговля между Россией и Китаем достигла своего апогея перед самым разрывом их отношений.

Государственный секретарь Киссинджер признал в своих показаниях в Финансовом комитете сената, я цитирую:

«Если помните, перед первой мировой войной в Европе шла более или менее свободная торговля. Однако она не помешала разразиться страшной войне».

Раздор и конфликты возникли между торговыми партнерами, принадлежащими к тем же экономическим и социальным системам. Почему же мы предполагаем, что этого не произойдет между странами, принадлежащими к диаметрально противоположным экономическим и социальным системам?

Подумали ли наши промышленники всерьез о проблемах торговли и капиталовложений в стране, чья экономика управляется государством, которое может — и будет — принимать экономические решения на политической, а не на коммерческой основе?

Как же относятся наши промышленники, поющие хвалебные гимны свободному предпринимательству в своей стране, к обществу, которое официально исключает хозяйственное соревнование?

Как хотят наши промышленники вести себя по отношению к рабочим, которых не представляют профсоюзы, которые не пользуются плодами

коллективных договоров, которые не имеют права бастовать, которые — на самом деле — рабы?

Я не знаю, думали ли наши друзья-промышленники об этих вопросах. Я не знаю, думали ли об этом эти «дикоглазые большевики» в нашей торговой палате. Может быть, они действительно слепы и глухи, как предвидел Ленин.

Но мы думали об этих вопросах, господин председатель. Рабочее движение думало о них. И мы не хотим в этом деле участвовать. Мы не заинтересованы в том, чтобы дешевые товары, произведенные рабским трудом в Советском Союзе, полились в Америку. Мы не хотим, чтобы американских рабочих заменил рабский труд.

Из-за этого мы против того, чтобы Советский Союз получил статус наиболее благоприятствующей страны.

Однако сегодня предлагают, чтобы мы предоставили Советскому Союзу этот статус в обмен на обещание либерализации советской эмиграционной политики. Иными словами, мы должны подкупить Советский Союз, чтобы он делал то, что уже обязан делать по международному праву.

Видите ли, существует нечто, называющееся Международной хартией гражданских и политических прав. Москва подписала эту Конвенцию в марте 1968 года. Двенадцатая статья этой Конвенции говорит, — я цитирую: «Каждый человек должен быть свободен покидать любую страну, включая свою собственную».

«Каждый» — «любую страну». Это довольно ясные выражения, господин председатель. Ничего двусмысленного здесь нет.

Но Советский Союз решил нарушать эту конвенцию. А результат? Мы даем ему статус самой благоприятствующей страны! Награждение за надувательство — это чёрт знает что за метод руководства внешней политикой!

Утверждалось — государственным секретарем, в этом самом помещении — что этот статус не так-то и важен. Советский экспорт в Соединенные Штаты все равно не будет слишком велик. Статус имеет в основном символическое значение.

В этом есть доля правды, так как Советский Союз в основном заинтересован не в экспорте в Соединенные Штаты, а в получении наших кредитов и нашей технологии. Я вернусь к этому вопросу позже. Я думаю, однако, что было бы неправильно, если бы мы совершенно не считались с символическим и политическим значением получения этого статуса для СССР.

Предполагаю, что мы попадем под все растущее давление и будем вынуждены принимать любые товары, которые Советский Союз решит посылать нам, — чтобы дать ему средства для оплаты кредитов, предоставляемых для покупки наших товаров.

Вас, вероятно, интересуют цифры об американо-советской торговле за первую половину 1974 года. Американский экспорт в СССР сократился, по сравнению с первой половиной предыдущего года, на 54%, а импорт из Советского Союза возрос на 125%.

Для Соединенных Штатов в этих сделках нет экономической выгоды. Экономические выгоды приобретает только Советский Союз. Надеяться мы можем только на выгоды политические, но они очень, очень спорны. Разрешите процитировать отрывок из исследования Библиотеки Конгресса об американо-советских коммерческих отношениях: «Взаимосвязь экономики, технологии и дипломатии»:

«... Политические выгоды для Соединенных Штатов, по самой их сути, не могут быть гарантированы, особенно в ближайшее время. С другой стороны, экономические выгоды для Советского Союза, проистекающие из улучшения коммерческих отношений, могут быть определенны и значительны. Таким образом риск, что надежды не оправдаются, видимо, для Сое-

диненных Штатов больше, чем для СССР. Точнее: усиленное снабжение Советского Союза нашей технологией может оказаться выгодным для Соединенных Штатов в дипломатической и политической сфере лишь в отдаленном будущем».

Господин председатель, эта дипломатическая и политическая выгода для нас, по-видимому, скажется лишь в очень отдаленном будущем, потому что я не вижу никаких ее признаков.

Я вижу дорогу с односторонним движением, где Советский Союз достигает всех своих основных политических целей, в корне антагонистичных Западу, получая при этом от Запада технологию, необходимую ему для преодоления страшных экономических последствий тоталитарного планирования.

Не будем заблуждаться — дело идет именно об этом. Я еще раз процитирую отрывок из все той же передовицы «Нью-Йорк таймс»:

«Уменьшение атомного напряжения, формальное признание статуса кво Восточной Европы — это желанные цели советской внешней политики; но важнейшая двигающая сила разрядки — это доступ к передовой западной технологии».

Каждый, кто изучает положение в Советском Союзе, скажет вам, как отчаянно Советский Союз нуждается в наших технологических знаниях. В 1971 году — всего три года назад — продуктивность советского труда составляла только 40% американского уровня.

В Советском Союзе на 50 миллионов больше жителей, чем у нас, однако на советских потребителей приходится лишь примерно треть товаров и услуг, доступных американскому населению.

Искавления и неустойчивость советской экономики не объясняются просто отсталостью, наследием царизма. Они — прямое следствие советской концентрации на военном производстве, которое естественно

сопровождает всякую экспансионистскую, империалистическую внешнюю политику.

Но советская концентрация на военной и космической промышленности в ущерб потребностям населения в производстве продуктов питания и предметов потребления возможны только благодаря тоталитарной политической структуре, не считающейся с волей народа.

Таким образом существует прямая связь между грубым подавлением демократии в Советском Союзе, советским кризисом сельского хозяйства и производством потребительских товаров и внешней политикой Советского Союза. Нет возможности разделить эти вещи и сказать «их внутренние дела нас не касаются».

Решение снабжать Советский Союз западной технологией помогает советским вождям. Это решение спасает их от трудного выбора между производством для войны или для людей.

Нас в свое время предупреждали, что мы не можем одновременно иметь пушки и масло. И я могу, господин председатель, утверждать, что это решение дает Советскому Союзу возможность их одновременно иметь.

С этой точки зрения, вопрос нельзя сужать до того, какой предмет имеет военное значение, а какой не имеет. Почти вся современная технология имеет потенциальное военное значение. И в той мере, в какой предоставление западной технологии позволяет советскому строю избежать последствий диктаторски навязанных своим гражданам решений, мы помогаем спасаться режиму, последовательно демонстрировавшему в разных обстановках свою непригодность ни для детей, ни вообще для всего живого.

Этот односторонний поток американских благ уже вызывает тревогу. Забудем на минуту наши огромные поставки продовольствия в Советский Союз, поставки,

которые стоили американской домохозяйке и налогоплательщику очень много.

Посмотрим, на операции Экспортно-импортного банка. Это учреждение содержат налогоплательщики — не частный капитал. Первоначально банк был создан, чтобы поощрять американский экспорт предоставлением кредитов иностранным покупателям. Таким образом, он должен был помогать торговле и создавать новые рабочие места.

Но теперь он играет роль многонациональных корпораций. Он субсидирует заграничное производство, которое ударит по американскому экспорту и по американским трудящимся. Среди выигрывающих — Советский Союз.

За прошедшие полтора года этот банк одолжил Советскому Союзу почти 469 миллионов долларов — большую часть за 6%, а небольшое количество за 7%.

Какой американский рабочий может получить заем за 6 или 7 процентов? Если вам не повезет, вы даже закладную под дом не получите дешевле 10 процентов.

Это — не торговля. Это программа экономической помощи. Это программа благотворительности.

Но я не интересуюсь этими суммами, хотя и не понимаю, почему наша страна теряет эти деньги, когда у нас самих серьезные денежные проблемы. Но главное, что меня интересует, это как используются эти средства.

180 миллионов американских долларов Экспортно-импортный банк выдал под низкий процент для развития производства азотных удобрений в Советском Союзе. Что случится с этим удобрением? Будут ли его экспортировать обратно в США? Или они его продадут — с прибылью — каким-либо недоразвитым странам в Европе? (Они, конечно, смогут и не давать его, как арабы делали со своей нефтью.)

Но почему же мы не вкладываем капитал в произ-

водство удобрения в нашей стране? Оттого, что нам надо создать Советскому Союзу возможность возвращать нам полученные кредиты. Зачем же мы вообще предоставляем кредиты? Чтобы они могли изучить наши технологические процессы. Почему же мы заинтересованы в том, чтобы они получали наши знания? Чтобы была возможность разрядки и мы могли бы жить в более мирном мире. Зачем же тогда Советский Союз поощрял арабскую агрессию на Ближнем Востоке, не говоря уж об арабском нефтяном шантаже? Потому что они еще не «наши партнеры в борьбе за мир». По-видимому, мы должны предоставлять им большую помощь.

Так мы вращаемся по кругу, господин председатель, и не приходим ни к чему большему, чем все возрастающие преимущества для Советского Союза.

Полубуйтесь другим займом, предоставленным Экспортно-импортным банком: 153.950.000 долларов (опять-таки при 6 процентах) предоставлены для создания завода грузовиков на Каме. Это должен быть крупнейший завод грузовых машин в мире. И этот проект был утвержден нашим правительством, хотя он имеет потенциальное военное значение, признанное департаментом торговли.

Этот факт, господин председатель, документально зафиксирован в новой книге, на которую я обращаю ваше внимание. Она называется «Западная технология и советское экономическое развитие. 1945-1965» и написана Антони Ц. Саттоном (Стенфордский университет). В этой книге доказано, что западная технология — «самый важный фактор в советском экономическом развитии».

Вы, может быть, помните, что американская фирма — корпорация МакКи построила самый крупный сталелитейный завод в мире в Магнитогорске. Форд строил первый советский автомобильный завод, Дженерал Электрик строил знаменитый Днепрогэс.

Сталин когда-то сам сказал американскому промышленнику Эрику Джонсону, что примерно две трети всех крупных промышленных предприятий Советского Союза построены на американских материалах или с американской технической помощью.

Так что, господин председатель, американская экономическая помощь Советскому Союзу оказывалась уже давно. Американские капиталовложения производились в СССР давно. То же самое касается американской технической помощи.

Такой исторический опыт неизбежно вызывает вопрос: что хорошего из этого получилось? Приблизились ли мы к миру? Это принесло нам то, что мы называли холодной войной. Или речь шла о разрядке, достигаемой другими путями?

Но создается впечатление, что руководители наших крупных корпораций не знакомы с историей. Они заключают свои частные сделки с Советским Союзом, предоставляя ему компьютерную технологию, комплексные строительства, телекоммуникационные установки, фото-оптическое оборудование, сложные инструменты, осциллографы, части самолетов, специальное оборудование для судов и подводных лодок — всякие специальные вещи такого рода и при том предоставляя дешевые кредиты, которые субсидируются американскими налогоплательщиками. Это, кстати, те же налогоплательщики, которые субсидировали расходы по изучению и развитию этой самой технологии.

Господин председатель, разрешите предположить, что есть границы терпения рядовых американских граждан. Они не дураки. Они знают, что ободрать их готов каждый. Во всяком случае это знает рядовой рабочий.

За последние годы он видел, как падает его уровень жизни.

Он видел, как цены побивают все рекорды, в

то время как заработки увеличиваются лишь умеренно.

Он видит, что существенная часть инфляции объясняется всё растущими ценами на продукты питания, и знает, что продажа пшеницы Советскому Союзу сыграла в этом большую роль.

Он видит растущие в геометрической прогрессии цены на горючее, и знает, что советско-арабский нефтяной шантаж играет в этом большую роль.

Он видит, что доходы корпораций растут астрономически, особенно доходы нефтяных компаний, а сам не знает, как свести концы с концами.

Он видит, как американский капитал плывет из страны в Советский Союз за 6-7 процентов, в то время как его банк отказывает ему в ссуде на покупку дома.

Он слышит, как господин Кендаль восхваляет советского диктатора, и видит, как обнимаются и целуются Киссинджер и Брежнев, а он думает об убитых во Вьетнаме и о жертвах храбрых израильтян.

Господин председатель, как долго, думаете вы, будет этот американец терпеть эту дикую разрядку?

Как долго, думаете вы, он будет терпеть политиков, которые заставляют его участвовать в этой игре? Сколько еще пройдет времени, пока все это не взорвется прямо в лицо создателей этого процесса, тех, кто дал нам Уотергейт, инфляцию, рецессию и бесконечное число других бед?

По-моему, не долго.

Но это не означает, что нам предстоит атомная война. Это не значит, что нам предстоит конфронтация. Это не значит, что мы против переговоров. И это не значит, что мы против разрядки.

Мы за подлинную разрядку. Мы за настоящую разрядку.

Мы за разрядку, в которой Советский Союз прекратит свою идеологическую войну с Западом. Только

Только тогда мы можем реалистично предвидеть разрядку международного напряжения.

Мы за разрядку, в которой Советский Союз проявит честную готовность остановить накопление оружия и откажется от цели добиться военного приоритета при переговорах СОЛТ II.

Мы за разрядку, в которой поток западной помощи Востоку будет соответствовать свободному потоку людей и идей в Восточной Европе и в Советском Союзе.

Мы за разрядку, в которой Советский Союз прекратит саботаж попыток установить мир на Ближнем Востоке.

Мы за разрядку, в которой Советский Союз прекратит вооружать партизанские движения и остановит другие попытки подрыва порядка.

Такая разрядка, настоящая разрядка, приветствовалась бы американским рабочим движением, всем американским народом и всеми народами мира.

Но сегодня у нас этого нет. Мы не строим бастионы постоянного мира. Мы строим песчаные замки на размокшем фундаменте мелкой жадности, подмены существующего желаемым, безответственности, самолюбования и простого неведения.

Неумение видеть мир таким, какой он есть, и ясно понять характер врагов свободы, где бы они ни находились, по сути дела — самая большая угроза миру сегодня. Эта угроза нигде не проявляется так ярко, как в иллюзии, которую мы называем разрядкой.

МИНИ Джордж — известный американский профсоюзный деятель. Родился 16 августа 1894 года. Работал слесарем, механиком. Учился в Нью-Йоркском университете. Доктор юридических наук, доктор honoris causa многих университетов. Ныне — президент АФТ-КПП.

«ИНДЕКС»

(на английском языке)

Журнал по вопросам цензуры

№. 4, 1975 г.

В номере:

- Александр Глезер: Неофициальное искусство в Советском Союзе
Людвик Вацулик: Неразрешённые мысли
Строб Талбот: Миссия Телфорда Тейлора в Москву
Роберт Портер: Творчество Милана Кундеры
Георг Мангакис: Солидарность
Диана Смит: Интервью с редактором лиссабонской газеты **Экспрессо**
Джон Григг: Зажим в Индии
Чехословакия — Открытое письмо Вилема Пречана и Карла Косика
СССР — Агентство Рейтер протестует

№. 1, 1976 г.

- Вячеслав Чорновил: Трагикомедия «Дело номер 196»
Мелани Эндерсон: Суд над Михайловым
Петру Попеску: Личный взгляд (на Румынию)
Вернер Фолкмер: 30 лет цензуры в ГДР
Сэр Роберт Бёрлей: Свобода печати — историческая перспектива

Адрес редакции: 21 Russell St., London, WC2B 5HP
Годовая подписка: 5.00 ф. ст. (14 долл. США) за 4 номера

Заказы на подписку направлять:

Oxford University Press, Journals Dept.
Press Rd., London NW10 0DD., England.

В США и Канаде журнал распространяется по книжным магазинам издательством Рэндом Хаус Инк., Нью-Йорк.
Random House Inc., New York.

Религия в нашей жизни

Евгений Б а р а б а н о в

СУДЬБА ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1

Раскол жизни на «церковную» и «мирскую» — несомненно один из самых острых и мучительных кризисов, который не только сегодня, но уже несколько столетий переживает как восточное, так и западное христианство. И не только христианство — вся наша новоевропейская цивилизация живет под знаком глубокой раздвоенности и потому несет на себе печать кризиса.

Этот кризис обнаружился с распадом христианского Средневековья. Углубленный на Западе Ренессансом и Реформацией, и через эпоху Просвещения пришедший в Россию, он стал неизбывной проблемой нашего времени. Теперь мы все чаще и чаще задаем вопрос: как произошло, что культура, зачатая и выросшая в лоне церковного культа, обособилась и значительной своей частью как будто окончательно ушла из Церкви? Почему вот уже несколько столетий Церковь и культура противостоят друг другу как два обособленных начала и порознь свидетельствуют о своей правде? Эти две правды давно живут бок о бок: правда о Боге и правда о человеке, правда о небе и правда о земле, правда о благодати и правда о природных силах человека.

Как примирить их?

Долгое время полагали, что договор о мире до-

стигается только победой в войне, что внешняя сила и веские аргументы могут быть гарантией окончательности победы и началом вечного мира. Но всегда ли одержать верх с помощью силы — значит победить? И оглядываясь на историю Нового времени, в котором жажда целостной жизни и культуры были столь же велики, как и сегодня, нельзя не признать, что вся история борьбы за конечное торжество единого принципа в действительности составляет неразрывную цепь глубоких ошибок и неудач. Бессильными оказались тут и поспешные уступки и компромиссы, с помощью которых пытались унять горечь взаимных обвинений и упреков. Грань, отделяющая Церковь от нашей новоевропейской культуры, не исчезла, не упразднилась вовсе. Правда, кое-где она оказалась размытой, кое-где малозаметной, но в целом — по-прежнему нерушимой. И порой мы сами толком не знаем, что нам в том или ином случае следовало бы предпочесть. Мы живем в новой цивилизации, органически срослись с нею и никогда не сможем «просто» освободиться от трагического ее разлада. И только в Церкви осознаем мы всю ущербность противостоящей ей культуры, хотя, может быть, более всего, именно через культуру понимаем и ущербность нашей сегодняшней церковной жизни. В этом мучительном опыте раздвоения становится очевидной также и вся невозможность того благочестивого синтеза, к которому призывали нас многочисленные миссионеры с обеих сторон.

Вполне естественно, когда наш современник, человек безрелигиозный, но порой благожелательный к убеждениям других, стремясь подчеркнуть свою широту, терпимость или даже «беспристрастность», отводит религии, наряду, скажем, с искусством и литературой, одно из почетных мест в общем здании цивилизации. Однако религиозное сознание резко протестует против подобного «синтеза»: религия — не фрагмент в общей мозаике жизни, но нечто первичное, — более глубокое

и важное, нежели просто «одна из» составных частей цивилизации. И потому уравнивающему, эклектическому духу безрелигиозного гуманистического сознания христианство упорно, хотя, может быть, и недостаточно четко, противопоставляет начало целостной жизни. Эта целостность предполагает не только субъективное устранение противоречий между храмом и безрелигиозной культурой, но и созидание всеобщих и органичных форм жизни, посредством которых могло бы раскрыть и запечатлеть себя христианское благовестие о Боге и человеке.

Для многих такая позиция кажется сегодня необоснованной претензией: ни наука, ни философия, ни социология, ни политика, ни искусство как будто не нуждаются ни в идее личного Бога, ни в религиозных верованиях. Конечно, в частной жизни человек может заключать свою «личную унию» между религиозностью и культурным творчеством; но это дело его собственного благочестия, личного выбора, а уж никак не существо общих творческих усилий современной цивилизации. Цивилизация не препятствует нам искать духовной встречи с Реальностью, мучиться религиозными или нравственными проблемами, но сам строй «цивилизованной» жизни, вся система общепринятых оценок и норм как бы дают понять, что это — исключительно частное наше дело. Ведь для науки рефлексологии, например, совершенно безразлично — был или не был верующим её основатель ученый И.И. Павлов. И уже одно то, что его собственная религиозность никак не окрасила эту область научного знания, является мощным аргументом против претензий религиозного сознания на творчество целостной христианской культуры. Несомненно, в этом — страшный трагизм положения христианина в современной цивилизации: верующий человек может употребить свой талант, творческую инициативу, — всю свою жизнь, — на работу в той области, которая ничего не ждет от

его христианства и даже не испытывает потребности в «гипотезе Бога». Сама же современная секулярная культура, в которой укоренена наша работа, досуг и быт, как будто бы вполне успешно может обойтись и без Бога, и без Церкви, и без религиозной догматики и космологии — во всяком случае, именно это настойчиво утверждает обыденное сознание.

И многие верующие, принимая сложившиеся противоречия между Церковью и цивилизацией как неизбывные, пытаются разрешить их посредством внутреннего ухода от современной культуры. Однако подобное «самоограничение» религиозной жизнедеятельности в действительности не решает существа проблемы: на путях сужения и минимализации сферы христианской жизни, а потому и неминуемого ее развоплощения, нас ждет не преодоление кризиса, но еще большее его углубление. Тема о судьбе христианской культуры должна быть не устранена из области религиозной жизни, но поставлена для ее разрешения на одно из центральных мест.

Понятие «культура», в современном его значении, — позднего происхождения. Вместе со своим синонимом «цивилизация» оно возникло только лишь в XVIII веке, а в России появилось еще позднее — в середине XIX века. До этого времени пользовались такими понятиями как «образование», «просвещение», «духовная жизнь». Теперь понятие культуры стало одним из центральных в нашей жизни; по содержанию оно гораздо шире того, что раньше называли «умственным и нравственным образованием». Обычно культуру определяют как «совокупность духовных и материальных достижений общества». Однако эта дефиниция нуждается в уточнении: «совокупность достижений» представляет собой не музейную кладовую, не случайный и механический набор разнородных элементов, а ценностно ориентированную систему, воплощающую опреде-

ленную концепцию действительности, определенный взгляд на бытие и человека. Именно в соответствии с этой концепцией действительности и осуществляются конкретные способы духовно-материальной организации и упорядоченности жизни, вырабатываются собственные моральные, правовые и эстетические нормы. Древний грек смотрел на мир и человека совсем не так, как смотрели на него индуист, еврей, христианин или мусульманин. «Народ, который в течение тысячи лет слышит трижды в день голос муэдзина, не может жить той же жизнью, или смотреть теми же глазами, как индуист, который обожествляет жизнь природы в ее бесчисленных формах и смотрит на внешний мир как на проявление игры космических сексуальных сил» (К. Доусон). Поэтому то, что в одной культуре утверждается как универсальное, истинное и достойное, в другой культуре может представляться условным, ложным и постыдным.

В этом расширительном значении понятия культуры проблема раскола жизни на церковную и мирскую есть уже нечто более серьезное, нежели старые оппозиции монашества и мира, образования «духовного» и «светского». Тогда эти оппозиции ставились и решались в однородном контексте культуры — внутри общества, которое осознавало и утверждало себя как общество христианское. Поэтому оставаться «в миру» отнюдь не означало быть вне общины верующих, вне Церкви, вне общих постов и праздников или общепринятых представлений о правилах поведения. Монастырь и общество расходились лишь в конкретных способах осуществления христианской жизни, но были едины в ее религиозном понимании. Положение вещей радикально отличное от современного, где религия и религиозные ценности не являются господствующими и общезначимыми. В течение многих десятилетий секулярная культура упорно стремится воплотить в жизнь свою собственную целостную

картину мира, выдвигает свои, подчас ничем не связанные с христианством идеалы, нормы и правила. И поскольку культура есть определенный способ упорядочения духовно-материальной и исторической жизни общества, посредством которого утверждается единство языка, значений, норм и шкалы ценностей, то очевидно, что противостояние двух различных картин мира, двух различных мироотношений в рамках одной общей цивилизации не есть нечто легко преодолимое. И в самом деле, как разделить в своей «цивилизованной» жизни то, что в сфере культуры принадлежит кесарю, и то, что принадлежит Богу?

Ведь культура как целое не есть набор различных не связанных ничем между собой и потому независимых друг от друга ценностей и форм, из которых что-то одно может быть мною произвольно выбрано, а что-то — отброшено. Эстетически мы предпочитаем тот или иной исторический период культуры, искусство или литературу того или иного времени, но реально мы живем, мыслим, трудимся и творим только в нашей, непосредственно данной нам культуре. Не будем пока обсуждать вопроса о том, как мы влияем на свою культуру, какие ценности в ней осуществляем или отрицаем. Важнее понять другое: каждая культура — это прежде всего целостная картина мира, порожденная какой-либо определенной точкой зрения на этот мир. И этой изначальной точкой зрения, воспринятой господствующей частью общества или его большинством, обусловлены формы почти всей духовно-практической деятельности человека, способы его жизнеустройства и миропостижения. Дальнейшее развитие культуры, логика ее становления, ее стиль — есть не что иное, как раскрытие всех возможностей воспринятой однажды точки зрения. Разумеется, единый взгляд на мир, порождающий целый спектр сменяющих друг друга мировоззрений и индивидуальных стилей, не исключает

возникновения и другой, принципиально иной точки зрения. Но между ними нет и не может быть «мирного сосуществования». В конце концов одна или упраздняет другую или становится господствующей в рамках того синкретического единства, которое принято называть цивилизацией. Во всяком случае именно так сложилась наша современная цивилизация с появлением христианства.

2

Само христианство было новой, принципиально новой точкой зрения на мир. И по мере того, как на основании христианского взгляда на универсум создавалась новая картина мира, перестроившая всю структуру духовных и социальных отношений, в недрах языческого мира возникала новая целостная культура, постепенно втягивавшая в свою орбиту все новые и новые народы. Эта целостная культура обрела законченность в эпоху безраздельного господства христианства — в Средние века.

Если пользоваться образами, то можно сказать, что средневековые созидало свою культуру как огромный Собор. Оно пыталось увидеть мир и человека с точки зрения Бога. И потому храм, возвышающийся над всем городом, не есть просто здание в ряду других строений. Он — центр духовной и социальной жизни, живой символ космоса, одухотворенного литургической мистерией. В нем нет ничего случайного и произвольного: и в плане и в деталях он подчинен единому замыслу, утверждающему причастность всего существующего к Божественному бытию. Только это бытие есть высшее благо и совершенство. И как абсолютная полнота, оно есть призыв всего тварного к окончательному воссоединению со своим Создателем. Но Бог не только призывает: Он сам нисходит к человеку и потому храм, по выражению патриарха

Гермогена, суть «земное небо», в небесных пространствах которого обитает Бог. Запредельное подчиняет себе формы, собирает их в гармоническое единство: купол объединяет собою внутреннее пространство и соединяет людей в одно тело, пронизанное нисходящим движением Божественной любви. Интерьер византийских соборов утверждает актуальность Божественной полноты. Человек здесь защищен от паскалевской тоски перед бесконечностью пространства. «И всякий раз как кто-нибудь входит в храм Св. Софии, чтобы помолиться, — свидетельствует византийский историк Прокопий Кесарийский, — он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что Он находится недалеко»...

И так было не только в Византии, но и на Западе. И оттого под сводами храма ищут себе место и история, и космология, и многообразный опыт человека. Прошлое — творение мира и человека, его грехопадение и странствование по путям истории — сменяется рассказом о Благой Вести христианства и видениями грядущего Суда... И в эту всемирную драму спасения вплетаются изображения святых, королей, монахов, горожан, пастухов, аллегии наук и добродетелей; здесь и фигуры из античной мифологии, языческие философы и ученые, и мир растений и животных. Все это богатство подчинено строгой логике богословской системы, которая, в свою очередь, предстает как логика самого миропорядка, раз и навсегда установленного Творцом.

Но не только богослужение и созерцание, — само возведение Храма уже есть мистерия. Хроники рассказывают, как на строительство собора Богоматери в Шартре богачи, вместе с крестьянами, впрягались в тележки, подвозившие строительные материалы. И никто не дерзал прикасаться к строительному

камню, принадлежавшему Богородице, предварительно не исповедавшись и не примирившись с врагами... Не из этой ли добровольной и безымянной жертвы и сложилась величественная гармония Храма?

И до сих пор внутренняя структура храма остается верной сложившемуся в раннем средневековье трехчастному делению. Алтарь, неф, притвор — это не только функциональное разделение внутреннего пространства, но и символическое описание универсума. Алтарь — мистическое небо, неф — единство верных, образ будущего Царства, притвор — символ земной жизни, полностью еще не просвещенной светом Евангелия... Символизм христианского средневековья не случаен. Он постулировался как основная форма миропостижения и мышления, как единственный способ выражения встречи духовной и земной реальностей. «Явленные вещи суть иконы вещей незримых», писал псевдо-Дионисий Ареопагит. И потому символичны не только храм и богослужение, но и весь мир: пространство и время, природа и общество, человек и его история. Храм — лишь центральная точка, из которой берет свое начало всеобъемлющий универсализм средневековой культуры и жизни. Из храма излучается и принцип иерархичности, «чиноначалия», пронизывающий космическое, социальное и идеологическое пространство. Отсюда же — ценностная ориентация средневекового человека во времени и пространстве, полностью определяющая его жизнь и познавательные интересы. («Священная история», суточный и годовой богослужебный круг, деление мира на христиан и «неверных»; святые места и паломничества к ним, крестовые походы, «христианская топография» как особая наука и т. д.).

Христианское средневековье созидает и собственные формы хозяйственно-экономической жизни. Церковь восстает против античного гнушения трудом и утверждает его праведность. Если Христос вырос в

семье плотника, а апостолы были простыми рыбаками, то христианин, — будь он монахом или мирянином, — подражая им во всем, должен подражать им и в труде. Отсюда понятно, что труд регулировался не столько заработной платой, собственной выгодой и принуждением, сколько высшими религиозно-этическими нормами. И если праздность есть грех, то еще большим преступлением является ростовщичество: «деньги не могут родить денег». Начиная с IV века, церковь последовательно, целым рядом соборных постановлений, запрещает взимание процентов на капитал. Уже Арльский собор 306 года определяет, что клирики, дающие деньги за проценты, должны быть отлучаемы от церкви; а один из канонов Латеранского собора (1179 г.) повелевает, «чтобы заведомые ростовщики не допускались к причастию и, если они умрут, пребывая в своем грехе, чтобы их не хоронили по христианскому обычаю, а священники — не принимали от них пожертвований». Такое отношение к ростовщичеству сохраняется в Западной Европе (за исключением Италии) до XV-XVI веков — до эпохи Реформации. С неменьшей тщательностью этического заподозривания рассматривались вопросы о частной собственности и торговле, о способах установления справедливых цен, о распределении земель. Вообще, хозяйственно-экономическую жизнь средневековые стремятся рассматривать под знаком Божественного, а не «только человеческого» права. И потому натуральное хозяйство надолго остается исполненным более личных отношений, «не облакаясь в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда» (К. Маркс).

Иными словами, средневековая культура не хочет знать ничего обособленного или нейтрального по отношению к Богу. Нет ничего, что не имело бы Бога своим центром. Нет и не может быть подлинного знания «самого по себе». Ибо знание не есть цель,

но следствие соединения человека с Богом. Знание становится греховным, если оно не ведет в конечном счете к познанию Бога. И поскольку Бог есть начало и конец всех вещей, то и все науки должны подчиниться главнейшей из наук — теологии. Но самое важное при этом — смотреть на мир «взором Божиим» (Св. Максим Исповедник), — то есть тем целостным, исключаящим частичные, «посторонние» точки зрения, взглядом на мир, который христианские аскеты называли «оком единственным». Именно эта позиция по отношению к бытию и создавала единую т е о ц е н т р и ч е с к у ю картину мира.

3

Но вот с эпохой Возрождения рождается иной взгляд. И вместе с ним начинается новая эпоха европейской истории. Теперь человек полагает себя высшей ценностью мироздания. Мир открывается ему как широкое поле для проявления его собственных возможностей. И постижение этого мира находится в зависимости не столько от Откровения, сколько от человеческого разума и воли. Кажется, что человеческие силы близки к божественным. Человек захвачен своей стихийной мощью — он внутренне свободен, ему все дозволено и всё ему принадлежит. Как знаменательны слова итальянского гуманиста XV века Марсилио Фичино: «Человек не желает ни высшего, ни равного себе и не допускает, чтобы существовало над ним что-нибудь, не зависящее от его власти... Он повсюду стремится владычествовать, повсюду желает быть восхваляемым и быть старается как Бог всюду... Кто станет отрицать, что гений человека... почти такой же, как у самого Творца небесных светил и что он... мог создать эти светила, если бы имел орудия и небесный материал». Жадное влечение к тайне бытия

заставляет новоевропейского человека раздвигать пространства: он пересекает океаны в кругосветных путешествиях, посредством телескопа преодолевает естественную ограниченность зрения, чтобы увидеть беспредельность Вселенной.

Но еще большим выразителем нового духа явилось искусство. Художник открывает природу и человека так же, как ученый открывает законы мироздания. И здесь его интересует всё: и мифы древности, и памятники античности, и мудрость «божественного Платона», и научное построение перспективы, и анатомические познания, и мир душевных переживаний. С его экспериментирующим и эстетическим подходом к реальности меняется сама система мышления и языка, рождаются новые цели, задачи, потребности. Под напором нового подхода к миру неудержимо рушатся сложившиеся в старину каноны. И неудивительно, что для художника эпохи Возрождения отесняется и умирает священное, иератическое искусство. Живопись и скульптура выходят из храма в мир — теперь они служат тому, чтобы возвеличивать красоту и мужество человека, прославлять художника (делая его одной из важных точек в отсчете истории), украшать многолюдные площади и частные жилища. Картина сменяет икону, золотой фон — символ духовного неба — заменяется пейзажем, метафизическое изображение пространства — иллюзионистической перспективой.* Открывается красота природной жизни и телесных форм. Средневековый мир становится чужим, непонятным, «варварским». Вазари с

* П. А. Флоренский, специально занимавшийся историей перспективы, пришел к следующему выводу: «историческое дело выработки перспективы шло вовсе не о простой систематизации уже присущего человеческой психофизиологии, а о насильственном перевоспитании этой психофизиологии в смысле отвлеченных требований нового миропонимания» («Обратная перспектива»).

насмешливым пренебрежением говорит о средневековой храмовой росписи, где экстатические фигуры святых изображены «стоящими на цыпочках, с безумными глазами и распростертыми руками»...

Правда, храм еще долгое время остается центральным местом в городе. Однако смысл и назначение его существенно меняются — теперь это не только место богослужения, но и народный форум. Здесь происходят диспуты на философские и политические темы, устраиваются театральные представления, концерты и литературные состязания, где читаются произведения античных и современных авторов. Порой здесь совершаются свадебные балы и даже пирушки — с музыкой, играми и танцами... Интерьер ренессансного храма прост, ясен и обозрим, как кажется обозримым и познаваемым окружающий мир. И не случайно Альберти, рассказывая о Флорентийском соборе, отмечает в нем достоинства, о которых даже не помышлял человек христианского средневековья: «Этот храм заключает в себе изящество и величие, и, что меня приводит в восторг... я вижу соединенными в этом храме: удивительную легкость вместе с солидностью, здоровой и прочной, так что кажется, что каждая часть этого храма сооружена ради изящества. Поэтому если верно, как говорят, что наслаждения обретаются там, где наши чувства получают все, что они могут требовать от природы, то кто усомнится называть этот храм приютом наслаждений? Здесь, куда бы ни взглянул, ты видишь повсюду веселье и радость»...

Человек эпохи Возрождения мыслит себя мерой всех вещей, и эту меру прилагает ко всему миру, ко всей своей деятельности, включая и религию. «Излишняя религиозность вредит миру, — писал Гвиччардини, — она толкает людей на тысячи ошибок и отвлекает их от многих благородных и мужественных дел». И в этом повороте от Божьего к человеческому, в

самом отказе от языка религиозного универсализма, от религиозного масштаба и меры, от стремления к запредельности бытия, зреет основоположный принцип секулярной культуры — стремление к безусловной автономии различных сфер человеческой жизни. Жизнь перестает быть паломничеством к вечности. На престижной шкале ценностей монашеское религиозное созерцание вытесняется социальной активностью, деятельной жизнью в мире. Уже не Храм, а «Город Солнца» занимает мечты нового человека...

С недавнего времени стало общепринятым говорить о трагизме ренессансной культуры, о том, как постепенно измельчали и атомизировались её грандиозные замыслы, как яд индивидуализма разрушил оторванную от трансцендентного начала личность. Однако подлинной трагедией следует считать все-таки не закат Ренессанса, а то, что на протяжении нескольких столетий эпоха Возрождения оставалась для большинства идеальным прообразом современного человечества. Мало кто нашел в себе мужество усомниться в непреложности самих исходных принципов, впервые утвердившихся в эпоху Ренессанса. Если это и делали, то чаще всего — с позиций обскурантизма или крайнего нигилизма. Обычно каждый кризис пытались излечить новым лекарством, не замечая того, что принципиальная новизна его весьма относительна и условна. Из десятилетия в десятилетие сменялись различные философские системы и социальные теории, менялись научные концепции, возникали и умирали художественные стили — но всё это было лишь раскрытием той первоначальной, глубоко укоренившейся точки зрения на бытие, благодаря которой с имманентной необходимостью, мазок за мазком, каждая новая система и концепция воссоздавала запечатленную культурой единую антропоцентрическую картину мира.

Как отнеслись к новой культуре, к новой картине мира христиане? Поначалу сопротивляясь, они, в конце концов, незаметно для себя, частично приняли этот взгляд. В большей степени это коснулось космологии, отношения к науке, искусствам; в меньшей — социально-экономической жизни. Изменения под воздействием внешних влияний претерпело даже само ядро христианской культуры — религия. Оглядываясь назад, мы видим, как теология, вместе со всей цивилизацией переживает периоды то рационализма, то позитивизма, то экзистенциализма. Мы видим, как новоевропейские социальные, политические или националистические концепции изнутри определяют жизнь Церкви с неменьшей силой, нежели жизнь государства. Мы видим храмы, построенные в стиле барокко и классицизма, росписи, выполненные в духе плоского реализма или модерна, статуи и картины, в которых творческий эксперимент или каприз художника оказываются главной их ценностью. И в этом нет ничего удивительного: заказчика вовсе не интересует, родились ли новые пластические формы в творениях архитектора и художника под влиянием христианского мироощущения или они возникли в результате не связанного с Церковью имманентного развития искусств. Важно, чтобы внешний вид и внутреннее убранство нового собора не отпугнули своим «архаизмом» современного человека. И вот один за другим строятся храмы из стекла и бетона, украшенные в стиле поп-арта и озвученные джазовыми ритмами...

Как оценить эти выбранные наугад факты, которые в России успели проявиться лишь частично, более всего в петербургский период ее истории? Что означает такое принятие секулярной культуры Церковью? Признание ее правды или приспособление к ее власти? Или то и другое одновременно?

Защитники христианского модернизма обычно указывают, что Церковь всегда говорит на языке своего времени, что заимствование новых форм не является для нее существенным или принципиально важным. Но так ли это?

Из опыта мы знаем, что форма не безразлична содержанию. Все творческое и живое ищет собственной безусловной формы. И обратно — всякая форма, органически воплощающая то или иное творческое задание, прежде всего служит ему, а не чему-либо другому. Если, например, согласно первичному назначению иконы, перед ней можно только предстоять, созерцать и молиться, то вся образная система картины ставит нас уже в иную позицию: она втягивает в свое пространство и неумолимо превращает нас в зрителей. Ведь картина, даже с сюжетом религиозным, обращена не столько к молитвенному благочестию зрителя, сколько к его способности вступать в диалог с изображаемым: изучать, разглядывать, размышлять, оценивать. И это справедливо как по отношению к языку визуальному, так и ко всякому другому, будь то язык науки или литературы. Он целостен. Отражая систему определенного типа сознания и опыта, он не позволяет произвольно принять одно и отбросить другое. Даже такая область современной цивилизации, как наука, к которой мы обычно прилагаем предикаты «объективности» и «безусловности», даже она — представляет собою только лишь одну из «символических форм» культуры — то есть одну из исторически возможных символических позиций человека по отношению к бытию. Но может быть и другая позиция, другой опыт Реальности, другая шкала ценностей. Чаще всего мы ничего не хотим знать о них. И оттого, быть может, столь бесплодными оказываются наши попытки увидеть в прошлом что-либо иное, кроме наших собственных проблем. В самом деле, что, например, ценного может увидеть современ-

ный ученый-позитивист, скажем, в астрологии, магии или алхимии? Ничего! То есть ничего иного, кроме «переходной ступени в развитии научного мышления от суеверия и псевдонауки к науке подлинной». Можно подумать, что древний мир только для того и существовал, чтобы подготовить «почву» или «элементы» для новоевропейской цивилизации! Однако следует думать, что это не так, что в древних культурах те же астрология и алхимия почти полностью отвечали тем духовным запросам и жизненным потребностям человека, которые в его концепции действительности, в его культуре являлись наиболее важными и значительными. (Вспомним здесь о евангельских волхвах, которые пришли поклониться родившемуся Христу). И если для новоевропейской цивилизации связь судьбы человека с космической жизнью небесных сфер или стремление вернуть естество вещей к истинному их состоянию представляется не заслуживающим внимания суеверием, то разве это может служить достаточным основанием для того, чтобы считать только наши запросы достойными звания человека, а современную мифологию бытия — «точным слепком» Реальности?

Впрочем, речь сейчас не об условности и не о символизме культуры, но о ее цельности. И здесь важно осознать, что всякая культура представляет собою организованную по единому принципу иерархическую структуру, внутренне безусловно «тоталитарную» и, таким образом, стремящуюся осуществить себя в качестве общезначимой и общеобязательной. И даже свои собственные, исторически сложившиеся нелепости и неурядицы она предлагает решать на ею же заданном языке. В этом смысле культура действительно может быть истолкована как определенного рода текст, в котором запечатлена не только информация о духовных достижениях общества, но и изначальная точка зрения, вместе с порожденной ею системой норм, оценок и оппозиций.

В свое время христианство, возникшее в недрах античного мира, воспользовалось языком и формами эллинистической культуры. Но оно их радикально переработало, перепланировало применительно к своим нуждам. Христианское храмостроительство началось с античных «образцов» — с римской базилики («мирское» здание, предназначенное для суда и торговли) и языческого мавзолея. Но через некоторое время из этих предпосылок рождается нечто совершенно новое, уникальное: храм св. Софии, романские, готические и древнерусские соборы. Византийское искусство вообще проявило мало инвентивной энергии: оно не изобрело, в сущности, ни одной новой отрасли художественного дела. Но многие из них оно развило до полного совершенства и до полной неузнаваемости в них первоначальной, ограниченной в средствах инициативы. Так произошло с известными римско-эллинистическому миру мозаиками, искусством перегородчатой эмали или «фаюмским портретом», оказавшимся одним из «прототипов» иконы. Аналогичные процессы проходили и в области религиозной мысли, и в области церковного управления.

Итак, очевидно, что современное религиозное сознание, если оно хочет оставаться верным себе, собственному целостному взгляду на бытие, не может без серьезной внутренней трансформации принять в свой обиход язык сознания обмирщенного и, уж тем более, атеистического. Этот язык воплощает мир иных форм, иных мифов, иных представлений. Между ним и христианством лежит пропасть, зияние которой можно замалчивать или из-за бессилия преодолеть ее или по боязни «отстать от жизни», остаться «вне истории». Этими реакциями на жизнь и культуру отошедшего от Церкви мира обусловлено многое в судьбах церковного консерватизма и модернизма. Собственно, современные консерватизм и модернизм по существу и есть реакция на секуляризацию. Но реакция

запоздалая, противоречивая, отражающая ситуацию глубокого кризиса, в котором оказалась современная церковная жизнь. И если консерватизм пытается отгородить Церковь от окружающего ее враждебного мира при помощи сужения церковной жизни до границ сакраментализма и пассивного созерцания реальностей «иного мира», то модернизм утверждает совершенно противоположное: принципиальную совместимость двух картин мира. Для него христианское мировоззрение не только не противоречит строю современной культуры, но как раз призвано воспользоваться ее достижениями — наукой, искусством, философией, социальной и политической активностью. «Всё это надо только освятить, христианизировать», — говорят модернисты. Разумеется, при должной изобретательности христианство можно приспособить к сложившимся потребностям современного человека, сделать его «приемлемым». Можно и мифы современной цивилизации окрасить в тона христианского жизнепонимания. И в этом направлении уже много сделано. Но неверие ума от этого не перерастает в веру, а гностицизм — в христианское знание.

В поспешном стремлении модернистов всё принять и всем угодить, — то есть гармонизировать противоречия нашей цивилизации и, тем самым, поднять престиж христианства, — трагическое несоответствие разных типов сознания и жизни отнюдь не снимается, но просто прикрывается внешним декором. Конечно, при бедности и наготе не грех принять одежду с чужого плеча. Но разве христианство так обеднело? Или оно не способно к собственному творчеству? А если это так, то прикрывая ветхость или старомодность своих риз новыми одеждами, не следует ли честно признаться: к жизни тела эти переодевания имеют самое косвенное отношение.

Об этом болезненном замирании христианства с глубокой скорбью писал в начале века замечательный

русский религиозный мыслитель В. В. Розанов. И его диагноз, предвосхитивший идеи Бонхоффера и многих других западных богословов, остается во многом верным и для сегодняшнего дня. «Все христианство, — писал Розанов, — в его кристаллических, оформленных явлениях (церкви) тает; оно гаснет, догорая... Христианство более и более сходит к моральным трюизмам, к прописям то легоньких, то трудных добродетелей, которые не могут помочь человечеству в великих вопросах голода, нищеты, труда, экономического устройства. Поневоле христианство занимает какой-то уголок в современной цивилизации, когда в младенческие средние века оно окрашивало и имело силу окрасить всю цивилизацию. Цивилизация не то чтобы не хочет подчиниться христианству, но христианство не умеет и не имеет никаких способов и, наконец, отчасти не хочет подчинить себе цивилизацию, по разности категорий, в которых выражено оно (христианство) и она (цивилизация). У них нет зубчатых, взаимно цепляющихся колес, какими они могли бы захватить друг друга. Христианство вдруг оказалось ограниченным, не всеобъемлющим, не универсальным, когда оно выдавало себя за таковое и очень долго его принимали за таковое. Ни которая из церквей и, наконец, все христианство не может ответить на самые мучительные вопросы ума, на самые законные требования жизни; и цивилизация не столько враждебна к нему, сколько получает неожиданную возможность, почти невольную необходимость, смотреть на него почти с грустью и с жалостью, как на младенца, или, пожалуй, как на впавшего в младенчество старичка, который не умеет посоветовать, наставить выросших своих детей, да даже понять как следует их горести, нужды не умеет...»

Очерк В. В. Розанова «Русская церковь», из которого приведена настоящая цитата, был опубликован в 1906 году. С тех пор многое изменилось: теперь мы

знаем религиозно-философское и церковное возрождение начала века, захватившее достаточно широкие слои интеллигенции и верующих как в России, так и на Западе, кровавый опыт революционных переворотов, войн и тоталитарных режимов, взрывы атомной бомбы, экуменическое движение, реформы Второго Ватиканского Собора... Эти различные по масштабу и духовному смыслу события заставили многих серьезно переоценить место и роль христианства в современной цивилизации. И чаще всего такая переоценка была началом религиозного обращения и поворота к Церкви.

Однако ни религиозные обращения, ни внешние потрясения, ни церковные реформы не отменили главного и рокового вопроса: не является ли все-таки церковное христианство, как целое, лишь одной из культурно-исторических форм духовного опыта человечества? Не Евангелие, не таинства, — а все те выросшие на их основе усилия мысли и творчества, с помощью которых христиане пытались утвердить образ целостной религиозной жизни? Не пережил ли уже христианский мир периоды своей юности и зрелости, а теперь, — неспособный творить новую жизнь, — клонится к закату?

Или, говоря иными словами: не является ли Средневековье, — как думали романтики, славянофилы и символисты, а вслед за ними так же продолжают думать и многие современные верующие, — единственным и адекватным выражением целостной христианской жизни и культуры, тогда как других, не средневековых, развитых, всеохватывающих, органических форм не было, нет и быть не должно? Не отсюда ли растерянность и беспомощность современного христианства, старающегося шагать в ногу со временем и одновременно сохранить свою средневековую догматику, литургику, каноническое право в условиях совершенно иной культуры? И, может быть, не случайно, что наука, техника, экономика, право на свободу твор-

чества и суждения возникли в результате ослабления уз церковного христианства и раскрепощения от его опеки? Может быть, не из косности и предрассудков преследовался Галилей и горели костры инквизиции? (Ведь церковь не раскаивается в этих поступках — не собирает соборов для реабилитации, не совершает в память своих безвинных жертв ни молитв, ни богослужений). Может быть, под влиянием всеобщего либерализма христиане просто деградировали относительно прежних поколений и теперь, вместо костров действительных, которые им разжечь не позволяют, вынуждены лишь в воображении смаковать адские мучения для инакомыслящих? Но по существу — не одно ли это и то же? И может быть, вовсе не к «чужачеству» следует отнести утверждение одного из выдающихся православных богословов XX века о связи будущего возрождения христианства с возвращением к основам средневековья, включая сюда даже птоломееву систему? Может быть, и в самом деле, под небом Коперника христианство хиреет и мельчает не случайно, а вполне закономерно?..

5

Все эти вопросы, если они поставлены извне христианства, могут быть легко опровергнуты: праведный гнев и нравственная чуткость современного антирелигиозного оппонента — не только его собственная заслуга. Это еще и следствие почти двухтысячелетней проповеди христианства. Что же касается секулярной культуры, то при всех ее высочайших достижениях в области знания, искусства, социально-экономических и правовых преобразований, она давно уже живет под знаком глубокого кризиса и неотвратимо приближающейся катастрофы. Ее основания зыбки и неустойчивы. Она изнутри разъедается собственными

противоречиями — в каждом новом жесте утверждения уже таится яд его отрицания. И в этой, не подчиняющейся разуму и воле, смене причин и следствий, человек как будто обречен на абсурдное существование Сизифа. Но мир в его руках лишен твердости — он постоянно расплавляется, течет. Он, как Протей, меняет свои образы, оставаясь недоступным классической ясности и завершенности. И потому надежда и энтузиазм неотвратимо сменяются взрывами отчаяния и опустошенности. Этот рок преследует новоевропейского человека в каждом моменте его истории, на каждом этапе его усилий: преодолевая зло элитарности, он затягивается в стихию варварства, массового потребления; отрицая систему социального неравенства — задыхается во власти тоталитарного коллективизма; утверждая «достоинство» своей нации — порождает кошмар расизма; освобождая народ от «самодержавного деспотизма» — готовит ему массовые лагеря уничтожения на Архипелаге смерти... И так — не только в сфере социально-политических преобразований, но и в области культуры, техники, быта.

Так какому же из этих ликов или, скорее, личин мира должно «соответствовать» христианство? кому подражать? на какую «картину мира» равняться?

И оглядываясь на тихое сияние униженной и страдающей Церкви, как здесь не воскликнуть: да, проходит образ мира сего, но вот — то, что не проходит, вот — образ вечного, вот — столп и утверждение Истины!.. И каковы бы не были мифы, блуждания и претензии безбожного мира, — Церковь переживает их. Перед лицом смерти, страдания и одиночества, перед натиском греха и распада, человек нигде не найдет себе достаточной опоры и надежды, кроме как в Церкви. Ибо через нее обращается ко всем Тот, Кто победил смерть и грех мира, Тот, Кто сказал о Себе: «Аз есмь путь, истина и жизнь».

Подобная аргументация, которую не трудно углубить и расширить, — сегодня не редкость в устах христиан. Можно даже сказать, что она популярна. Но популярна она не в силу своей всеобъемлющей справедливости, а прежде всего потому, что притупляет остроту стоящих перед нами проблем, потому, что служит удобным оправданием собственной беспомощности и пассивности. Но эти же вопросы — вопросы о «средневековых ризах» церковной жизни — могут быть поставлены и внутри христианства. И здесь они оказываются гораздо серьезнее и значительнее, чем это может показаться профессиональным апологетам.

Обычно медиоцентризм* церковной жизни христиане оправдывают ссылками на Предание, на верность традиции. Но разве Предание и традиция полагают предел творческой активности? Разве Предание, посредством которого мы погружаемся в познание Истины, тождественно археологическому музею? Безусловно нет! Но на практике, в самом образе жизни, мы превратили Предание в магический круг, в черте которого чувствуем себя удобно и безопасно. В нас говорит какая-то глубокая заморозенность, подавленность величием прошлого. Гипноз патристического богословия и средневековой культуры как будто парализовал нашу волю. И оттого мысль и творчество неотступно склоняются к проторенным, но теперь уже круговым путям эпигонства и стилизации. Церковное Предание, свидетельствующее о творческом дерзновении человека под водительством Святого Духа, выродилось у нас в застывшее «благолепие», в культ Типикона. В данном случае Типикон — только символ, символ того, как наше благочестие стремится и богословие, и икону, и образ святости — всё свести

* Сознаю, что термин «медиоцентризм» (от фр. *médiéval* = средне-средневековый) — не особенно удачен, но в русском языке пока еще нет иного эквивалента для краткого выражения этого понятия.

к какому-то окончательному «церковному уставу». Сделать это не трудно: стиль языка нашего обряда, литургики, храмового искусства, канонического права и даже проповеди — целиком медиоцентричны. Но нужны ли сегодня дополнительные усилия по арханизации христианства? И в конечном итоге: способны ли старые слова, смысл которых изменило время, заклясть демонов нашей эпохи?

Мы знаем: форму и язык создает дух. Но каковы те формы, в которых воплотило себя христианство в истории? И какой дух их творил? Говорим, в данном случае, о православии, и не столько о его «провалах», сколько о высотах, о «духовных удачах». И с этих высот мы слышим: «нужно стяжать Духа Святого» (святой Серафим Саровский). Замечательно! Но что мы сейчас, сегодня, «следуя традиции», открываем в этих словах: изначальный принцип в с е й нашей жизни, источник нашего творческого дерзновения, искания, инициативы — или какой-то определенный, заданный по образцу «Добролюбия» «п у т ь к о спасению»? Если второе, тогда о чем говорить, кроме техники «стяжания»? Тогда надо идти в кельи, становиться на камни и, непрестанно умерщвляя свою плоть постом, молиться. Но при этом надо ясно и твердо, со всей честностью, признаться, что православие в своей идеальной «норме» есть религия личного аскетического спасения, а церковность — исключительно жизнь в благодати подаваемых в храме таинств. И здесь уже вовсе ни при чем — ни культура, ни социальность, ни нация, ни наука, ни искусство. Что они могут прибавить к «единому на потребу», кроме соблазнов?

Именно так и рассуждали святые пустыnnики: «Когда один старец спросил авву Серапиона: сотвори любовь, скажи мне, каким ты себя видишь? — он ответил: я похож на того, кто находится на башне и, смотря вовне, помавает проходящим, чтобы они не

приближались к нему. А вопрошавший его старец сказал ему: я же вижу себя, что я как бы сделал ограду вокруг и запер ее железными запорами, так что, когда кто постучится, я не узнаю, кто там, или откуда пришел, или чего хочет, или каков он, — и не отворяю ему, пока не уйдет»... Или другой пример: «Антоний Великий беседовал с братом, думавшим, что нет необходимости уходить из мира, чтобы спастись. И как бы предупреждая его об опасностях, которые ждут его, св. Антоний спросил его: «Скажи мне, сын мой, скорбишь ли ты вместе с ближними в горестях их и сорадуешься ли радостям их?» Тот признался, что испытывает и то и другое. Тогда старец сказал ему: «Знай же, что и в будущем веке будешь ты разделять участь с теми, с кем в сей жизни делишь и радость и горе»... Как это не похоже на слова апостола Павла о том, что он хотел бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть братьев своих спасенными! Конечно, в «Добротолюбии» можно найти и другие тексты. Но их пропорция в отношении к целому — совершенно ничтожна. Мать Мария Скобцова (монахиня в миру, погибшая в немецком концлагере) занялась таким подсчетом и пришла к грустному выводу: «выборка всего, что говорится об отношении к ближнему, в первом томе Добротолюбия на всех его более чем 600 страницах, занимает только 2 страницы, а во втором томе на 750 страницах, — только 5. Соотношение совсем другое, чем в Евангелии или Посланиях»...

Впрочем, как все мы знаем, сейчас на камни или в пустынную келью никто особенно не спешит; даже ревнители «Добротолюбия» предпочитают читать его в уютной квартире за письменным столом. Нас влечет не сама аскеза, не подвижнический подвиг, но идеология аскетического мироотношения. Она создает иллюзию нашей укорененности в церковном Предании и прочно защищает от сложной, мучи-

тельной, стремительно бегущей жизни. К тому же, сообразуясь с интеллектуально-мистическими запросами, эту идеологию можно так приукрасить не-обязательной, но звучной теологической фразеологией, что будешь испытывать чувство, будто побывал в волшебных садах Черномора. Но эти слова лишь увеличивают прочность скорлупы номинализма, которая отделяет нас от Реальности. И если мы всерьез говорим о христианстве как о религии Богочеловечества, призванной спасти и преобразить весь мир, то мы должны трезво отдать себе отчет в том, что Благая Весть Христа о новой жизни и Царствии Божиим не может быть сведена ни к аскетическому самоспасению, ни к «уставному» благочестию, ни, тем более, к идеологическому лукавству. Не сводится и жизнь в Церкви ни к «Добротолубию», ни к потребительскому отношению к таинствам. (Думается, это положение не нуждается в аргументации и примерах). И если современный мир действительно так катастрофичен и зыбок в своих основаниях, как это нередко утверждают христиане, то не первый ли долг верующих сделать шаг ему навстречу, протянуть руку, помочь? Ведь «зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем»...

И для того, чтобы наше христианство не оставалось только «идеологическим» и «вербальным», но чтобы, по слову апостола, «Бог был всё во всё», чтобы «разрушить преграду между дальним и ближним» и «посредством Христа примирить всё», — сейчас недостаточно охранительной верности традиции: необходимы новые творческие усилия. И это совсем не тождественно ни реставрации прошлого «золотого века», ни модернистическим подлогам. Сегодня они легко превращаются в идеологические шторы, закрывающие от нас подлинные пути христианской инициативы. Прошлое может стать идолом,

как может им стать настоящее и будущее. И потому, преодолевая лукавое прельщение истории, необходимо повернуться к тому, что глубже истории, к тому, что ее наполняет и исчерпывает — к самой Реальности, к Живому Лику Христа, и, за шепотом субъективных религиозных «переживаний», услышать Его голос, Его зов. Этот голос, как и две тысячи лет назад, обращается к нашей вере и дерзновению, к нашей готовности на творческое соучастие.

«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит... Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением...» (2 Кор. 3,6,12).

Это творческое дерзновение во свете Божественного Откровения и есть подлинная основа для созидания жизни и культуры на христианских началах. Ибо активное «созидание жизни» — разве не есть уже строительство культуры? Творческое усилие души — всегда откровение нового, не бывшего: новых форм, нового языка, новых отношений. И потому всякая культура — суть воплощенное откровение: откровение о Боге и человеке, о мире и жизни. Одно и то же слово, но с большой и малой буквы: Бог. Открывается миру и человек, раскрывая себя в истории, открывается Богу и самому себе; открывается не только в своем благочестии и святости, но и в своем отчаянии и одиночестве, в своем грехе и бессилии, в своем странничестве вне Отчего дома и в своей тоске по нему... Этим опытом реальности страха и смерти и, одновременно, мнимости жизни пронизана вся наша цивилизация. И потому именно здесь, в неудержимом стремлении мира к релятивизации человека и его усилий под знаком бытия в заботе, бытия в отчаянии и смерти, христианство призвано явить свое Откровение о бытии в Реальности и Жизни, о подлинном источнике существования и творчества. Но для этого само христианство должно

стать мужественным и творческим, внутренне свободным и дерзновенным.

Наш призыв к творчеству не должен быть понят как покушение на святость традиции или как призыв к отказу от духовного наследия. Без верности Преданию нет целостности христианства и нет исторической перспективы. Прошлое христианства должно быть не отброшено, но утверждено в новом опыте целостной жизни и культуры. Это не означает также, что великий путь аскетического делания должен быть оставлен. Отнюдь! Но это означает, что бытию в псевдорелигиозной идеологии христианство должно противопоставлять бытие в Богочеловеческой Реальности. Только здесь обретается подлинная свобода. И эту свободу сегодня придется отстаивать и перед лицом безбожного мира, и перед лицом религиозного обскурантизма. Но отстаивать не во имя господства какой-то новой формы, а во имя высокого призвания человека.

6

«Церковь вечно юнеет».

Эти слова Иоанна Златоуста следует отнести и к поставленному вопросу о судьбе христианской культуры. Правда, для многих подобное утверждение может показаться оптимистическим парадоксом: юность предполагает здоровье, энтузиазм, неистраченные силы и творческую жажду. Есть ли всё это сегодня у христиан? И существует ли, кроме культовой жизни, то, что можно назвать «христианской культурой»? Не правы ли наши оппоненты, когда говорят, что христианин может быть философом, художником, экономистом, сапожником, но нет «христианской философии», «христианского искусства», «христианской экономики», как нет и не было «христианского сапожничества»?

Конечно, после исторических неудач церковно-государственных «симфоний» и «синтезов», после распада целостного религиозного сознания, после опыта раздробленной жизни современному христианину трудно удержаться от подозрительности и скептицизма. Сегодня он всё чаще задумывается о конечных пределах истории, вспоминая горький вопрос Христа: «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» С какой пронзительной тревогой отдаётся он сегодня в нас, в нашем мире!

Что и говорить, психологические основания скептицизма среди христиан понятны. Но Евангелие не позволяет нам «уйти из истории». Мы ничего не знаем о концах и сроках; но мы верим: «врата ада» Церкви не одолеют. Мы знаем также, что всё созданное Богом, всё, о чём Он сказал «очень хорошо», — принадлежит вечному бытию. Но мир пал; вместе с пшеницей в нем растут плевелы. Тление и жизнь соседствуют рядом. Однако в почву этого мира укоренено начало Новой Жизни — росток Царствия Божия — вечно растущее и распространяющееся Божественное Слово. Его зерно — «не от мира сего», ибо оно родилось в недрах жертвенной любви Бога к человеку и миру. Но, придя к нам из запредельного бытия, оно прорастает в истории, в человеческом сердце, живёт «внутри нас», приобщает нас к высшей жизни, чтобы во всей полноте расцвести затем в Царстве будущего века.

Евангелие Царства Божия призывает человека к борьбе и творчеству, к действительному преображению во свете Христовом всего, что в этом мире «стенает и мучается», что ожидает избавления и жизни. И это призвание, отменяющее рабскую покорность и страх, дано нам в Откровении нашего Богосыновства, нашей причастности единому вечно-юному Богочеловеческому организму. Здесь нет противостояния «внешнего» и «внутреннего», подчинения и свободы — но их слияние, движение навстречу двух волевых импульсов:

Божественного схождения к человеку и человеческого восхождения к Богу. Именно об этом свидетельствует наша постоянная молитва: «Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»...

Благая весть о Царствии Божиим заставляет и сам исторический опыт осмыслить иначе — на большей глубине, нежели это допускает шкала «удачи» или «неудачи» христианского триумфализма. Христианство живет в этом мире под знаком голгофского Креста: вечного распятия, позора и жертвы. Крест побеждает мир, но побеждает прежде всего в активной, жертвенной и сострадательной любви к нему. И забвение об этом на вершине внешних «удач» нередко оборачивается величайшими срывами и провалами. Именно поэтому средневековье вовсе не является тем «Золотым Веком» христианства, по которому тоскуют сейчас многие верующие. Более того: кризис современного христианства и религиозной культуры в значительной мере обусловлен именно архаизирующим оцепенением христианского сознания, его зачарованностью медиоцентризмом.

И если быть верным исторической правде, то именно нам, христианам, давно уже следовало бы признать, что возникновение антропоцентрической картины мира и выросшей на ее основе новоевропейской цивилизации подготавливалось задолго до Ренессанса. Новая концепция бытия складывалась внутри христианской культуры средневековья, — складывалась опосредованно и противоречиво, как подавленный антитезис, как скрытая пружина в исторической диалектике духовного самоопределения человека. И в этом смысле можно сказать, что именно средневековое христианство вызвало к жизни новое мироотношение. В периоды христианского триумфализма средневековому сознанию казалось, что уже почти весь мир подведен под сень Креста. Но в действительности

сопряжен он с ним был не органически, а внешне: механически, принудительно. Об этом мы узнаём из столкновений между императорами и патриархами, из непрекращающейся борьбы за инвеституру, из навязчивых иллюзий о «теократическом» или «симфоническом» единстве Церкви и государства, из глубокого презрения к миру и его нуждам, из неограниченных претензий на духовное владычество, из глухой борьбы против церковных канонов и авторитетов во имя свободы и знания. И трещина раскола — результат напряженного противостояния Церкви и мира, Церкви и государства, природы и «сверхприроды» — уже таила в себе зачатки будущей исторической драмы...

И вот сегодня и мир, и христианство потрясены до самых первооснов. Вместе с распадом того, что мнилось целостным и органичным, неудержимо обваливаются старые мифы и иллюзии. Условные, внешние покровы спадают с обнажающихся реальностей жизни. И человек вновь — в который раз! — стоит перед лицом первичных вопросов, хочет знать самое существенное и важное. И здесь недостаточно частичных компромиссов, к которым призывают нас модернисты. В перспективе того великого духовного опыта и знания о человеке и культуре, которое открылось в нашу эпоху, необходимо глубокое преобразование самих оснований нашего христианского мироотношения. И прежде всего необходимо отличить подлинное и вечное от относительного и ограниченного. Ведь раскол Церкви и культуры, с которым мы свыклись и даже примирились, скрывает за собой раскол самого понимания христианства, закреплённого вторичными идеологическими противостояниями. Конечно, каждая из идеологических интерпретаций христианства возникла не случайно: они обусловлены «исторической необходимостью» — духовными и жизненными потребностями человека. Однако, утверждая себя в своей исключительности и обособленности, претендуя на

монополию в духовном водительстве, они легко теряют присущую им внутреннюю правду. В большей мере это касается «идеологии спасения», которую многие отождествляют с подлинным церковным учением. В свое время Н. Бердяев дал блестящую критику этой традиционной, пришедшей из средневековья формы религиозного мироотношения. Но и сейчас «идеология спасения» по-прежнему господствует в русском православии; на ее основе решаются многие кардинальные вопросы христианской жизни: отношение к миру, духовному опыту, традиции, церковному институту. И нередко от представителей этой идеологической ветви церковного христианства можно слышать следующее рассуждение:

«Да, христианин может быть философом или художником, но «христианская философия» или «христианская культура», как задание для совместных усилий, есть опасная утопия, прикрывающаяся красивым, хотя и абсурдным словосочетанием. Человек призван к спасению — спасению от греха и нечистоты этого мира; и он спасается посредством своей молитвы, веры и смирения, спасается благодатью, а не творчеством и делами. Творчество и дела относятся к естественному порядку бытия и потому неминуемо выступают как источник горделивого самоутверждения человека перед лицом Бога».

В этом категорическом разделении сфер «естественного бытия» и «бытия благодатного» становится невозможной, да и не нужной, идея христианской культуры. Она принадлежит «суетливому мирскому сознанию», не способному отличать «единое на потребу» от всего «второстепенного».

Все эти рассуждения нетрудно опровергнуть, сославшись как на библейское богословие, так и на великую традицию патристического и русского богословия, на мистический опыт православных подвижников и умозрения религиозных мыслителей. Однако еще более

важно признать в этих рассуждениях их несомненную, хотя и частичную правду. И эта правда сама опровергает идеологию индивидуалистического самоспасения.

Действительно: и вера, и молитва, и личный мистический опыт — первичнее культуры. Однако вера первичнее и глубже не только культуры, но и религии. Она — божественный дар, который через ее носителей становится живительным ядром религии, ее созидает и через нее раскрывается. Раскрывается для других, для мира. Вера и религия не тождественны: через веру мы постигаем сокровенный смысл религии и культуры; но невозможен обратный путь. В принципе, верующий может обойтись и без религии и без культуры. Но есть внутренняя неизбежность, «божественная необходимость любви», с которой вера ищет своего выражения и оформления. Духовное внедряется в материальное, облекается плотью, проявляется как «форма» материального. Именно так возник культ — храмовое, литургическое оформление нашей веры. Так создается религиозная культура: через излучающееся из веры стремление к оформлению и упорядочиванию всей нашей жизни. И это стремление к воплощению, к самораскрытию уже и есть творчество. Творчество неустранимо из природы человека — в нем утверждается Божественное призвание человека к продолжению дела Творца, к раскрытию Божьего замысла в мире. Святой Григорий Палама, сравнивая человека с ангелами, усматривает одно из преимуществ человеческой природы над ангельской именно в назначении быть творцом. Творчество вносит новизну в мир, являет новые реальности, переплавляет старые формы. Творчество динамично, и это часто пугает сознание консервативное, приводит его в смятение, заставляет полагать внешние пределы и границы. И в этом опасливо-агрессивном «полагании границ» открывается вся ущербность и духовная неправда «идеологии спасения». Ведь границы того, что «можно» или «нельзя», обус-

ловлены здесь не самой Абсолютной Истиной, а ее идеологической интерпретацией, чаще всего отражающей нашу собственную ограниченность, предвзятость и косность.

Конечно, человек в своем творчестве легко подпадает под власть стихий и стихийных духов. И сам он может мыслить свое творчество как злое и даже демоническое. Но возможностью искажений не исчерпывается природа творчества. В такой же мере возможны и демоническая свобода, и ложное смирение, и кощунственная молитва. Ведь и бесы веруют, как свидетельствует апостол Иаков. Но означает ли все это, что и свободу, и веру, и молитву, и творчество следует упразднить или отодвинуть в «область демонического»? Безусловно нет! В этом мире все двойится; во всем скрывается возможность подмены, искажения, падений. Но именно поэтому ничто в этом мире не должно принадлежать антихристу, ничто не должно оставаться без благодатного света. И более всего это касается религиозного творчества, призванного воплотить нашу веру на языке культуры. Думается, здесь нет нужды приводить доказательства: история Нового времени переполнена ими. «Свято место пусто не бывает», — гласит известная поговорка. И действительно, там, где христиане отступали от нужд мира, где угасала их инициатива и творческое деяние, там стремительно разрасталась стихия секулярной и антихристианской жизнедеятельности.

...Человек призван к спасению. Но его спасение невозможно в одиночестве. Он — представитель Народа Божия, один из членов всеобщего Тела: в этом смысл Церкви. И Церковь обращена ко всем, ко всему миру. Она не изолирует нас от этой жизни, но ставит на границе двух планов бытия: Царства Божия и мира сего. Эта двойственность нашей жизни превращает ее в непрестанную борьбу. Мы знаем, что именно нам,

христианам, вручено дело спасения, ибо если мы стали Народом Божиим, членами Тела Христова, то мы, тем самым, взяли на себя и Его дело. И потому нам дана власть «наступать на змия и скорпиона», возвещать Царство Божие и проповедывать Евангелие. Это — великая ответственность христиан перед миром, требующая от нас инициативы и активности. На последнем суде человеческой истории мы должны будем дать ответ не только за свою душу, но и за судьбу доверенного нам мира. И не окажемся ли мы в положении того нечестивого раба, который получил на хранение талант, — вместо того, чтобы приумножить богатство, — не нашел ничего лучшего, нежели припрятать его?

БАРАБАНОВ Евгений Викторович — философ и церковный публицист, родился в 1943 г. Окончил истфак МГУ по искусствоведению. Работал в журнале «Декоративное искусство» и издательстве «Искусство». С 1973 г. за передачу рукописей на Запад лишен работы. Один из участников сборника «Из-под глыб».

ИСТОКИ

Николас Б е т е л л

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

(Продолжение)

Очевидно, среди казаков было больше всего тех, чьи сердца загорелись надеждой, когда Гитлер напал на Советский Союз и, казалось, на первых порах, одерживает победу. Война представлялась им посланной самим небом возможностью свергнуть коммунистический режим и восстановить свои национальные привилегии. Лидеры казаков, вроде кубанского атамана Вячеслава Науменко (который в 1920 году был генерал-майором в Белой армии) и донского атамана Петра Краснова, сразу же предложили нацистам свои услуги. В то время они получили категорический отказ. Немецкая армия была достаточно сильна и не нуждалась в помощи «славянских недочеловеков». Но после Сталинградской битвы и последующего поражения немцы стали склоняться к более либеральной точке зрения относительно этой проблемы. В ноябре 1943 года они обещали казакам вернуть их исконные земли. Четырьмя неделями позже Краснов и Науменко были назначены членами командования казацкими вооруженными силами в составе немецкой армии. Еще одним членом был назначен Т. И. Доманов, недавно произведенный в генералы, который, в отличие от остальных, был представителем «новой эмиграции» — бывшим советским офицером, присоединившимся

к немцам во время их вторжения и теперь отступающим вместе с ними.

Несмотря на свое громоздкое и устарелое вооружение, казаки боролись яростно, но по мере удаления от собственных территорий в них нарастало чувство отчаяния. В конце войны казаки под командованием говорящего по-русски прибалтийца Хельмута фон Паннвитца были посланы в северную Югославию для борьбы с коммунистическими партизанскими отрядами Тито. Искусные наездники, они были больше приспособлены к горным условиям и действовали здесь более эффективно, чем моторизованные немецкие части, которые они заменили. Это была жестокая война, без пощады с обеих сторон. Вскоре казаки снискали себе здесь печальную славу. Входя в деревню, они обыкновенно собирали всех жителей, подозреваемых в помощи партизанам, и уничтожали их огнем и мечом.

Казаки не отрицали случаев жестокости со своей стороны, но приписывали их влиянию эсэсовцев, которые были введены в их Главный Штаб, а также некоторым темным личностям из своей среды, присоединившимся к немцам, когда им казалось, что Гитлер побеждает. Николай Краснов, внук казацкого генерала Петра Краснова, в своей книге «Незабываемое» описывает эти темные стороны деятельности казаков: «Они грабили, как бандиты. Они насиловали женщин и предавали огню поселения. Их позорное поведение наложило пятно и на тех, кто вступил в ряды, чтобы бороться с коммунизмом, и честно выполнял свой долг».

Еще одной уступкой «Восточного министерства» Альфреда Розенберга во время этих месяцев затухания войны была передача казакам области в районе Тольмеццо в Итальянских Альпах в нескольких милях от австрийской границы, которую они оккупировали и сделали базой для военных действий. Странное место было выбрано для новой «Казакии», однако в течение

восьми месяцев число казаков здесь росло и к весне 1945 года составило 35 тысяч человек, из которых половина была солдаты, а половина беженцы. Здесь они никогда не чувствовали себя в безопасности, потому что в окрестностях действовали отряды итальянских партизан, большинство из которых, так же как и в соседней Югославии, были коммунистами и занимали к казакам крайне враждебную позицию.

Потом они столкнулись с проблемой английской и американской армий, которые с боями продвигались по территории Италии. Английская армия достигла Тольмечцо и итало-австрийской границы в апреле 1945 года. Казаки носили немецкую форму и, естественно, должны были принять бой, но решили не делать этого. Они боролись с Советским Союзом, а не с Англией и не с Америкой. Перед ними встал выбор: сдаться или отступить. В конце апреля Т. И. Доманов, заменивший в феврале атамана Краснова, отдал приказ об общей эвакуации. 30 апреля казаки погрузили все свое имущество на телеги и направились в сторону Плёкенпаса, находящегося в нескольких милях. На следующее утро их авангард вошел в Австрию и в течение двух последующих дней все они расположились лагерем около двух австрийских деревень Маутен и Кётшах. В Маутене находился немецкий комендант — старик с инвалидной солдатской командой. Можно представить себе их удивление, когда они обнаружили себя окруженными этой экзотичной ордой. На телегах возвышались сооруженные на скорую руку из неотесанных досок кибитки, перекрытые занавесками и коврами. В них находились оружие, амуниция, пища, жены, дети, младенцы — словом, все, что требуется для семьи и для битвы. Комендант приказал им остановиться, но силы его были ничтожны, а авторитет упал вместе со смертью режима. Казаки были не склонны подчиняться ему.

Дмитрий Фролов, член Главного штаба Доманова,

вспоминает первую встречу с англичанами. 4 мая авангард в составе одного офицера и нескольких солдат подошли к лагерю казаков близ Маутена. «Вы кто?» — спросили англичане. Казаки дали подробные разъяснения. Очевидно, удовлетворившись этим, англичане сказали «о'кэй», повернули свои мотоциклы и удалились.

Конечно, англичан тревожило, что будут делать казаки дальше. В начале мая командир 8-го батальона полковник-лейтенант Алек Малколм получил приказ продвинуться к Лоренсаго в двадцати милях от Тольмеццо и «сделать это место наблюдательным пунктом за операциями против отрядов казаков». Его бригадир, Джеффри Массон, не знал, что казаки уже ушли в Австрию. Джек Бейтс, который в то время вел дневник 36-й пехотной бригады, отмечает, что их продвижение к австрийской границе не встретило никакого сопротивления и «напоминало мирную прогулку по прекрасному пейзажу». Они были приятно удивлены тем, что казаки решили не сопротивляться.

7 мая батальон Малколма достиг окрестностей Тольмеццо и приготовился вступить в бой с казаками, которые обитали здесь около года, и только тут обнаружили их отсутствие. Батальон вошел в город и провел день, вылавливая отставших. 8 мая в Тольмеццо прибыла делегация казаков с сообщением, что они готовы сдаться на любых условиях. Они говорили с дивизионным командиром Робертом Арбутнотом и пришли к соглашению, что в 9 часов на следующее утро на железнодорожной станции Обердраубург состоится встреча, на которой Доманов безоговорочно сдастся Массону. Среди англичан это соглашение вызвало вздох облегчения. Несмотря на странный вид, казаки были опытными бойцами и хорошо вооружены. По словам Бейтса, «пока казаки не капитулировали, они представляли силу, с которой нельзя было

не считаться, и только после их полной капитуляции мы могли чувствовать себя в безопасности».

В своем отчете Бейтс продолжает: «Преследуемые со всех сторон, потеряв всякие надежды на победу, они теперь столкнулись с перспективой быть возвращенными в Советский Союз как предатели». Здесь он допускает крупную ошибку, так как казаки меньше всего могли себе представить, что англичане выдадут их Красной Армии — их смертельному врагу. Согласно Фролову, делегация получила возможность изложить свою точку зрения Массону и его сотрудникам: «Мы сказали, что мы казаки и всю жизнь посвятили борьбе против советской власти. Мы бились до последнего человека. Но мы никогда не сражались с регулярными частями западных союзников, потому что англичан и американцев мы считаем своими друзьями». Они были настолько плохо осведомлены о политической и военной действительности того времени, что союз Англии и Америки со Сталиным действительно считали лишь уловкой, которая вскоре перестанет быть необходимой. Они действительно думали, что вскоре война перейдет в новую фазу: Запад против Советского Союза. В таком случае казаки оказались бы ценными союзниками для западной стороны. Подозревай они, что Запад положился на добрую волю Сталина и решил преподнести ему в качестве подарка их собственные жизни, они никогда бы не капитулировали.

Массон приказал казакам спуститься с гор и переправиться через реку по мосту около Обердраубурга в нескольких милях от Маутена. Здесь они вышли на шоссе, которое шло в западном направлении параллельно реке к Лиенцу, расположенному в двадцати милях, и разбили лагерь в поле к востоку от города. Около мили от Лиенца, в Пеггетце, оставались бараки брошенного лагеря, где жили женщины и дети. Казаки стали получать довольствие от англичан

и сами отвечали за внутренний порядок. Офицерам было оставлено личное оружие и достаточно винтовок, чтобы нести охрану.

Между Лиенцем и Обердраубургом находились река, шоссе и железная дорога — три параллельных артерии в расстоянии нескольких сот ярдов друг от друга. Это была долина в несколько миль с окаймлявшими ее со всех сторон крутыми холмами. 9 и 10 мая казаки провели в дороге. Англичане с беспокойством наблюдали, как конные эскадроны галопировали взад и вперед, не обращая внимание на их советы. Бейтс пишет, что управлять ими было невозможно: «Лишь немногие говорили по-немецки и по-английски, да и те не были склонны подчиняться». Однако он отмечает, что они действовали эффективно и вскоре достигли назначенного места, где и начали концентрироваться.

Для казаков это была перемена к лучшему по сравнению с жизнью в Тольмецце, где они страдали от недостатка продовольствия и подвергались постоянной опасности со стороны партизан. Семнадцатилетняя русская девушка из деревни близ Одессы Зоя Полянская, не казачка, но каким-то образом оказавшаяся в их общине, вспоминает доброе отношение к ним англичан:

«Когда мы спустились с гор и нашли приготовленные для отдыха кровати с одеялами, я подумала: «Это не так уж плохо». И я всегда вспоминаю, что когда нам дали на завтрак по три сливочных печенья, я подумала: «Это совсем хорошо». А потом они дали нам белый хлеб, чистый белый, которого мы не видели годами. И я подумала: «Это божественно».

Согласно английским данным, к 16 мая в долине Драу собралось 22009 домановских казаков: 15380 мужчин, 4193 женщины и 2436 детей. В нескольких милях к востоку, недалеко от Обердраубурга разбили лагерь 4800 грузин. Еще несколько далее к востоку

английские солдаты охраняли 15-й Казацкий Кавалерийский Корпус под командованием генерал-лейтенанта Хельмута фон Паннвитца, сдавшийся полным составом в 18792 человека. Но трудность заключалась в том, что к точности этих цифр надо было относиться осторожно. Например, казачьи историки утверждают, что численность войск Доманова в Италии составляла 35 тысяч человек, на 13 тысяч больше, чем сообщают английские источники. Дело, очевидно, в том, что много казаков осталось в Италии и после эвакуации, а другие рассеялись в разных направлениях во время похода через горы. Каждый день прибывали новые массы людей. Алек Малколм вспоминает: «Мне было сказано, что в моем районе находится 25 тысяч казаков и что мы должны «присматривать за ними». Но это задание невозможно было осуществить».

В эти первые дни мира на оккупированных территориях Центральной Европы царил смятение, а в долине Драу, расположенной вблизи итальянской и югославской границ, положение было хуже, чем где-либо. Слишком много здесь было различных национальностей, политических групп, полунезависимых партизанских отрядов, чье отношение к союзникам в целом было неопределенным. Вновь освобожденные военнопленные передвигались с места на место, одни — движимые желанием скорее попасть домой, другие — твердым намерением не возвращаться, и все они причиняли массу хлопот англичанам и американцам, в чьи функции входило не только сохранять порядок на освобожденных территориях, но и выявлять военных преступников, иметь дело с нацистскими фанатиками, не подчиняющимися приказу о сдаче.

Командир 38-й (Ирландской) Бригады бригадир Т. П. Скотт попал в одну из самых отчаянных ситуаций. В Восточной Каринтии близ Лавамунда он столкнулся с казачьим полком численностью около

400 человек, на который собиралась без промедления напасть болгарская дивизия. Скотт говорит: «Я не знал даже, на чьей стороне воевали болгары, были они наши друзья или враги. Судя по их противникам, они, очевидно, были друзьями». Скотт подумал, что болгары руководствуются не военными соображениями, а просто ослеплены чувством мести к казакам. Война вот уже несколько дней как закончилась и Скотт не видел никаких причин к тому, чтобы в его районе произошло сражение.

Он встретился с командиром казаков князем Карлом цу Залм-Хорстмар. Ситуация проста, сказал Залм. Казаки сдадутся англичанам сразу же, как только будут уверены, что их не выдадут советским властям. Скотт ответил Залму, что военнопленные Великобритании — это военнопленные Великобритании, и на этом основании полк капитулировал. На другое утро они прошли через болгарские линии, сопровождаемые двумя ирландскими солдатами на мулах.

Когда на другой день командир корпуса, куда входила бригада Скотта, генерал-лейтенант Китли узнал, что казаки капитулировали на основании данных им определенных заверений, он забеспокоился. Он рассказал Скотту об Ялтинском соглашении. «Об этом я услышал впервые», говорит Скотт. Китли сказал, что на основании этого соглашения казаки по всей вероятности будут выданы русским. Скотт вспоминает: «Я сказал ему: я думаю, было бы грязным свинством, если бы это было так. Я дал слово и я принял капитуляцию. Я чуть не лопнул от злости». Китли посоветовал ему отправить казаков обратно в Австрию и предоставить им самим решать эту проблему. Это было компромиссное решение и Скотт согласился с ним только после упорного сопротивления. Он еще раз сказал Китли, что не думает, что они имеют право добиваться капитуляции казаков обманным путем.

Проблема казаков была не единственной, вставшей перед победителями в Австрии. Фактически она была менее трудной, чем проблема других групп. Казаки были почти независимы, сами обеспечивали себя и поддерживали порядок в своих рядах. Они подчинялись приказам англичан сразу же, не вступая в дискуссии. На складе около Лиенца была найдена летняя немецкая форма и они заменили ими свои теплые одежды, пришедшие в негодность после зимы в горах и неприспособленные для жаркой погоды. Англичане восхищались их мастерством верховой езды, чувством собственного достоинства и благородством. Считалось, что хотя еще недавно они сражались на стороне немцев, англичанам они не нанесли никакого вреда, и в том, из чего состояли их отряды — во всех этих лошадях, женщинах, детях, коровах и даже верблюдах, — было трудно усмотреть военные части бывших врагов. Они сдавались охотно и делали это с явным удовольствием. Они казались трогательными и безвредными.

Один из помощников Малколма майор Девис осуществлял связь между казаками и англичанами. За несколько дней он привязался к казакам и полюбил их. Особенно охотно он вспоминает свою дружбу с молодым офицером М. К. Бутлеровым из свиты Доманова, хорошо говорящим по-английски. Много дней провели они на лошадях, объезжая этот район. Бутлеров был искусный наездник, Девис — новичок, и Девис вспоминает, как его друг беспокоился о том, чтобы «английский майор» не ударил лицом в грязь перед казаками из-за своей плохой езды. Вскоре Девис приобрел большую популярность. Все казаки знали его по имени, особенно дети, которые со смехом и криками безотлучно следовали за ним. Через каждые несколько минут он должен был останавливаться и раздавать сладости. Его товарищи по службе отдавали ему свои порции шоколада, и Девис проводил

много времени, разламывая плитки на мельчайшие кусочки, чтобы не обделить никого из детей. Он ощущал себя настоящим дедом Морозом.

По иронии судьбы, если принять во внимание трагическую роль, которую ему пришлось сыграть в последующих событиях, Девису вначале нравилась его работа. Казаки были «удивительными людьми, добросердечными и смелыми, но не очень хорошими администраторами», — вспоминает он. Он проводил много часов, пытаясь убедить их устроить свой лагерь по английским образцам. Он заставлял их делать больше уборных, осуществлять регулярно осмотр больных, ежедневно выпускать инструкции и употреблять больше питательной пищи. К нему, уэльсцу и кельту, они относились с большей симпатией, чем к флегматичным шотландцам, из которых главным образом состоял батальон. Русские, по природе своей подозрительные к иностранцам, щедры в дружбе, и уж если они верят кому-то, то верят целиком. «Ко мне они питали доверие. Они верили каждому моему слову», — вспоминает Девис.

В то время Девис не подозревал, что его начальники уже решили выдать советским властям всех до последнего — мужчин, женщин, детей, независимо от их воли и применяя, если понадобится, силу. Это стало ясно 24 мая, когда командующий 5-м Британским Корпусом генерал-лейтенант Чарлз Китли издал приказ, который гласил: «Крайне необходимо, чтобы офицеры и особенно старшие командиры обеспечили невозможность бегства. Советские власти рассматривают это как дело величайшей важности и, очевидно, по выдаче офицеров будут судить об английской добропорядочности». Китли игнорирует здесь очень важный факт, что кроме Доманова, все высшее казаческое офицерство состояло из старых эмигрантов, покинувших Россию около 1920 года. По условиям Ялтинского соглашения эти люди не подлежали

насильственной репатриации. Но знать это англичанам было невыгодно, так как они понимали, как жаждут советские власти получить в свои руки этих людей, и они хотели услужить своим союзникам, как только могли.

Многие полагали, что заполучив в свои руки казаков, Сталин будет более склонен ограничить претензии Тито, который причинял Западу много беспокойства своими притязаниями на итальянские и австрийские территории, что на конференции, которая начиналась в Москве 17 июня, он займет более разумную позицию в вопросе о будущем Польши, что он предпримет более активные действия в войне против Японии, которая еще продолжалась. И наоборот, Сталин мог бы перейти к агрессивным действиям, если бы заподозрил англичан в симпатиях к казакам или в попытках укрывать их для того, по всей видимости, чтобы использовать в дальнейшей борьбе с Россией. В Лондоне, и особенно в Министерстве иностранных дел, смотрели как на абсурд на возможность спровоцировать Сталина, покровительствуя людям, которые предали Советский Союз и сражались на стороне Гитлера.

Мало кто понимал, почему казаки добровольно сражались на стороне немецких захватчиков. Туманные слухи о чистках и репрессиях 30-х годов проникали на Запад, но об их масштабах здесь не было никакого представления, и всегда находилось множество добровольцев, готовых трактовать всякие утверждения о жестокостях Сталина к своему народу как реакционную пропаганду. Западная публика почти ничего не знала о массовых ссылках и голоде 1933 года, но для миллионов русских, павших жертвами террора, они были жизненной реальностью. Страдания этих людей были таковы и так велика была их ненависть к советскому правительству, что у них оставалось мало сочувствия к жертвам другого архибандита —

Адольфа Гитлера. Они не имели доступа к западным журналам и другим источникам, и если советская пресса объявляла Гитлера фашистом и убийцей, они не были склонны обращать на это внимание. Они не верили диким историям, появляющимся на страницах «Правды» или «Известий», нападки которых на Гитлера никак не отличались ото всей остальной пропаганды.

Итак, миллионы советских граждан — русских, украинцев, казаков, калмыков и других — пришли к убеждению, что не может быть ничего хуже, чем то воплощение сатаны, которое управляет ими. Моральные качества Гитлера были им неизвестны. Они были готовы помогать ему и без долгих размышлений встали на его сторону. Слишком поздно они осознали, что, сделав так, они поставили себя вне закона, не только со стороны Сталина — это они считали естественным и даже желательным, но и со стороны англичан и американцев, к которым они не чувствовали вражды. Но для тех, кто вершил дела в Лондоне и Вашингтоне, они были лишь вражескими солдатами, предавшими славных русских союзников. Многие на Западе подходили к этой проблеме с аналогичной примитивной позиции.

Генерал Китли писал автору этих строк: «Конечно, репатриация казаков происходила по приказу Военного Отдела, исходящего из Вестминстера, вероятно, от самого Уинстона (Черчилля). Следовательно, хотели мы проводить эту операцию или нет, фактически не имело значения. Перед нами стояло огромное количество проблем, касающихся перемещенных лиц многих национальных групп, положение которых было отчаянным». Именно под руководством Китли осуществлялась данная операция, и даже теперь он считает, что насильственная выдача казаков имела свои оправдания. Однако многие его подчиненные думали иначе. Английские юноши, несколько

недель поддерживающие контакты с казаками, начинали смотреть на них не как на врагов, а просто как на людей. С другой стороны, английские офицеры имели возможность побывать в зонах советской оккупации. Они наблюдали факты насилий и убийств и все менее верили в бытовавший тогда идеализированный образ советского солдата. И они беспокоились о том, что им прикажут делать дальше.

Вот уже несколько дней как закончилась война. Каждый радовался, что остался в живых. И вдруг — этот приказ о выдаче десятков тысяч явно не представляющих опасности людей в руки армии, которая, как стало ясно, обладала лишь примитивным представлением о справедливости и законе! Когда английским солдатам предложили выступить в роли тюремщиков и даже палачей, многие из них ужаснулись. И помимо моральных переживаний, они столкнулись и с более конкретными трудностями. Как только казаки узнают, что с ними собираются сделать, они начнут бороться. Некоторые из них все еще имели оружие. Так как им нечего было терять, они сопротивлялись бы с яростью, и для англичан это было бы катастрофой. Война кончилась. Союзники победили. Люди хотели радоваться, демобилизоваться, а не выполнять грязную и опасную работу.

Принимая во внимание эти соображения, старшие офицеры решили, что для безопасности и успеха дела следует пойти на обман. Английские солдаты обращались с военнопленными по-дружески. Казаки спокойно жили в отведенных им местах, не пытались бежать или сопротивляться. И все это происходило только потому, что ни военнопленные, ни солдаты не знали жуткой правды: решение о насильственной репатриации было уже принято. Ну что ж, значит надо поддерживать в них ложное чувство безопасности до последнего момента. Только таким образом казаков можно будет разоружить, погрузить на транспорт

и отправить на восток без кровопролития и массового бегства.

Английские офицеры начали распускать слухи, что казакам будет предложено вступить в британскую армию, образовав внутри ее нечто вроде Иностранного Легиона. «Наши солдаты устали, скоро мы начнем демобилизацию, у нас не хватает людей для конной охраны», — вспоминает Фролов слова одного англичанина. Другой казачий офицер, Александр Шпаренго, писал: «Мы слышали из достоверных источников, что англичане увезут нас в далекие края и спрячут от большевиков. Будто бы мы останемся здесь, пока не подготовят суда для нашей отправки на «черный материк» (Африку), где нас будут использовать для гарнизонной службы». Другие приносили весть, что их мобилизуют для борьбы против Японии. Разгоряченное воображение развивало и приукрашивало эти умышленно распространяемые слухи. Говорили даже, что английское и американское посольства оставили Москву и что вскоре должна начаться новая война. Для казаков она была бы лучшим выходом. В качестве союзников Запада они ценились бы на вес золота, а в случае победы получили бы в награду свои исконные земли.

26 мая полковник Малколм поехал на конференцию в Обердраубург, где получил подробные инструкции относительно предстоящего ему неприятного задания. По возвращению в Лиенц он проинформировал своих помощников, среди которых был и Девис. «Я был потрясен. Это противоречило всему, что мы раньше говорили казакам. Я не мог в это поверить», — говорит Девис. Он тут же попросил освободить его от работы в качестве связного офицера. Он сказал Малколму, что вошел с ними в слишком тесные дружеские контакты. В течение нескольких недель он был их руководителем и советником, отвечал на все волнующие вопросы и уверял, что нет и речи об их выдаче

русским. В данной ситуации он оказывается в ложном положении и его надо кем-то заменить.

Девису объяснили, что именно потому, что ему удалось завоевать доверие казаков, он должен продолжать выполнять свою работу и передавать им все распоряжения англичан. Операцию можно будет провести быстро и эффективно только в том случае, если военнопленные будут оставаться в блаженном неведении относительно своего будущего. А они будут продолжать верить в свою безопасность, только если Девис уверит их в этом. Исходя из этого, он должен тушить их страхи бладушными заверениями. Отныне он становится лжецом. Таков был приказ.

Утром 27 мая английские солдаты прочитали приказ бригадира Массона о всеобщем разоружении казаков, которое должно было состояться в два часа этого дня. Приказ был написан в таком угрожающем тоне, что стало ясно, что либеральное отношение к военнопленным окончилось. Теперь они стали врагами; это подтверждалось текстом приказа, содержащим ряд важных предупреждений: «Дело, которое вам предстоит, потребует огромной выдержки и такта, но я уверен, что вы справитесь со многими серьезными трудностями, с которыми столкнетесь. Будьте тверды. Помните, что действия, проведенные быстро и согласованно, помогут спасти много жизней и избавят вас от несчастных случаев. Если необходимо стрелять, стреляйте, и рассматривайте это задание как военную операцию».

Если принять во внимание, что речь шла о такой операции, как обычное разоружение военнопленных, то подобный язык вызывал тревогу. Кроме того, с самого начала англичане оставили казакам оружие только ради собственной выгоды. Имей они достаточно сил, они провели бы разоружение в момент капитуляции. Приказ Массона выдавал чувство тревоги: «Если лицо или группа лиц попытаются бежать, при-

кажите им остановиться под угрозой открыть огонь. Если они преднамеренно не подчинятся вашему приказу и побегут, открывайте огонь и целитесь в ноги, если сочтете, что этого будет достаточно для предотвращения бегства. Если нет, убивайте. Если на вас будет надвигаться вышедшая из повиновения толпа, убивайте руководителя. Не следует стрелять поверх голов или в воздух, ибо в таком случае вы можете убить или ранить невиновного. Массон приказывал также своим солдатам и офицерам всегда иметь при себе оружие и не ходить поодиночке. В конце говорилось, что каждый военнопленный, уличенный в хранении оружия после двух часов дня 27 мая, будет подвергнут наказанию вплоть до смертной казни.

Но ни намек на эти тревожные слова не дошло до казаков. Всё, как они думали, шло своим чередом, чтобы подготовить им место вне Советского Союза.

Теперь настало время для «второй стадии» операции. Вскоре после разоружения Девис через переводчика Бутлерова сообщил старшим казачьим офицерам, что все они вызываются на конференцию, на которой решится судьба казаков. Это была прямая ложь, и Девис произнес ее вопреки собственной воле по прямому приказу высшего начальства. В действительности, никакой конференции не намечалось. Казачьих офицеров приглашали не для дискуссии, а для того, чтобы немедленно передать их в руки советских представителей. Полковник Малколм говорил автору этих строк: «Мы знали, что добровольно казаки домой не поедут, даже если им прикажут это их собственные офицеры». План, следовательно, заключался в том, чтобы, заманив в ловушку офицеров, лишить казаков руководства и сделать их более сговорчивыми, когда наконец до них дойдут дурные вести.

Сообщение породило страхи среди казаков. Теперь их сомнения стали расти. Конференция конференцией, но неужели действительно нужно приглашать на нее

всех офицеров, все полторы тысячи? Девис объяснил, что таков приказ — каждого офицера, без исключений. Он вспоминает: «Бутлеров говорил мне: «Очень странно, почему английский генерал сам не придет к нам, вместо того, чтобы приглашать всех нас к себе?»»

Казаки считали идею конференции с полутора тысячами людей сомнительной. Почему бы им просто не послать своих представителей? «Нам было сказано, — вспоминает Фролов, — что должны быть все, что имеется много соединений — кавказцев, калмыков, украинцев, не говоря уже о русских, — сражавшихся на стороне немцев. У английского генерала нет времени посещать каждое в отдельности. «Не беспокойтесь, — говорили они, — до Обердраубурга только двадцать километров, вы там пообедаете, а к вечеру вернетесь в Лиенц». Солдатским долгом Девиса было врать, и сегодня он вспоминает с удивлением, как успешно выполнял он это задание. «Какого чёрта мы склоняли их к этому, я не знаю. Я с ужасом оглядываюсь на прошлое. Воистину это был дьявольский замысел».

Девису было сказано, что приказ о репатриации исходит из высших сфер и был согласован между Сталиным и Черчиллем в Ялте. Но ему не сказали, что это соглашение касается только тех, кто был советскими гражданами до начала войны в сентябре 1939 года. По соглашению, многие из казаков, находящихся в Лиенце, как например, семья Краснова или его друг Бутлеров, вовсе не подлежали выдаче. Среди высшего офицерства только Доманов в 1939 году был советским гражданином. В соответствии с Соглашением английские офицеры были обязаны отделять старых эмигрантов от новых и выдавать только последних.

Фактически получилось так, что приказ, исходящий из штаб-квартиры генерала Китли, не совпадал с условиями Ялтинского соглашения. По этому приказу репатриации подлежали целые группы и националь-

ности: казаки под командованием Доманова в Лиенце, 15-й Кавказский Кавалерийский Корпус генерала фон Паннвитца, соединения генерала Андрея Шкуро и кавказцы под командованием генерала Клич Гирея. Все входящие в эти группы считались, согласно приказу, советскими гражданами, а «индивидуальные случаи могли рассматриваться только по требованиям отдельных лиц». Другими словами, здесь проводился принцип презумпции виновности. Людей посылали на явное тюремное заключение и на возможную казнь только потому, что у них не было достаточно веских аргументов для доказательства своей непричастности к советскому гражданству.

Британские власти редко столь безответственно распоряжались таким числом человеческих жизней. Массон говорит: «У нас был лишь небольшой штаб, который не имел возможности проводить расследования в таком масштабе. Мое начальство знало, что допросы военнопленных никогда не проводились на уровне бригады. Даже если бы они попросили меня, я не смог бы этого сделать». Что же касается казаков, то они вообще не собирались сортировать себя. Вечером 27 мая несколько высших казачьих офицеров — Доманов, Соломахин (новый начальник штаба), Васильев, Силкин и Фролов — собрались, чтобы обсудить, верить англичанам или нет, и ехать ли на завтрашнюю конференцию. Фролов говорит:

«Все были за поездку. Они думали, что все в порядке. И я, Господом клянусь, был единственным, кто утверждал, что не верит англичанам. Я беспокоюсь, — сказал я, — зачем они отобрали наше оружие и что слишком многое остается недосказанным и туманным. Доманов спросил, что я имею в виду? Англичане относятся к нам достаточно хорошо, так зачем же их подозревать? Я сказал, что мы должны приказать нашим семьям, женам и детям, покинуть Лиенц и двигаться в южную Германию или Швейца-

рию. Они не военнопленные, англичане не могут задержать их силой, а если они сделают так, то это будет означать, что они наши враги. Если же пропустят их, значит они говорят правду. Но Доманов не слушал меня. Он начал сердиться и мы поссорились. Я покинул собрание и больше не видел никого из них».

Было ясно, что выдача 25 тысяч домановских казаков не может пройти гладко. В 11 утра 28 мая Доманов сообщил своим офицерам, что все они должны сегодня отправиться на конференцию. Его слова были встречены градом вопросов. Сколько вещей надо брать с собой? Доманов ответил, что не надо брать ничего, даже шинелей, потому что они вернутся в Лиенц этим же вечером. Он убежден, что никакой опасности здесь нет и что самое серьезное, что может произойти с офицерами после конференции, это их заключение в обыкновенный лагерь для военнопленных. Конечно, неприятно сидеть за колючей проволокой, но это можно перенести. Лучше всего, конечно, было бы, если бы офицеров вернули в Лиенц. Тогда сохранилась бы цельность воинских частей и можно было бы снова начать бороться с Советским Союзом под руководством англичан и американцев.

Оглядываясь назад, казаки, которые вышли живыми из этой переделки, с трудом могут понять, как они позволили заманить себя в такую ловушку. Их бдительность заглохла под влиянием английской доброжелательности и условий содержания в лагере, которые после тяжелой зимы в итальянских горах были почти роскошными. Они были обескуражены неожиданным концом войны и страстно верили в то, что на этом их собственный крестовый поход не закончен. Некоторые из них обвиняют Доманова в том,

что он ввел их в заблуждение и заставил подчиниться английским офицерам, и даже склонны думать, что он знал о депортации и играл на руку англичанам в надежде спасти собственную шкуру. Один казак пишет:

«В советском лагере Доманов сказал старшему советскому следователю полковнику Свиньеву, при свидетелях, что он знал о предстоящей депортации... Другие офицеры из выданных, присутствовавшие на допросе, были так возмущены поведением Доманова, что пришлось изолировать их друг от друга во избежании драки.

Однако большинство казаков склонны приписывать свою доверчивость влиянию не столько злой воли Доманова, сколько неискренности и вероломству англичан. Так генерал Науменко пишет: «Русские офицеры обязаны верить на слово друг другу, и они не могли себе представить, что англичане смотрят на это иначе».

28 мая Бутлеров имел с глазу на глаз долгий разговор с Девисом. Он сказал ему: «Вы знаете, у меня жена и ребенок и сегодня я должен ехать на эту вашу конференцию. Я хочу, чтобы вы мне прямо сказали: вернемся мы назад, или нет?»

Это еще один случай, который Девис вспоминает с ужасом. Его положение было невозможным. Либо он должен был предать Бутлерова, которого он любил и который стал его другом, либо нарушить приказ, прямо обязывающий его скрывать правду. Девис говорит: «Я мог сказать ему: «Приводите вашу семью ко мне домой и не выходите в течение этого дня». Может быть, именно это я и должен был сделать». Этим он спас бы жизнь своего друга. Но сделай он это, что бы стал делать Бутлеров? Девис мог бы сообщить ему скверные новости под строгим секретом, но позволило бы Бутлерову чувство чести сохранить этот секрет? Без сомнения, его преданность своим товарищам заставила бы его рассказать им всё, что он знал.

В аналогичную ситуацию попал в то же самое время Джон Григ — лейтенант 46-го Разведывательного полка, охранявшего примерно 1000 казаков недалеко от Лиенца, в Ньюмаркете, несколько севернее Клагенфурта. Однако различие заключалось в том, что Григ решил обсудить этот вопрос с другими офицерами и они согласились между собой рассказать казакам о том, что должно произойти. Он говорит: «Все пришли к одному решению. Поэтому я лично сказал переводчику казаков, который говорил по-английски, что у нас есть приказ о выдаче всех их. Тогда я не колебался и теперь не стыжусь этого». Решение, которое принял он и другие английские офицеры, было прямым нарушением приказа. Но это была только горсточка офицеров, доверявших друг другу.

Охрана казаков в Ньюмаркете была не строгая, и как только они узнали правду, они начали исчезать. Охрана отмечала каждое утро, что число их сокращалось. Однако они не предпринимали ничего, чтобы остановить поток. Когда наступил роковой день, половина казаков исчезла. Большинство из оставшихся были офицеры, менее, чем остальные, склонные к бегству. Это была двойная трагедия, так как в приказе подчеркивалась важность выдачи именно офицеров в первую очередь. И когда в конце концов их окружили грузовиками, они по-прежнему отказывались верить, что англичане способны на такое.

Но если в Ньюмаркете многим удалось бежать, в Лиенце лишь незначительная часть казаков предвидела будущее и имела возможность скрыться. Поэтому, когда 28 мая в час дня в район Лиенца прибыли английские грузовики, казацкие офицеры послушно построились, чтобы ехать на фиктивную конференцию. Доманов и Бутлеров, все еще исполнявший должность его переводчика, были взяты в штабной автомобиль и увезены для разговора в близлежащий пункт, где их встретили вооруженные английские офицеры, состав-

вившие их охрану на пути в Шпитталь, куда они были доставлены отдельно от других казаков. Николай Краснов на прощание поцеловал мать и жену. Чтобы их успокоить, он просил посмотреть, найдутся ли у них шесть яиц, чтобы приготовить ему к вечеру яичницу. «Вот уже 11 лет, как я не ел яичницы», — пишет он.

Несколько высших офицеров сели в кабины рядом с английскими водителями, остальные разместились в кузовах трехтонных грузовиков. Охраны все еще не было. Дмитрий Фролов, наблюдавший за этой сценой из близлежащего леса, начал думать, что он, быть может, и неправ. Английский отчет гласил: «Все офицеры, в количестве 1475, за исключением дежурных по подразделениям и нескольких, не получивших приказа, проследовали на пункт встречи в соответствии с планом». Это был тот самый пункт, куда несколькими минутами раньше прибыли Доманов и Бутлеров. Здесь на кабину каждого грузовика взобрались по два солдата с автоматами и разместились там так, чтобы просматривалось все отгороженное брезентом пространство кузова с находящимися там людьми. Грузовики двинулись в Шпитталь в сопровождении отряда легковых машин.

Фролов вместе с одним своим товарищем пробрались верхом через лес к этому пункту встречи:

«Мы стояли на опушке и ждали. Кто-то дал знак и грузовики медленно двинулись. В тот же момент из леса выехало большое количество вооруженных машин и мотоциклов, которые, как и мы, скрывались в лесу в засаде, и начали вклиниваться между грузовиками с нашими людьми. Между каждыми двумя или тремя грузовиками оказалась вооруженная машина. Я и Алексей подумали: «При чем здесь вооруженная охрана и зачем так много?» Как будто бы англичане ожидали момента для нападения. Мы постояли еще

немного в лесу, а потом повернули назад, чтобы рассказать нашим об увиденном».

Это произошло в 1.30. Офицеры казаков отбыли, и теперь, согласно другой инструкции бригадира Массона, настало время проинформировать всех солдат гарнизона долины Драу о том, что произошло. Офицеры получили распоряжение ознакомить солдат со следующим текстом:

Согласно соглашению, принятому союзными правительствами, все граждане союзных держав возвращаются в свои страны. Это означает, что казаки и кавказцы, находящиеся в данный момент на подведомственной Бригаде территории, будут возвращены в Россию. Некоторые из них поедут добровольно, но у большинства эта идея не пользуется популярностью. Сегодня, чтобы сохранять порядок в подразделениях, офицеры были отделены от остальных. Мужчины, женщины и дети будут отправлены, как только подготовят железнодорожные составы и моторизованный транспорт. Мы еще не получили подробных распоряжений относительно их лошадей и других домашних животных. Телеги нельзя погрузить в вагоны и они должны быть брошены.

Задача будет крайне трудной. Мы не знаем их языка, и даже если они добровольно согласятся выполнять наши распоряжения, операция потребует напряжения всех сил. Среди них есть много женщин и детей, и некоторые из вас сочувствуют этим людям, но вы должны особенно помнить, что они держали в руках немецкое оружие и многие из них сражались против нас в Италии и на других фронтах. Несомненно, они встали на сторону немцев, чтобы захватить власть в России. Когда же они увидели, что это невозможно, они попытались оправдать себя в наших глазах.

Русские сказали, что они собираются использовать их на сельских работах и сделать из них достой-

ных советских граждан. Это ни в коей мере не означает, что они будут подвергнуты зверским репрессиям. На самом деле русским очень нужны люди для восстановления своей страны. Вспомните, что говорилось в моей вчерашней инструкции. Вам предстоит выполнить очень важное и очень неприятное задание. Попробуйте выполнить его точно и без кровопролития, но если понадобится применить силу, действуйте быстро и без страха. Я поддерживаю всякие разумные действия с вашей стороны.

Ознакомление состоялось, и наконец английские солдаты узнали правду — все, за исключением шоферов, которые в этот момент держали путь к Шпитталю. Было крайне важно скрыть от них правду, пока грузовики с офицерами не придут на место. Один из водителей — Эрчи Рид — говорит: «Нам всем сказали, что мы везем этих офицеров на конференцию; я был только солдат, а солдатам не говорят всего. Наше путешествие было мирным. Со мной в кабине сидели два казака, и они не больше подозревали, что происходит что-то скверное, чем я. Потом мы услышали, что это была ловушка, куда заманили их офицеров».

Увидев вооруженные машины, казаки забеспокоились, но и тут не утратили своей, кажется, неисчерпаемой способности к оптимистическому взгляду на мир и самообольщению. «Это только наше сопровождение. В этом районе должны быть партизаны», — сказал один генерал своим подчиненным. «Здесь действуют группы СС», — сказал английский офицер Николаю Краснову.

Только немногие попытались бежать, когда увидели, что даже теперь большинство не допускает мысли о самом худшем, что может случиться. Неожиданное появление английской вооруженной охраны убедило казаков в том, что конференция — это только ловушка, но они продолжали считать, что это вовсе не

означает их выдачу. Наиболее вероятно, что их заключат в обычный лагерь для военнопленных; в таком случае будут, конечно, допросы и расследования, чтобы выявить, кто из них замешан в убийствах и прочих зверствах. Такие «козлища» — и это признавали сами казаки — имелись среди них, и они будут разоблачены и наказаны. Остальных же освободят. Те, кто жил в Западной Европе перед войной, поедут по домам. Остальные где-нибудь осядут.

Однако, когда в 2.30 Доманов в штабном автомобиле прибыл в Шпитталь, новости уже распространились. Его отвели в офицерскую столовую и поместили под охраной в небольшую комнату. Около трех стали прибывать кавказские офицеры, а спустя полчаса сюда влился густой поток казаков. Один из шоферов (Джимми Дэвидсон) рассказывал: «Мы ввели их в огороженное пространство, похожее на большую клетку, и нас тут же окружила охрана. Сидящий рядом со мной казачий полковник спросил: «Зачем здесь вооруженная охрана?» Я ответил, что понятия не имею». Грузовики разгружались один за другим. Офицеров обыскивали и у многих находили ножи и другие опасные предметы. Все это отбиралось, а затем офицеров отводили в предназначенные для них помещения за пределами клетки. Каждому дали одеяло, миску и ложку.

Ответственный за охрану капитан Дж. Лейверс отдал своим солдатам следующий приказ: «При всякой попытке оказать какое-либо сопротивление немедленно открывайте огонь и убивайте. Всякая попытка офицеров покончить с собой должна быть предотвращена в том случае, если это не грозит опасностью нашим людям. Если же это грозит хоть малейшей опасностью, не следует препятствовать самоубийству». Из этого можно заключить, что он и его начальство (Б. Л. Брейер) знали об отчаянном настроении казаков и были готовы ко всяким случайностям. Брейер пришел к Доманову и дал ему подробные инструкции.

Он сказал ему, что он (Доманов) несет ответственность за дисциплину своих офицеров пока они находятся в руках англичан. В 7.30 вечера Доманову дали возможность обратиться к своим подчиненным, разбитым на группы по 500 человек, отведя для разговора по пять минут на группу. Обращение Доманова продолжалось с 8.20 по 8.30, после чего все казаки и кавказцы были заперты на ночь в своих помещениях. Подъем был назначен на 4.30 следующего утра, на 5.00 — завтрак, на 5.30 — сборы и на 6.00 — смотр и перекличка. Погрузка на грузовики должна была начаться в 6.30 и закончиться в 6.50. Спустя еще 10 минут транспорт со всеми офицерами должен был двинуться на Юденбург для встречи с советскими представителями.

Пятиминутные речи Доманова, в которых он информировал казаков о том, что завтра они будут выданы союзной Красной Армии, произвели на них впечатление разорвавшейся бомбы. Некоторые офицеры были так потрясены, так ранены в самое сердце, что не могли уже ничего, кроме как покорно принять неизбежное. Но другие, как показали последующие несколько часов, достигли пределов ярости и отчаяния. Как сообщает А.К. Ленин — казак, которому удалось выжить — из помещений, где разместили казаков, были убраны все стулья, столы, кровати и другие предметы, которые могли быть употреблены для сопротивления или самоубийства. Некоторые офицеры, пишет он, провели ночь, требуя наказания для своих руководителей, втянувших их в эту катастрофу. Но это были «горячие головы», а большинство оказалось способным к самоконтролю. Старый генерал Краснов подготовил петицию на французском языке, в которой объяснял, почему казаки подняли оружие против Советского Союза. Как говорит его внук, Краснов просил возложить на него личную ответственность за поведение всех казаков на полях сражений.

Он требовал открытого процесса как для себя, так и для каждого казака, обвиняемого в преступлениях против человечности. Копии этого документа, испещренного многими подписями, были адресованы королю Георгу VI, Черчиллю, Объединенным Нациям, Архиепископу Кентерберийскому и Международному Красному Кресту, и на рассвете они были вручены англичанам. Казаки хотели, чтобы Брейер немедленно передал их тексты по радио в Лондон и Женеву, так чтобы они были рассмотрены до того, как выдача свершится. В эту ночь колючая проволока, окружавшая лагерь, на всем своем протяжении находилась под усиленной охраной. Сторожевые вышки, прожекторы и пулеметы были приведены в боевую готовность. О бегстве не могло быть и речи.

Трудно точно сказать, сколько казацких офицеров покончили с собой в эту ночь. Ленивов говорит о трех самоубийцах, перерезавших себе вены кусками стекла из разбитого окна, причем один из них был командир Первого Пехотного Дивизиона генерал-майор Силкин, и о нескольких повесившихся. Это отчасти подтверждается и двумя английскими отчетами, к которым Ленивов не имел доступа. Первый гласит: «Один офицер покончил с собой. Он перерезал себе горло прошлой ночью. Другого офицера вынесли без сознания. Он повесился на двери». Во втором мы читаем: «В ночь с 28 на 29 мая два офицера покончили самоубийством, повесившись на спусковых ручках в уборных». Несколько тел было вынесено казаками из помещений и положено на одеяла около главных ворот, чтобы на следующее утро их могли увидеть англичане.

На рассвете казаки вышли из своих помещений и совещались в тщетной надежде найти какой-нибудь выход из трагического положения. Английская охрана и пулеметчики по ту сторону колючей проволоки начали волноваться. В 5.30 три священника попросили

у Брейера разрешение на богослужение. Разрешение было дано при условии, что они закончат его до начала погрузки, которая должна была начаться через полчаса. Брейер писал: «Эта служба представляла собой зрелище в высшей степени впечатляющее и пение было прекрасно».

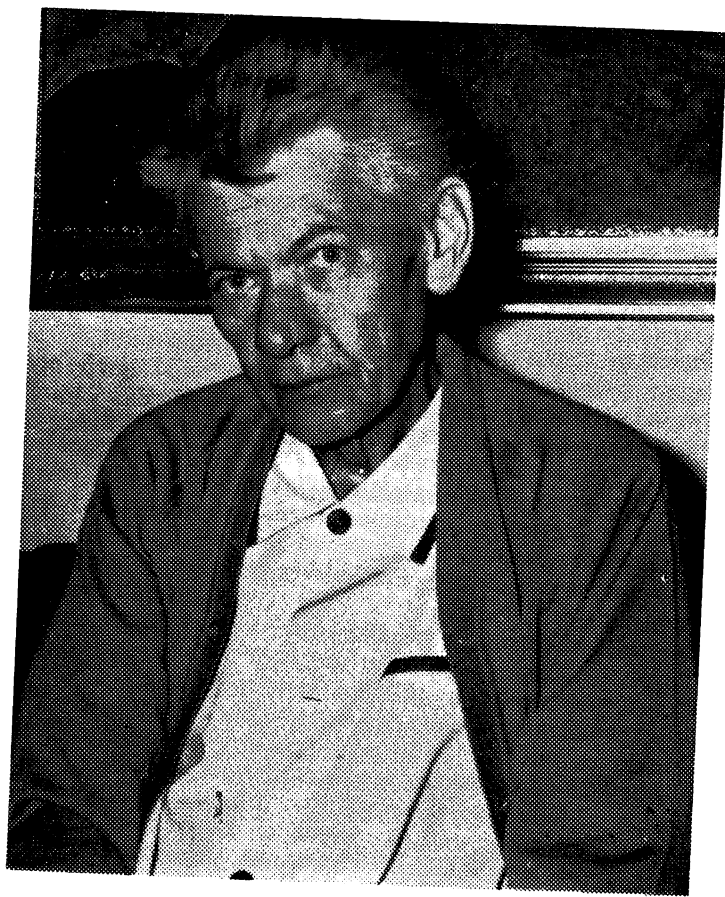
Ровно в 6.30 прибыли грузовики. Брейер вошел в помещение, где провели ночь генералы и старшие офицеры, и сказал, что пора грузиться. Доманов ответил, что он отказывается выходить и не имеет больше власти над другими офицерами. Англичанам стало ясно, что простой приказ здесь не поможет и что Доманов больше не хочет или не может им помогать. По словам Ленинова, эмоциональная атмосфера настолько накалилась, что охрана, казалось, была готова потерять самоконтроль и открыть огонь по толпе. Через бывшего штабного офицера (очевидно, Бутлерова) Брейер обратился к Доманову и сказал, «что дает десять минут для пересмотра решения, и если генерал не передумает, будут применены насильственные меры для погрузки на транспорт его и других офицеров».

Через десять минут Брейер снова попросил Доманова выходить. На этот раз отказа не последовало, и он приказал своим людям войти в помещение. Он следовал здесь классической тактике овладения толпой — путем изъятия ее руководителей. Они вошли в помещение к старшим офицерам и начали вытаскивать людей одного за другим. Английский отчет описывает, что произошло дальше:

«Трудности особенно возросли после того, когда все они сели на землю, сцепившись руками и ногами. Один русский офицер укусил за руку старшего сержанта. Это побудило английских солдат перейти к более жестким мерам. В дело пошли приклады, рукоятки, штыки, так что некоторые русские офицеры были доведены до полубессознательного состояния».

Ленивов пишет, что избиение продолжалось 10 минут, после чего старшие офицеры — все безоружные, многие из них старики, перевалившие за седьмой десяток — были один за другим втащены в грузовик. Доманов погрузился одним из первых. Брейер пишет: «Эта демонстрация произвела желаемый эффект, и с этого момента казацкие офицеры потянулись к грузовикам». И из этого становится очевидным, что вся эта резня и избиение не были спровоцированы моментом как расплата за укушенную руку старшего сержанта, а явились продуманным актом насилия, призванным подавить сопротивление в зародыше. Идея заключалась в том, чтобы казаки, увидев избиение, поняли бы наконец, что солдаты намерены погрузить их на грузовики любым способом, и что если они не пойдут добровольно, с ними поступят точно также.

(Окончание следует)



Йозеф Сморковский

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР

(Продолжение)

ОП: Из этого вытекает другой вопрос. Думаешь, что речь шла о конкретных упрёках, или в этой фазе надо было какой угодно ценой доказать, что Чехословакия не выполняет соглашения и создать тем самым предлог, или же хотя бы подготовить какую-нибудь возможную интерпретацию, для вступления войск... решение о котором было принято задолго до этого?

ЙС: Я не знаю, было ли у них совершенно ясное представление, что и как делать дальше. Уже в той Чииерне. То, что они думали об оккупации, сегодня известно. Ведь и секретарь Гомулки, который эмигрировал, сказал, что в Варшаве Живков и некоторые другие требовали военного вмешательства; было ли советскими представителями уже к тому времени принято решение, я не вполне уверен. Думаю, что у них еще были сомнения, отсутствовало полное единство.

Сегодня мне ясно, что дело было не в конкретных, частных деталях, а во всей нашей политике, как явления в целом. Вот почему всё это происходило. Но трудно ведь было выступить и сказать: мы против демократизации партии, мы против демократизации общественной жизни, мы против гуманизма, мы против модернизации управления социалистическим государством. Против всего этого они открыто выступить не могли. Но в действительности речь шла об этом. По существу дела они пока не высказывались, а разные мелочи не могли служить поводом для конфликта, мы занимались их решением; и они были решены.

Не из-за этого они сюда пришли. Сколько раз потом менялась их интерпретация 21 августа. По одной версии — нам угрожали западные немцы, они, мол, уже совсем были готовы нас оккупировать. В СССР даже среди людей ходили такие разговоры: «Мы пришли на два часа раньше, чем западные немцы. Если бы мы не пришли, так сюда ворвалась бы западнонемецкая армия». Потом рассказывали, что у нас была угроза контрреволюции, потом — угроза Бог знает чего.

ОП: Говорилось ли в Чиерне о таких вещах, как подложные письма Симона Визенталя⁴³⁾, оружие в Соколове⁴⁴⁾ и тому подобное?

ИС: Эти вещи упоминались. Мы их, понятно, опровергали. Помните Соколов? Все мы знали, наши органы были заранее предупреждены, что это провокация. Это действительно и была провокация. Наши исследовательские институты провели тогда незамедлительно анализ оружия, вазелина, которым оно еще было смазано. Есть фотографии — рюкзак с надписью: «номер тот и тот». Сразу было сделано тщательное расследование. Было совершенно точно доказано, что это провокация.

Всё это была клевета из «Белой книги». Таких частностей, мелочей, очень много.

Мы к примеру, аргументировали: в Праге на праздновании 1 мая было 400 тысяч человек. Я говорил — в Брно я был на 1 мая, там участвовало 100 тысяч человек, мой доклад единодушно одобрили. Этот доклад я предоставил в их распоряжение (сов. представителей. — Р е д.). Я просил Брежнева: «Поедьте к нам, товарищ Брежнев, в Прагу, в Оставу, в Брно, в Пльзень, в Братиславу, выбирайте, куда хотите. Мы поедем с Вами. Увидите, как наш народ поддерживает коммунистическую партию, социализм, дружество с Советским Союзом. Поезжайте и убедитесь сами: имеющийся у вас материал — это собранные отовсюду сплетни, клевета, мелочи, которые

вообще не определяют ход жизни у нас». Их не интересовало фактическое положение у нас, им важно было нечто иное.

Когда мы были с нашей парламентской делегацией в Москве, я говорил с Брежневым, жаловался на Червоненко и на Удальцова⁴⁵). Я тогда говорил: «Товарищ Брежнев, эти двое представителей Советского Союза оказывают нашей дружбе медвежью услугу. Вас правильно не информируют». И я дал ему ясно понять, что было бы хорошо и наши люди приветствовали бы замену этих представителей. Он смотрел на меня, ничего не говорил. Но я сказал об этом.

ОП: Вместо этого пришел день 21 августа, или, точнее, вечер 20 августа.

ИС: Был вторник (20.8. — Р е д.), с двух часов дня заседал Президиум ЦК партии. Мы обсуждали подготовку к XIУ съезду. Вплоть до половины двенадцатого ночи я и, наверняка, многие другие не имели понятия, какие драматические события потом произойдут.

Приблизительно в половине двенадцатого ночи Черника вызвали с заседания Президиума к телефону. В соседнее помещение. Он вернулся примерно через десять минут совершенно сокрушенный, сел на своё место — сидел он налево от меня — и попросил, чтобы оратор (не знаю, кто именно это был) прервал выступление. Черник сообщил нам, что ему как раз сообщили, что войска Варшавского договора, войска пяти стран, без румынов, пересекли во всех направлениях наши границы: с севера, с востока, с юга — от Венгрии, и что до шести часов утра наша страна будет занята.

Это произвело совершенно ошеломляющее впечатление. Сам Черник находился в состоянии нервного шока. Точно так же — Дубчек. Оба не способны были ничего делать. Началась дискуссия, сначала неорганизованная, потом стали высказывать точки

зрения. И в начале этой дискуссии, продолжавшейся больше часу, мы решили принять обращение и от имени Президиума передать его народу. Поэтому было дано распоряжение службе, чтобы она предупредила средства массовой информации, что через некоторое время будет сделано важное сообщение. Это тоже передавали по радио.

Но время шло, а мы не могли прийти ни к каким заключениям. Наконец было дано поручение — не знаю кем, так это получилось в дискуссии, — Зденеку Млынаржу⁴⁶⁾, чтоб он набросал коммюнике. За это коммюнике очень активно выступал (и вообще за принятие постановления в том смысле, в каком оно потом было принято) товарищ Кригель. Конечно, и я тоже. Но только те дискутирующие — Колдер, Билак, Якеш⁴⁷⁾, именно они задерживали обсуждение бесконечными дискуссиями. А Дубчек находился в смятении. Между тем он заявил, что, собственно, теперь он должен подать в отставку и тому подобное, но мы это отвергли. А поскольку в таком же состоянии находился и Черник, то я встал и сказал, что уже достаточно дискуссий, никто ничего нового больше не скажет, а общественность ожидает сообщений. И еще я сказал, что поскольку каждый говорил по три или по четыре раза, а проект коммюнике выработан, предложен, — они были, те наши коллеги, билаки и компании, против той части, где говорилось, что войска Варшавского договора нарушили соглашения этого договора и международное право, все правовые нормы, — то мы должны закончить обсуждение и голосовать за коммюнике по отдельности.

Мы сидели за столом, и я начал обращаться к каждому: «Ты «за» это коммюнике или «против»? Сначала я спросил того, кто сидел напротив меня, был это Колдер, рядом с ним — Билак. Я опросил каждого, отмечая отдельные точки зрения. Я сидел перед Черником; я сказал: «Стою «за». — Черник,

ты «за» или «против»? Черник ответил: «За»; и последний: «Дубчек, ты «за»? — «За».

Я подсчитал голоса и снова повторил, сколько было «за» и сколько «против»; было это семь против четырёх.

Рядом с Дубчеком сидел также товарищ Свобода, которому я позвонил перед этим, сразу же, как мы получили сообщение о вступлении войск. Его жена сказала, что там у него как раз находится товарищ Червоненко и как только он освободится, то сразу же приедет в Президиум. Приехал он примерно через час. Но товарища Свободу я не спрашивал, «за» он или «против», потому что в то время он не был членом Президиума ЦК, а речь шла непосредственно только о голосовании членов Президиума.

Коммюнике было принято. Только мы закончили голосование, как еще просил дать ему слово Садовский, секретарь ЦК партии, который заявил: пусть он не является членом Президиума ЦК, тем не менее он требует, чтобы было зарегистрировано, что он стоит за это коммюнике Президиума ЦК партии. Хочу подчеркнуть, что за точку зрения Президиума ЦК голосовал также Пиллер, потому что это имело свою дальнейшую историю.

Коммюнике было принято, мы дали его средствам массовой информации, так как повсюду ожидали сообщения. И теперь мы ждали, что средства информации, прежде всего радио, будут его передавать. Приёмник там у нас был, радио начало передавать, диктор сказал: «Передаём постановление Президиума ЦК партии»... и конец. Выключили не у нас, а на радиостанции.

Примерно через десять-пятнадцать минут меня вызвали к телефону в соседнюю комнату. Звонили какие-то работники радио, не из центральной станции, а с окраины Праги, думаю, что из Страгова (передающий центр. — Р е д.): они ждали сообщения Пре-

зидиума ЦК, между тем товарищ Гофманн (член ЦК КПЧ и министр связи, в настоящее время — член Президиума ЦК КПЧ и председатель Центрального Совета профсоюзов), министр, объявил, что это сообщение лживое. И вот эти работники радио спрашивали меня, что же происходит и в чем дело.

И вот я им сказал, как, на самом деле, все это обстоит, что сообщение Президиума существует, что оно касается вступления войск, что товарищ Гофманн вышел из повиновения и встал на сторону, само собой известно, кого, отказался дать в распоряжение официальному руководству партии и государства средства массовой информации. Затем я этим молодым людям сказал, чтобы они это сообщение пустили, чтоб передавали его всеми средствами как можно дольше, пока это будет возможно.

Так и случилось; сразу же пустили коммюнике в эфир, немедленно же, между прочим, сообщение поймали в Вене, это была случайность, — и из Вены передавали его по всему миру, так что в течение одного-двух часов постановление партии облетело весь мир.

Был и второй такой эпизод: в 2 или 3 часа ночи — я плохо помню время, мы его не регистрировали — к нам в Президиум ЦК пришла делегация из «Руде Право». Я уж не знаю... я не знал этих товарищей, но я бы не мог поклясться, что среди них был и Моц⁴⁸. Пусть это проверят, когда будут уточнять, кто же там был; у меня есть такое неотвязное представление, что среди этих трёх редакторов был и Моц (сегодня шеф-редактор газеты «Руде Право» и член секретариата ЦК КПЧ. — Р е д.). А может, я ошибаюсь — это не существенно.

Они сообщили мне, что товарищ Швестка (тогда член Президиума ЦК КПЧ и главный редактор газеты «Руде Право», в настоящее время — секретарь ЦК КПЧ. — Р е д.) остановил ротационные машины, на которых уже печаталось сообщение Президиума ЦК,

что это сообщение не будет опубликовано и что он сидит в своем кабинете и пишет новое сообщение.

На это я их информировал, каково действительное положение вещей и просил их позаботиться, чтобы «Руде Право» вышла и сообщение Президиума было опубликовано. Они хотели, чтоб я еще раз подтвердил это председателю их парторганизации; позвонили ему по телефону, передали трубку мне, и я сказал этому председателю парторганизации, как на самом деле обстоит дело. Потом они устроили так, что «Руде Право» вышла.

Между тем ряд членов Президиума, секретари, ушли с заседания, ушли и Индра, Якеш, Колдер и дальнейшие. Мы были в смятении, а они уже засуетились и уже пошли администрировать и хозяйничать. Немедленно было созвано заседание правительства; Дубчек, я, Кригель, Шпачек⁴⁹), Вацлав Славик — мы там остались (в ЦК. — Р е д.), и ждали, каково будет дальнейшее развитие событий.

Тем временем Прага уже была на ногах, коридоры в здании ЦК заполнились народом, были там журналисты, партийные деятели. Все знали, что войска занимают нашу страну.

Стоит тоже отметить, что приходили некоторые товарищи и высказывали беспокойство за нашу судьбу. Говорили: «Как же так, вы здесь ждете, чтоб вас арестовали или что? Пойдемте, мы вас отвезем, позаботимся о квартирах». Я отказался от этого, сказал, что никуда не пойду. Дубчек тоже отказался уйти, хотя я его и не спрашивал. Так мы там просто ждали.

Мы слышали, как гудят самолеты. Они привозили танки, солдат в Рузинь⁵⁰). Начало рассветать, между четырьмя и пятью часами мы ждали, когда их войска появятся перед зданием Центрального Комитета. Долго ждать нам не пришлось. К пяти часам утра сначала приехали машины, потом — танки, затем — броневики.

Это было «интересное» зрелище, когда тяжелый танк приехал по правому берегу Влтавы, остановился перед главным входом и повернул стволы орудий, нацеливая их на здание Центрального Комитета. А вокруг него — броневики; парашютисты повыскакивали, заняли углы перед зданием ЦК.

Потом из машин повыскакивали парашютисты с автоматами, ворвались в здание. У них уже были чешские проводники.

Мы находились в кабинете Дубчека. Они сразу сообщили нам, что никто не смеет выходить, записали наши фамилии, с ними были чехи — бригада добровольцев, примерно шесть молодых людей, из Министерства внутренних дел. Составили, таким образом, список людей, которые там были. С нами находились наши сотрудники, например, мой секретарь, мой шофер, работник моей личной охраны, все они ждали меня, а также сравнительно много сотрудников ждало других товарищей.

Нас собрали в кабинете Дубчека. Потом там были такие эпизоды — когда, например, кто-нибудь хотел пойти в уборную, так с ним шел автоматчик и снова приводил его назад.

Между тем, пришел, например, один из них. Это был офицер высокого ранга, полковник, человек небольшого роста, дважды Герой Советского Союза. Хотел узнать у нас, где находится «товарищ Швестка». Товарищи на это вообще не отвечали. Я ответил: «Товарищ Швестка — ваш человек, он работает с вами, вы его и найдите. Наверное, он в «Руде Право».

После пяти часов утра перед зданием ЦК появились большие колонны молодых людей. Они несли чехословацкие знамена, шли строем, в первой шеренге было примерно десять молодых людей. Они хотели проникнуть к зданию, но удалось им дойти только до угла — там уже стояли броневики, танки, а перед танками — цепь советских автоматчиков.

Я смотрел из окна первого этажа: они пели чехословацкий гимн; рядом со мной у окна стоял какой-то советский лейтенант, это был такой приличный парень. Когда оставалось приблизительно десять шагов до этой шеренги — там отдавали какие-то распоряжения, или нечто вроде этого, в том грохоте нельзя было расслышать — вдруг вся цепь автоматчиков выстрелила в воздух. Только один, что был с края, выстрелил в одного нашего юношу, студента, шедшего первым в том ряду, с правой стороны головной шеренги этой колонны. Очередь попала ему в грудь или шею, потому что я видел, как он упал навзничь. Конечно, он был мёртв.

Лейтенант отогнал нас от окна, нам запретили смотреть, закрыли окно. Несмотря на это, мне удалось через некоторое время взглянуть туда: в окно я видел вокруг головы того юноши лужу крови. Потом туда стали носить цветы... Они его отнесли куда-то, а к утру приехал танк как раз на то место, где застрелили парня. Он остановился, заработала одна гусеница, двигаясь как бы на месте, и раздробил ту брусчатку вместе с кровью.

В тот момент, когда застрелили юношу, я бросился от окна к телефону к секретарше Дубчека. Говорю: «Соедини меня немедленно с Червоненко!». Соединила, набрала номер, Червоненко был у аппарата, видимо, сидел там, ждал, потому что сразу же взял трубку. Я говорил ему — вот что случилось, «вы, товарищ посол, вы несете главную ответственность за пролитую кровь».

Однако — в тот момент, раньше, чем он мне вообще мог что-нибудь ответить, ко мне подскочил один из тех советских автоматчиков и ударил по этому телефонному аппарату так, что тот разлетелся вдребезги. Через какое-то мгновение, через пару секунд после этого, Дубчек звонил Чернику в правительство. У телефонной трубки был длинный шнур — подскочил

следующий автоматчик, схватил телефон за шнур и вырвал этот шнур. Еще до сих пор вижу, как Дубчек держит трубку в руке, от неё висит шнур. Потом они перерезали все кабели. Это были толстые кабели, и тот кабель для прямого соединения с Москвой — все их вспороли. Таким образом, нельзя было никуда звонить.

ОП: Значит, ты не мог ничего сообщить даже собственной семье?

ИС: Я успел еще в полночь позвонить жене и сказать, что происходит. Не хотела верить. Я говорил ей: рассчитывай на всё, что угодно, я остаюсь здесь; следующий раз мне уже не удалось дозвониться. Потом я узнал, что в 7 часов утра, это уже была среда — 21 августа, когда мы уже были арестованы, на мою квартиру в Стрешовице приехала шестисоттройка (автомобиль «Татра-603». — П е р.). Трое или четверо мужчин вошли в дом и потребовали впустить их в мою квартиру.

Жена, которая, понятно, почти не спала, их в квартиру не пустила. Дверь была закрыта на цепочку, так она говорила с ними через дверь. Кто такие и чего хотят? Они сказали ясно, что посланы от товарища Шалговича⁵¹⁾, чтобы обеспечить мою охрану. Жена, имевшая опыт из прошлого, их в квартиру не пустила. Она сказала им: «Зачем вас будет посылать товарищ Шалгович, раз муж уже арестован в здании Центрального Комитета, так что еще вы тут хотите?» (очевидно, она уже знала или предчувствовала это). Тогда они просили впустить их в квартиру, чтобы позвонить по телефону. А она на это, — что для этого есть телефонная будка, а не телефон в моей квартире.

Просто их в квартиру не пустила; но потом, когда она позже встретилась с женами Цысаржа и Кригеля, то они узнали друг от друга, что от меня эти люди поехали на квартиру к Цысаржу, забрали

его в квартире и отвезли на Бартоломейскую улицу⁵²), и у Кригеля тоже были. Но Кригель был арестован, как и я, в здании ЦК. Так, значит, Шалгович! Эти парни прямо указывали, что они — от товарища Шалговича, но только не охранять они шли, а арестовывать, как арестовали Цысаржа.

Потом Шалгович всё это опровергал, Билак тоже опровергал; еще в президиуме ЦК, я говорил им, чтоб они не рассказывали басен, раз они послали на квартиру троих или четверых парней, чтоб арестовать меня.

Действительно, у нас не было никаких иллюзий насчет ареста. Каждый думал о семье; вот я попросился по телефону. У меня была примерно тысяча крон, я дал её своему секретарю, — а это было уже трудно сделать, в комнате находились солдаты. Я сунул ему деньги скомканными, чтоб он потом дал их моей семье, и просил позаботиться о моих близких, если бы со мною что-нибудь случилось, чтобы семья наши друзья не оставили в беде. Были у меня там тоже документы, материалы съезда — целый портфель. Сунул я его одному. Говорю: «Позаботься о том, чтобы это не попало в чужие руки». И этот юноша действительно в тех условиях нашел, куда спрятать портфель, и только через неделю, когда я уже вернулся, добыл его и в порядке вернул мне вместе со всеми документами.

ОП: Согласно некоторым сведениям, вы должны были первоначально предстать перед судом. Перед каким, собственно?

ИС: Наверное, так после восьми часов утра, — кто-то сказал, что это было в 9 часов, — пришел снова их командир, дважды Герой, с какими-то чешскими добровольцами из Министерства внутренних дел, и нас стали вызывать по фамилиям: Дубчек, Смирков-

ский, Шпачек, Кригель, не знаю, кто еще; нам велели следовать за ними.

Когда нас вызвали, то мы вышли из кабинета Дубчека и прошли через ту, вторую комнату, где сидели наши сотрудники. Тут к нам обратились, чтоб мы отдали оружие, у кого что есть при себе. Ну, у меня — каждого обыскали, нет ли чего-нибудь в карманах, — был нож, он и сейчас, случайно, со мною, так я выложил его на стол и сказал, что это мое единственное оружие. Мне его вернули обратно.

Нас отвели в другой коридор, в кабинет Честмира Цысаржа. Когда мы туда пришли, то доброволец из Министерства внутренних дел в присутствии тех советских офицеров (это всё были офицеры КГБ) сообщил нам, что через два часа мы предстанем перед революционным трибуналом, во главе которого стоит товарищ Индра.

Я слегка взорвался: «Какой революционный трибунал и какой товарищ Индра будет в нем председательствовать!». А Дубчек потянул меня за рукав и говорит: «Йозеф, это бесполезно».

Так мы сели в кабинете Честмира Цысаржа, с одной стороны стола — мы, напротив нас — офицеры КГБ, полковники, подполковники. У каждого из нас уже был «свой», каждый сидел против своего. Мы — как клиенты, и они, которые должны были заботиться о нашем сопровождении в последующих наших приключениях.

ОП: Кто из вас там был?

ЙС: Дубчек, Кригель, я, Шпачек. Не знаю сейчас, был ли там Шимон. Черник находился в здании правительства, но думаю, что Шимона там уже тоже не было. Мы были там вчетвером. В кабинете Дубчека остались Млынарж, Славик, — те арестованы не были. Арестовали только нас. Мы ждали этого ревтрибунала. Верхняя часть окон была открыта, и мы слышали из

города выстрелы, шум демонстраций и те лозунги, которые люди кричали, после чего солдаты закрыли окна.

Мы хотели газет — нам отказали; уже даже за двери никто из нас не мог выйти сам. Когда кому-нибудь надо было пойти в уборную, с ним шел один подполковник. Никто из нас не ел с прошлого дня, но о еде у нас не было даже мысли. Принесли нам туда какую-то колбасу, но никто к ней не притронулся.

Во второй половине дня — наверное, было около трёх часов — нам сказали, чтоб мы следовали за ними.

Вот мы и пошли под дулами автоматов через помещение, где находились водители, наши сотрудники, они пили кофе (те ребята не спали всю ночь), и стоял там на столе сахар. Мой шофер сказал: «Товарищ председатель, не хотите сахару?» Тогда я взял три кусочка. Я говорил себе — могут мне пригодиться. И в этот момент я вспомнил Рузиль, мой арест в пятидесятом году и какой был тогда голод. Нам тогда дали какую-то кашу из овсянки — это нельзя было есть, пока человек действительно не изголодался. Так вот, я вспомнил Рузиль и взял этот сахар. Потом, когда уже все улучшилось, я оставил его в Закарпатской Украине и очень жалею об этом, я бы оставил его своим внукам на память.

ОП: Знали вы уже в тот момент, куда вас везут?

ЙС: Мы шли по лестнице, никто не сказал нам ничего о том, что с нами будет. Так что у нас были разные чувства: идем ли, чтобы предстать перед ревтрибуналом, или же — в подвал? Нас вели по темным коридорам вниз, я, между прочим, в жизни там не был, — опыт с подвалами у нас есть, не так ли... Ну, и внезапно мы очутились во дворе, в маленьком дворе здания ЦК партии. Там находились два броневика и какие-то офицеры. В первый броневик сзади впахнули Дубчека и Кругеля, а во второй — втокнули меня и Перика Шпачека. Двери захлопнули, рядом с шофером

сидел еще кто-то, а третий человек был какой-то офицер, сидевший перед нами; а сзади — я со Шпачеком.

Выехали. Куда? Мы не знали. Когда мы ехали по улицам, то я глядел в смотровое окошечко, или как это называется у солдат, — так вот, я смотрел на улицу, узнавал улицы — улицы в Праге я знаю — и догадался, что мы едем куда-то по направлению к Рузине.

Я думал: «Итак, Рузине, — что бы это означало?» Рузине — это тюрьма, где я провел уже однажды несколько лет. Но в Рузине есть и аэродром.

Мы очутились на аэродроме. Не могу сейчас точно сказать, на новом или старом. Тогда я, наверное, думал о чем-то другом.

Помню, что нас через несколько минут отвели в машины. Было очень жарко в броневиках, тогда вообще было тепло. Мы немного отдышались, нас отвели в самолет, в народе его называют «добытчик» (чешск., в русском переводе адекватно «телятнику». — П е р.), потому что в таких самолетах возили танки. Он весь был ободран, стояли в нем только скамейки, даже не закрепленные, качающиеся.

Сидели мы в этом самолете не менее получаса, затем нам было сказано, чтоб мы вышли наружу, и тем газиком нас перевезли к другому самолету, всех четверых, и посадили нас в него. Мы опять хотели знать, куда нас везут. И снова тот дважды Герой Советского Союза, такой низенький полковник, сказал: «Товарищи, все узнаете в самолете».

Это был военный самолет, тоже ободранный, опять те же скамейки — кресла, которые бывают в самолетах, были сорваны; просто — самолет для полетов служб.

Мы сидели в самолете; потом пришли и дали распоряжение Дубчеку выйти наружу. Его куда-то отвезли от здания аэропорта, и больше я его не видел. Он летел, наверное, другим самолетом, с Черником.

Когда мы очутились в воздухе — были мы там только трое (я, Кригель, Шпачек) — никого другого я там не видел.

Куда летим, — мы не знали. Я сидел с левой стороны, видел, что мы летим над Крконошами (невысокие горы в Северной Чехии. — П е р.), то есть, что мы летим куда-то на север. Было темно, когда мы приземлились на аэродроме в Легнице. Я видел на ангаре надпись «Легница» и поэтому узнал, что мы — в Западной Польше. Однако, когда я говорил с Кригелем, тот сказал, что у меня одна деталь выпала из головы: до того, как мы приземлились в Легнице, мы еще приземлялись на другом аэродроме, где заправлялись горючим. Я этого, ей-Богу, не могу вспомнить. Ведь была уже вторая ночь, которую я проводил без сна.

На том аэродроме мы стояли не менее получаса, может быть, — три четверти часа, офицеры бегали, явно ждали каких-то распоряжений. Потом нам велели выйти, мы вышли из самолета, нас погрузили в машину и отвезли куда-то, в десяти или пятнадцати километрах, в какой-то барак. Это был их барак, полицейский, причем, уже у каждого из нас был свой «ангел-хранитель». У меня был какой-то полковник, он представился мне неким Николаевым.

Так мы там сидели, каждый — за отдельным столом, о разных вещах мы разговаривали. Это были интересные разговоры. Мой товарищ Николаев готовил меня к дальнейшей судьбе. Говорил: «Товарищ Смрковский, вы должны смириться с судьбой, уж так это бывает в политике. А мы ни в чем не виноваты, мы тут по службе, ведь так? Ну, вы должны смириться со своей судьбой». Он был так себе — культурный человек.

Кригель сидел у другого стола со своим офицером. Это было ужасно: в разговоре выяснилось, что они оба воевали в Испании, Кригель и этот советский

офицер. Говорили они между собой по-испански, — офицер немного умел, а Кригель говорит по-испански, — а иногда произносили и несколько слов по-английски. Они даже играли вместе в шахматы, потому что мы там ждали три-четыре часа. Так значит, оба — испанские интербригадисты!

У Пепика Шпачека был свой «коллега». Дали нам поесть — кусок колбасы или что-то вроде этого. Мы ждали; у них не было инструкций, куда лететь дальше. Очевидно, что-то уже менялось. Наверное, было около трех часов, когда нас отвезли снова на аэродром и посадили в ТУ. Он еще пах лаком, элегантный, новый, военного типа. Летели мы вдвоем; был ли в самолете еще кто-нибудь другой, этого я не знаю. Там есть перегородки. Короче говоря, мы летели, не знали — куда; начало рассветать, и мы приземлились где-то. По виду местности, по виду холмов, по ландшафту и по солнцу мы тоже поняли, что находимся не на севере, а где-то на юге. И независимо друг от друга мы решили, что приземлились в Закарпатской Украине. Так оно и было: Кригель её знает, я знаю Закарпатскую Украину, Черник — тоже.

ОП: Откуда вдруг появился Черник?

ИС: На аэродроме каждого из нас посадили в отдельную «Волгу»; я сидел посредине сзади, а с каждой стороны — по одному полковнику КГБ; и мы куда-то поехали. Каждый — в разную сторону, куда — мы не знали. Примерно тридцать километров, в горы. Внезапно мы остановились у какого-то лагеря, какие-то бараки там были, один домик был огражден колючей проволокой, вокруг него — автоматчики. Въехали мы во двор, — ну, вот мы и дома. Значит, я просто находился в полицейском бараке, в каком-то домике. Около домика — садик, около — колючая проволока.

Подхожу к дверям дома, а там стоит Черник.

Привезли его за несколько секунд или минут до меня. Мы смотрели друг на друга, Черник меня обнял, мы поздоровались. Остались мы там. Потом, уже позднее, мы узнали, что другие товарищи находились в десяти-пятнадцати километрах от нас, в следующем бараке подобного типа.

Уже начался восход солнца. Мы умылись; нам дали что-то поесть; и мы сели во дворике. Там был, конечно, офицер, во дворе, но нас оставили в покое, так что мы могли в пределах этого пространства вместе ходить, вместе сидеть.

ОП: Это был первый случай, когда вам разрешили общаться друг с другом?

ЙС: Да. Первый раз никто не мешал нашему разговору.

Начало светить солнце, мы сели под сосну.

Переживания опять обрушились на Олдржиха Черника, с ним произошел нервный припадок. Просто, как бывает, — взрыв плача. Потом у меня с ним был о нашем положении долгий разговор; думаю, что ему это пошло на пользу. Он говорил: всему конец, мы уже не вернемся домой, с семьями мы даже не могли попрощаться, просто ему казалось, что всё кончено. Я так не думал; и вскоре действительно оказалось, что это не конец.

В полдень нас позвали к обеду в том бараке, и, в отличие от того завтрака и от предыдущего дня, обед нам дали приличный. Было нас там только двое и какая-то девушка, само собою, — из КГБ. На столе во время этого обеда появилась бутылка вина. Мы взглянули друг на друга, говорю: «Олдржих, это уже что-то значит, — такая разница по сравнению со вчерашним обращением и с завтраком, это неспроста, это уже прямо культурный обед».

После обеда мы опять сидели во дворе, и вдруг офицер снаружи кричит: «Товарищ Черник, к телефо-

ну!». И Ольда Черник пошел к телефону, вскоре он вернулся, был такой взволнованный. Говорит (он звал меня тогда «Йозифек»): «Йозифек, я говорил с Сашей (с Александром Дубчеком. — П е р.), он звонил мне. Саша говорил с Брежневым, он должен ехать в Москву и сказал мне, что с ним должен еще кто-нибудь поехать, ну, так с ним поеду я». И вот — мы попрощались. Был четверг, вторая половина дня. Я попросил его передать от меня поручение Дубчеку, на случай, если бы мне больше не пришлось с ним встретиться.

Так я и остался там еще двадцать четыре часа. Вдруг пришел молодой парень, говорит: «Едем!». И вот я снова уселся в машину, и мы поехали на аэродром. Я был один; мы опять летели куда-то. Самолет приземлился во Внуково, я его немного знаю, бывал уже несколько раз.

Меня интересовало, куда мы поедем. Когда мы выехали с аэродрома на главное шоссе, вместо того, чтобы поехать налево, к Москве, мы поехали направо — от Москвы. Думаю, что это было направление на Смоленск или Калинин, просто куда-то в другую сторону от Москвы. Мы проехали не меньше километров сорока; ехали лесом; снова какое-то, обнесенное забором, здание в лесу. Вот меня туда и поселили; вдруг вижу — из комнаты, которую мне отвели, — во дворе стоит Богоуш Шимон; его туда привезли перед этим. Сутки мы провели вместе, рассказывали друг другу всевозможные вещи о событиях. Он мне много рассказывал о себе, откуда он родом, из какой среды происходит, — оказалось, что из какой-то семьи батрака в Южной Чехии.

Мы были там вместе 24 часа. Стол был накрыт, позвали нас «кушать» — не знаю, был ли это ужин или завтрак, не помню уже. Смотрю я на ту девушку, которая нам подавала еду, и говорю: «Мы знакомы, да?». А она на меня глядит и говорит: «Не знаю, не

знаю». Я говорю: «Да, да, мы ведь уже виделись, когда я был в июне в Москве с парламентской делегацией». В той даче для гостей, где я жил, она была еще с одной женщиной, работала служащей при кухне, подавала, там мы виделись. И тут я в полной мере осознал, что вот эти девушки, которые обслуживают иностранных гостей, являются работниками КГБ. Ну, это, в общем, деталь.

Через 24 часа, — было это после обеда, в субботу, — за нами пришли: «Товарищи, вещи собрать», — у нас никаких вещей не было, только то, что было на себе.

Итак, мы поехали в Москву. Нас везли в машине. Мы проехали мимо Кремля, подъехали к зданию Центрального Комитета партии. Нас подняли на лифте на четвертый этаж, мы недолго ждали, и появился Пепик Шпачек, который тоже жил где-то недалеко от Москвы, был там с Кригелем, только Кригеля оставили и в Москву его не взяли.

Ну, когда мы трое были в сборе, какой-то партийный работник сказал, чтоб мы прошли дальше. Открылись двери в зал, такой большой зал заседаний, и там стояли Брежнев, Косыгин и Подгорный. Мы поздоровались, обменялись рукопожатиями и уселись друг против друга. Брежнев сидел в середине, по левую руку, если смотреть на него, сидел Подгорный, направо от Брежнева — Косыгин. Я сидел напротив Брежнева, справа от меня был Шимон, слева — Шпачек.

Товарищ Брежнев начал: «Страшная вещь случилась...», — и стал рассказывать нам о XIV съезде партии. И вообще мы узнали то, о чем до той поры не предполагали, потому что у нас не было совсем никаких сведений. Мы требовали, чтобы нам разрешили слушать радио, — не дали, ничего не разрешили. Только — советские газеты, а на них мы даже смотреть не хотели.

Из уст Брежнева мы узнали, что существует XIV съезд партии, что у нас в стране — забастовка, народ выступает против оккупации. Мы тоже поняли, что нет никакого другого правительства, что товарищ Свобода находится в Москве с другими товарищами. Еще мы узнали от них, что нас отвезут в Кремль, где будут происходить переговоры, а потом вернемся обратно.

Я еще спросил: «Это означает, что мы больше не находимся под арестом и что мы снова — представители Чехословацкой Республики?»

Товарищи Брежнев и Косыгин сказали (Брежнев, кстати, все время вспоминал Шилгана: «Что такое Шилган?»*), что мы должны вернуться и ликвидировать XIV съезд партии и осуществлять коммунистическую политику. Я заметил, что, конечно, когда мы вернемся, то буду осуществлять коммунистическую политику, которая будет в согласии с моей совестью и с волей нашего народа. Это очень рассердило товарищей, и, в первую очередь, товарища Косыгина. Он говорил: «Как вы можете так говорить, вы, старый коммунист?». Ну, я ему ответил: «Я думаю точно так, как говорю; как раз потому, что я старый коммунист, я буду проводить ту политику, которая действительно находится в согласии с моей совестью».

Снова — обмен мнениями был очень резким, — говорили мы все, я, Шпачек и Шимон; у всех у нас были одинаковые взгляды. Наконец Брежнев начал называть меня на «ты», настолько он был взволнован. Ну, я ему тоже сказал:

«Вы, товарищи, уничтожили ту многовековую дружбу, которая была между нашими народами; наш

* Венэк Шилган, профессор экономики, был избран на XIV съезде в Президиум ЦК КПЧ, и ему было поручено замещать Генерального секретаря КПЧ Дубчека на время его отсутствия. — Р е д.

народ уже сто лет тому назад растил любовь к славянской России, пятьдесят лет — к Советскому Союзу. В лице нашего народа вы имели самых верных друзей, и вы уничтожили все это за одну ночь». Так мы вместе говорили, ни к чему это не вело, и мы согласились — Брежнев это предложил, — что будет лучше прекратить разговор. Я сказал, что тоже так думаю, при этом я заметил, что история рассудит, кто был прав и кто совершил этот трагический поступок. Наконец нас отпустили и сказали, что едем в Кремль.

Ну, теперь тот караул у дверей, — там вахтёрами состоят офицеры в высоких чинах или что-то вроде этого, они были одеты в какую-то новую форму, очень пёструю, — с нами почтительно здоровались, отдавали нам честь. С этого момента я осознал, что меня снова принимают за председателя Национального Собрания, а не за какого-то арестанта.

Перед зданием стояла «Чайка», она отвезла меня на правительственную дачу; по случайному стечению обстоятельств по соседству с ней находилась дача, в которой я жил в июне. Тогда в ней был персидский шах, а теперь тут находился я, в той даче шаха. Мы выкупались, побрились. Дали нам белье, потому что на нас уже пять дней было одно и то же белье, так что мы были грязные, неприятно это было. Мы приняли слегка цивилизованный вид и поехали в Кремль.

ОП: Как вы встретились с остальными чехословацкими деятелями?

ЙС: Приехали мы в Кремль, в одно крыло, которое было дано в распоряжение Людвика Свободы. Вошли мы туда, было там двадцать человек, может быть, тридцать. Я видел много знакомых лиц — Дзура⁵³⁾, Кучеру⁵⁴⁾ — народного социалиста, Якеша, Ленарта и массу других людей. Зденек Млынарж там был; само собой, я увидел там и Черника. Дубчек болел. Мы быстро обменивались сведениями; потом

я посетил Дубчека; затем опять же Зденек Млынарж информировал нас о XIV съезде, вообще о событиях в Чехословакии, из его уст мы, собственно говоря, узнали больше всего. Никто не препятствовал нам в разговорах, правда, всегда присутствовали советские партработники, но нам не мешали.

ОП: Как началось то, что позже будет называться «московскими переговорами»?

ЙС: От наших товарищей мы уже знали, чего от нас ожидают, когда мы вернемся. Что будет какой-то протокол.

Когда нас ознакомили с этим проектом советской стороны, то мы сказали, что это абсолютно неприемлемо, — то, что нам советские предлагают, — и что мы дадим свой проект. Последний был составлен, мы дали его советской стороне. Таким образом, были два проекта — советский и наш.

Была выбрана делегация, я руководил ею, в ней были, кроме меня, Ленарт и Швестка. Мы передали нашу точку зрения советскому Президиуму, а именно, — секретарю Президиума Пономарёву. Это было поздно вечером, около десяти часов. Мы пришли в его кабинет, объяснили ему, что документ советской стороны мы подписать не можем, что он для нас неприемлем. А он на это сказал, что проект документа, который дали мы, неприемлем для Советского Союза. Это было в воскресенье вечером, на следующий день моего пребывания в Москве. Я передал точку зрения нашей делегации, представителей, и Ленарт и Швестка, в целом, разделяли ее; просто не сказали против этого ничего.

ОП: В чем заключались противоречия между проектами?

ЙС: Мне трудно воспроизвести это по памяти. Протокол из Москвы, в общем, известен, или досту-

пен. Тот первоначальный проект был еще хуже, чем существующий документ. Начинался он с того, что они пришли воспрепятствовать контрреволюции, пришли оказать нам интернациональную помощь. Мы это отклонили и заявили, что это там ни в коем случае не может быть. Они это вычеркнули. Потом, еще две вещи нам удалось отстоять, а именно: о войсках у нас — в том первоначальном проекте — говорилось, что они у нас останутся. Тогда мы сказали: нет; и отстояли слово «временно». После каких-то дискуссий они пришли и согласились, что это словечко принимают. Затем мы добились в одном параграфе из четырнадцати, что будет продолжаться послеянварская политика, демократизация и т. д. Еще там были всякие мелочи, но они представляли уже результат наших споров. В конце концов мы сказали Пономареву, что и в таком виде проект неприемлем для нас, что мы его не подпишем.

Он сказал: «Не подпишете сейчас, подпишете через неделю. Если не через неделю, так через четырнадцать дней, а если не через четырнадцать дней, так через месяц».

Так твердо это сказал, мол, они могут подождать; раньше, чем уедем домой, — подпишем, даже если бы это длилось месяц.

Я потом рассказал все это нашим товарищам. Ленарт и Швестка подтвердили ход разговора; и нам не осталось ничего другого, как взять их проект за основу переговоров. Мы потом работали над ним, чтоб достичь тех мелких исправлений.

ОП: Было ли во всей чехословацкой делегации единство при первоначальном отклонении советского проекта?

ЙС: Я упоминал о советском проекте, который был неприемлем для нас. Мы сказали, что подписать это не можем и не подпишем. По ходу дела, никто

из нашей делегации во время переговоров не выступил за этот первоначальный советский проект. Мне не известно, чтоб кто-нибудь с ним соглашался, так что наш отказ был общим. Даже и Якеш, и остальные от этого отказались.

Здесь я должен кое-что сказать. В этом нет ничего героического. Но, может быть, каждый из нас, присутствовавших там, проливал слёзы. У некоторых этот нервный шок произошёл уже в Праге, так это на них подействовало. Помню, что в Праге, когда мы ждали появления танков, я видел Вацлава Славика, Зденека Млынаржа, как они плакали. Ну, а в Москве, когда мы получили этот первоначальный советский проект протокола, чтоб каждый его прочитал по-русски, то это всех потрясло.

ОП: И Билака?

ИС: Об этом как раз не знаю; говорю о лагере Дубчека; меня это поразило только тогда, когда мы получили их проект, до той поры я держался; и там у меня тоже сдали нервы и просто... такой приступ, ну, у каждого это было. У Черника, у Дубчека, у других.

ОП: Когда речь шла о встрече в Чиерне, то ты говорил, что там, собственно, были две наши делегации. Отразилось ли это на встрече в Москве?

ИС: Тут я должен сам, когда буду работать над этим, сопоставить свои взгляды со взглядами других участников, потому что всё было слишком хаотичным. Мы, надо сказать, дубчековский лагерь, были заняты сущностью тех переговоров, тем протоколом, разработкой нашего проекта. А ряд товарищей, которые там были в Москве, приехавшие туда со Свободой, те там разгуливали, все время где-то отсутствовали. Я их мало видел. У них было, наверное, о чем

порассказать друг другу; а у советских товарищей нашлось о чем с ними поговорить.

ОП: Во время переговоров отсутствовал также Франтишек Кригель, в то время еще — председатель Национального Фронта и член Президиума ЦК КПЧ, то есть один из наиболее высоких чехословацких партийных деятелей.

ИС: Он был привезен в Кремль, но не в кремлевское правительственное здание, а в какое-то полицейское учреждение. Мы с Пепиком Шпачеком должны были заехать с протоколом в это здание, дать Кригелю его прочитать и добиться, чтоб он его тоже подписал. Советские руководители были в этом заинтересованы, хотя Кригель и не был допущен к переговорам. Они не желали, чтоб он там был.

Я дал ему прочесть; времени было мало; он спокойно всё прочитал, перелистал и сказал: «Не подпишу». Мы со Шпачеком его информировали, как обстоят дела; в целом, мы не могли ничего добиться, мы просто его ознакомили с этим и вернулись обратно. Он остался там. Об этом был разговор в нашей делегации, но не знаю, кто из нас потребовал, чтоб Кригеля привезли к нам. Тогда мы посоветовались об этом с советскими представителями, и те дали свое согласие. Кригеля привезли, сел он там, снова это прочитал и сказал: «Не подпишу». А также сказал — почему.

Произошел спор, довольно неприятный, между ним и Свободой. Товарищ Свобода резко набросился на него, как на солдатишку какого-то. Это было действительно тягостно. Кригель — пожилой человек, ему 60 лет, — должен был протестовать, чтоб на него товарищ Свобода не кричал, что он не мальчишка. Свобода кричал на него об ответственности, о горах мертвых в Чехословакии, что нам надо все это понять. Закончилось это ничем. Кригель отка-

зался, и тем это кончилось. Потом он там еще недолго побыл, посидел с людьми.

ОП: Если не ошибаюсь, это происходило уже непосредственно перед подписанием. Как вы подписывали? Почему? И что ты думаешь об этом сегодня?

ИС: Вечером началось заключительное совещание. И Дубчек пришел на это заключительное совещание. Вообще он лежал в другом помещении; лечили его наши врачи; у него были какие-то сердечные приступы, состояние у него было очень плохое. Ко всему этот шрам на лбу, — о котором рассказывали всякие легенды, — это случилось с ним в ванной: у него был обморок, он упал и во время падения ударился головой о край раковины. Лоб у него поэтому был забинтован, лечили его наши врачи из военной больницы, которых взял с собой в Москву Людвик Свобода. Индра в совещании тоже не участвовал, тот, в свою очередь, находился в какой-то другой комнате, он тоже лежал, говорили, что у него что-то с сердцем.

У Дубчека мы все время были, всё с ним обсуждали, но переговоры вели мы, так как он не мог.

В последнем совещании он участвовал. До того, как оно началось, пустили туда группу кинематографистов и репортеров, они все засняли, потом их выгнали, и начались переговоры.

Начал Брежнев, Дубчек ему отвечал, Черник тоже вмешался, и выглядело это так, будто мы никогда не договоримся. Просто — снова Москва в мае, как я уже об этом рассказывал, «а ля Чиерна-над-Тиссой». Снова поток всех тех разных обвинений. Дубчек это отклонял; уже все выглядело так, что мы встанем и уйдем и что из переговоров ничего не выйдет.

Выступил Свобода и сказал, что те реплики не имеют цены, что надо взять протокол и начать обсуждение пункт за пунктом, слово за словом. И при этом говорил так, что всё будет хорошо, что когда совет-

ские солдаты будут покидать нашу страну, то их за-
валят цветами.

Советские представители сказали, что с предложением Свободы согласны. Это было в понедельник вечером. Заседание окончилось подписанием около полуночи.

Я, еще до того, как мы это подписали, когда мы совещались во второй половине дня, хотел получить информацию с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Я спрашивал у Кучеры как у министра юстиции, имеем ли мы право, в том положении, в котором мы находились, подписывать какие-нибудь протоколы именем Чехословацкого государства, имеют ли они законную силу. Он мне на это ответил несколько проблематически. Однако, на мой вопрос, который не был злорадным и в самом деле исходил из сомнения, имею ли я, председатель Национального Собрания, конституционное право перед законами, перед Конституцией, нечто такое подписывать, — это мне было потом, уже после августа, в 1969 году, при моей ликвидации, поставлено в вину в Президиуме ЦК, как один из моих грехов. Пиллер выступил против меня с нападками, что уже в Москве я спрашивал, имеют ли наши подписи какую-нибудь юридическую цену в том положении, которое было.

И вот мы наконец подписали протокол. Каждый в отдельности должен был высказаться: «Подпишу», «не подпишу». Думаю, не ошибусь, если скажу, что руководил этим Черник... Все мы колебались. Я сомневался долго — должен, не должен, — поэтому я спрашивал Кучеру.

Сегодня мне трудно было бы сказать, кто из нас дольше сомневался или у кого было большее желание подписать, потому что все мы более или менее противились. Никому этого не хотелось. Я сознавал, какой это ответственный шаг; я сказал об этом и в том своем выступлении, когда мы вернулись в Прагу;

не было у меня уверенности, делать это или нет.

Я так поступил и отстаиваю свое поведение, конечно. Но я в этом выступлении говорил, что история когда-нибудь рассудит, сделали ли мы хорошо или изменили Чехословакии. Я не знаю. Но при тех обстоятельствах, которые были, мы сами приняли такое решение. Хотя скажу, что я долго, долго колебался.

ОП: Хочешь еще дополнить сказанное каким-нибудь интересным происшествием?

ИС: Когда разговоры закончились подписанием, как я говорил, то у нас оставались еще два или три часа до отлёта. Мы беседовали, по двое, по трое, с советскими деятелями и тому подобное; тут ко мне подошел Ленарт. Говорит: «Товарищ председатель», — и потом мне рассказывает, что тут рядом, в каком-то салоне, в Кремле, ждут «товарищи Ульбрихт, Гомулка, Кадар и Живков». Они, мол, нас ждут и хотели бы выпить с нами по рюмке, просто нас поприветствовать. Говорит мне, не организую ли это я, мол, возьми с собой несколько наших, речь не шла обо всех делегатах. Я поглядел на Ленарта и говорю ему: «Товарищ Ленарт, иди и скажи им, что мы их даже видеть не желаем, а не то что коньяк распивать с ними. Не пойдем».

Он принял это к сведению, очевидно, сказал им это; я, конечно, пошел рассказать о случившемся Дубчеку и Чернику. Те сказали: «Правильно сделал». Так мы и отказались выпить по рюмочке коньяку с этими «товарищами». Мы их вообще не видали, мы даже не знали, что они там находятся. Только благодаря этому происшествию нам стало известно, что они являются в Москве участниками всех переговоров, что протокол и всё прочее согласовано с Ульбрихтом и коллегами. А мы этого не знали, только коньяку мы должны были с ними выпить.

(Окончание следует)

КОММЕНТАРИИ

⁴³ Симон Визенталь — директор еврейского центра по расследованию преступлений нацистов. Летом 1968 г. разведкой ГДР было якобы перехвачено его письмо, из которого вытекает, что «пражская весна» — дело рук сионистов и поддерживается ими.

⁴⁴ В июле 1968 г. недалеко от гор. Соколов в Северной Чехии найдено оружие, якобы подброшенное американцами для чехословацкой контрреволюции. Расследование показало, что хотя оружие было американского происхождения, но вазелин в нем оказался из ГДР, а рюкзаки были советские.

⁴⁵ Иван Удадьцов — историк, специализирующийся по Чехословакии. На самом деле — офицер высокого ранга КГБ, долгие годы — ответственный сотрудник посольства СССР в Чехословакии.

⁴⁶ Млынарж Зденек — юрист, в 1968 г. — секретарь ЦК КПЧ и председатель правовой комиссии ЦК. Он первый заявил, что после оккупации нельзя продолжать послепаварскую политику и ушел из Президиума ЦК. Исключен из КПЧ; в настоящее время занимается энтомологией.

⁴⁷ Якеш Милан — консервативный политик, председатель ревизионной комиссии ЦК.

⁴⁸ Моц Станислав — в настоящее время — главный редактор центральной партийной газеты «Руде Право».

⁴⁹ Шпачек Йозеф — бывший первый секретарь Южно-Моравского областного комитета партии, член Президиума ЦК КПЧ. Принадлежал к прогрессивному крылу. В настоящее время — рабочий; исключен из КПЧ.

⁵⁰ Рузинь — Пражский международный аэропорт (недалеко от него находится тюрьма с тем же названием).

⁵¹ Шальгович Вильям — в августе 1968 г. был начальником чехословацкой госбезопасности и зам. министра внутренних дел. За содействие советским органам при оккупации ЧССР и за помощь при ее подготовке был 23 августа 1968 г. решением чехословацкого правительства смещен со своего поста, после чего сбежал в Болгарию и скрывался там долгие месяцы. Теперь он «реабилитирован» — занимает пост председателя Центральной ревизионной комиссии компартии Словакии. В 1975 г. назначен председателем Словацкого национального совета.

⁵² Бартоломейская улица — штаб-квартира пражской полиции; там находятся и органы госбезопасности.

⁵³ Дзур Мартин — министр вооруженных сил во время «пражской весны». Это он первый позвонил Чернику и сообщил ему об оккупации. Поздно вечером 20 августа советские военные советники при чехословацком Министерстве обороны интернировали его, чтобы он не мог дать распоряжение армии защищать страну.

⁵⁴ Кучера Богуслав — министр юстиции; представитель партии чешских социалистов.

ИСКУССТВО

Александр Г л е з е р

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

(Заметки о русских художниках-нонконформистах)

*«Что такое социалистический реализм?
Это искусство «чего изволите».*

Оскар Рабин

В первом номере журнала «КОНТИНЕНТ» была опубликована статья Игоря Голомштока «Парадоксы Гренобльской выставки», где автор достаточно подробно поведал о том, как в начале 30-х годов коммунистический режим окончательно уничтожил свободу искусства в России. Поэтому, очевидно, нет нужды останавливаться на сталинском периоде существования русского изобразительного искусства, а возможно сразу же обратиться к середине 50-х годов, когда вся страна постепенно приходит в себя после свирепого террора и на вытоптанной ниве отечественной культуры появляются ростки явления, которое впоследствии назовут нонконформизмом.

Многочисленные выставки современной зарубежной живописи, продолжавшиеся в течение всего хрущевского правления и окончившиеся вместе с ним, были для молодых советских художников, внутренне созревших для самостоятельного, неподневольного творчества, катализатором, ускорившим процесс их становления. Этому способствовала и русская интеллигенция, изголодавшаяся по подлинным ценностям и морально поддерживавшая будущих мастеров своим вниманием и неподдельным интересом. Свидетельство тому — «домашние» экспозиции, которые тогда широко практиковались. Композитор А. Волконский

устроил у себя показ акварелей семидесятилетнего Евгения Леонидовича Кропивницкого. Чуть позже прославленный пианист Святослав Рихтер познакомил москвичей с картинами Дмитрия Краснопевцева. Просмотры работ О.Рабина, Д.Плавинского, Л.Мастерковой, В.Немухина состоялись на квартирах писателей, ученых, искусствоведов.

На смену «домашним» — пришли выставки в научных институтах и клубах. В 1960 году — Эрнста Неизвестного в клубе «Дружба» на шоссе Энтузиастов, а на следующий год там же — Владимира Яковлева, в 1962 г. в МГУ — Э.Неизвестного и В.Янкилевского, в Доме учителя Ждановского района — «Белютинской студии» с участием Ю.Соостера, Э.Неизвестного, Б.Жутовского, В.Янкилевского, В.Галацкого и др. Осенью того же года во время юбилейной выставки «XXX-летие МОСХ» в Манеже, на которой впервые после большого перерыва были представлены полотна давно обвиненных в формализме Д.Штеренберга, А.Древина, Р.Фалька, группа академиков-сталинистов с явно провокационной целью пригласила продемонстрировать свои произведения и «белютинцев». А назавтра Хрущев, окруженный свитой подобострастно хихикающих академиков, шествуя по закрытым для массового зрителя залам модернистов, от души возмущался: «Глядя на вашу мазню, можно подумать, что все вы — педерасты. А у нас за это десять лет дают!» Иногда он останавливался и кричал: «Не искусство, а... твою мать!» Выглядывая из-за его плеча, президент Академии художеств СССР А.Серов истово приговаривал: «Истинно ленинские слова! Истинно ленинские слова!»

Начатая тогда же широкая кампания борьбы с формализмом казалась шагом вспять, однако, как ни странно, никого не расстреляли, не посадили, со службы не выгнали и самих-то обруганных, в сущности, даже не напугали. Вновь и вновь в институтах

и клубах, как ни в чем не бывало, одна за другой проходят экспозиции неофициальных художников.

Но приблизительно к середине 60-х годов «клубные» и «квартирные» выставки перестали удовлетворять их участников, ибо, как правило, были кратковременными, печатных объявлений, конечно, никаких не было, и лишь ничтожная часть желающих могла туда попасть. Некоторые художники считали, что хватит полуподпольной самодеятельности, случайного подбора имен и картин — необходимо добиваться серьезной и представительной выставки. Тут, кажется, и следует сказать, что движение «неофициальных» никогда не было единым ни организационно, ни по взглядам на задачи искусства. Один из них, Николай Вечтомов, как-то заметил: «Нас объединяет только несвобода. Если бы всех выставляли, многие бы стали врагами, настолько разные у нас мироощущение и отношение к живописи». Я бы добавил — и к жизни. Существовала в левом крыле МОСХа интересная группа (В.Вейсберг, Б.Биргер, Н.Андронов, Н.Егоршина), члены которой мечтали мирным путем раздвинуть рамки соцреализма, размыть, так сказать, его берега. Громко заявили о себе авангардисты (Э.Неизвестный, И.Кабаков, В.Янкилевский, Б.Жутовский...). В разных концах столицы работали О.Целков, Б.Свешников, А.Зверев, Д.Плавинский, В.Яковлев, В.Ситников... А в конце 50-х годов кто-то придумал словосочетание «Лианозовская группа» — по названию подмосковного поселка, где жили тогда Рабин и Кропивницкие, — которую в Союзе художников иначе не именовали, как «проклятая». Входящие в нее О.Рабин, В.Немухин, Л.Мастеркова, Л.Кропивницкий, В.Кропивницкая и Н.Вечтомов занимали, пожалуй, наиболее бескомпромиссную позицию в борьбе за расширение творчества. Они не желали «расширять границы соцреализма», опираться на «прогрессивных» западных и восточных искусствоведов и требовали

лишь одного — возможности свободно писать и показывать картины соотечественникам.

...Я вспоминаю конец 1966 года, когда познакомился с «лианозовцами» и мы решили организовать показ картин в рабочем клубе «Дружба». Особенность выставки, которая состоялась 22 января 1967 года, заключалась в том, что в ней участвовали двенадцать художников, представлявших не одно, а несколько течений и групп, и она — быть может, это главное — имела широкую гласность. Впервые заранее напечатанные и разосланные пригласительные билеты собирали на улице длинную очередь. За два часа картины посмотрели две тысячи человек. Их было бы гораздо больше, но подоспевшие работники горкома партии и органов госбезопасности ликвидировали просмотр. Директора клуба выгнали с работы. Газета «Московский художник» обозвала организаторов «идеологическими и политическими провокаторами». Тем не менее, через несколько месяцев Союз художников Грузии экспонировал мою коллекцию и даже напечатал каталог. Тбилисцы изумленно разводили руками: «Вот не думали, что в России такое возможно! Оказывается, у вас есть настоящая живопись!» А на пятый день, после грозного окрика Москвы, выставку закрыли. В 1969 году художники сделали еще одну попытку встретиться со зрителями, на сей раз в Институте мировой экономики и международных отношений. Через сорок пять минут секретарь местной парт-организации заявил, что зал необходим для проведения собрания. Появившееся тогда же специальное постановление московского горкома партии о том, что все демонстрации картин должны санкционироваться Союзом художников, отняло у нонконформистов последнюю возможность выставляться.

...Долгие годы почти все зарубежные журналисты называли неофициальных русских художников абстракционистами и путем аналогий с нынешним западным

авангардом и великим русским экспериментом 20-х годов старались уложить их творчество в рамки привычных понятий, доказать его вторичность и отсутствие в нем самобытности. Параллели и сравнения подобного рода неправомерны. В то время как западные живописцы, которым никто не мешал, занимались формотворчеством, их советские сверстники в условиях губительной несвободы перекидывали мостки к насильственно прерванным традициям 20-х годов, возрождали растоптанную культуру. Если на волнах надежд, которые, казалось, несла грозная революция, когорта русских мастеров совершила кардинальную реформу в искусстве, то на такую роль современные русские нонконформисты не претендуют и претендовать в условиях подавления личности и почти полного отсутствия информации о последних тенденциях в живописи не могут. Да у них и задачи другие: как сохранить лишь недавно воссозданное? Как устоять против новых и новых атак соцреализма? Как правильно выбрать позицию в борьбе Добра и Зла? Глубокой, напряженно-духовной жизнью, рожденной реальной российской ситуацией, живут нонконформисты. И лишь в какой-то степени осознав эту ситуацию, ее многостороннее влияние на их творчество, можно без предубеждения взглянуть в полотна, раскрывающие совершенно особое мироощущение, связанное с условиями работы и самого существования, с решением моральных и нравственных задач, которые на Западе не ставились вовсе.

Что касается термина «абстракционисты», то выставки последнего десятилетия в Европе и США в достаточной мере показали, насколько неприменим он к русским неофициальным художникам, насколько разнообразно их искусство (концепциональное, неофигуративное, поп-арт, сюрреализм, примитивизм, экспрессионизм...)

Безусловный лидер нонконформистов, единственный

человек, способный сплотить если не всех, то многих, независимо от возраста, меры таланта и его направленности, Оскар Рабин родился в Москве в 1928 году, рано осиротел, испытал в войну голод, лишения и одиночество. Первые серьезные уроки он получил от художника и поэта Е.Л.Кропивницкого, с которым познакомился в 1942 году. После трехлетней учебы у него Рабин поступает в Рижскую академию художеств, но, недовольный выхолащивающими жизнь академическими принципами, перейдя на четвертый курс, оставляет ее и возвращается к старому учителю. Вскоре, женившись на его дочери, тоже художнице, Валентине Кропивницкой, он поселяется в Лианозове, в длинном, мрачном многонаселенном бараке, и в течение восьми лет работает грузчиком на железной дороге (надо прокормить дочку и сына), используя каждую возможность для занятий живописью — пишет пейзажи, этюды на пленере. Несколько позже, под влиянием современной западной живописи (в отношении линий, ритма, цвета) и безотрадных стихотворений своего учителя, Рабин отходит от натуры, получая большее удовлетворение от создания свободных фигуративных композиций. В 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве его натюрморт отмечается Почетным дипломом. Это было первое и последнее официальное признание. Спустя всего лишь год, опубликовав фельетон «Помойка №8», газета «Московский комсомолец» обвиняет художника в искажении (какой привычный ярлык!) советской действительности, а после персональной выставки в Grosvenor gallery в 1965 году газета «Советская культура» посвящает ему целый подвал под названием «Цена чечевичной похлебки». Выставка объявляется провокационной, картины — спекулятивными, автор — продавшимся буржуазной пропаганде. Полотна Рабина, представленные в Grosvenor gallery, — это окружающая его действительность, спроеци-

рованная на холсты особым видением творца. Скособо-
боченные бараки, скрюченные, словно в судороге,
провода, кривые заборы, бредущие в никуда телегра-
фные столбы, горбатые крыши, на которых или высо-
комерно восседают или шныряют черными призра-
ками булгаковские коты. А на переднем плане, как
олицетворение быта, торжествующе заполняя собой
пространство, — бутылка водки, недоеденная селедка,
консервные банки с уродливыми кактусами.

Этот период творчества характеризуется остро
выраженной экспрессивностью линий и красок. Вся
экспрессия — на поверхности и сливается то с беспо-
щадной иронией, то с какой-то щемящей нежностью.
Поздний Рабин — строже и сдержаннее. Экспрессия
остается, но уходит вглубь, подчеркиваясь толстыми
черными контурами, которыми обводятся все пред-
меты. Тяжелеют краски. Яркие — голубые и красные
— вовсе исчезают с полотен.

Всю жизнь художник изображает только Россию,
и чем дальше, тем все с большей горечью, ибо его
судьба и судьба русской культуры, да и всей земли
русской, оставляют все меньше места для нежности и
все больше — для боли. Она — и в отраженной в
пруду церкви, которой нет в пейзаже (ибо, хотя храм
здесь и разрушен, но Бог — остался!), и в разорванной
багровой десятке с ликом советского «святого» —
Ленина на фоне словно придавленной, со стелющимися
дымами рабочей окраины, и в тревожных, будто про-
рочащих беду букетах цветов, и в скорбной скрипке,
за которой высятся молчащие обелиски.

Бытовая символика по-прежнему остается в арсе-
нале эмоционально-выразительных средств худож-
ника, но становится острее и колючей. В начале
70-х годов рождается цикл картин с газетами. Общи-
панная, тощая курица — на «Советской России», гру-
бые башмаки — на обрывке «Правды», «Натюрморт
с «Правдой», на которой валяются селедка, бутылоч-

ные осколки, одинокая рюмка и четко прочитываются стереотипные заголовки: «Чувство локтя», «Вперед к расцвету во имя блага людей!»

Один из французских искусствоведов несколько лет назад назвал Рабина «Солженицыным в живописи». Каждое сравнение хромает. Но, подобно великому русскому писателю, Оскар Рабин пишет и пишет Россию, пишет ее с любовью, ненавистью и надеждой.

На всех московских неофициальных выставках рядом с картинами Рабина всегда, словно они дополняют друг друга, экспонируются работы Владимира Немухина, мастера, виртуозно владеющего кистью, с необычайным чувством цвета и врожденным артистизмом. Он родился в 1925 году в Москве, вырос в отцовском доме в деревне Прилуки, что на Оке. Рисовать начал с детства, но сознательное отношение к творчеству выработал только в 1943 году после встречи с учеником Малевича П. Е. Соколовым, чья небольшая комната была завешана картинами, подобные которым уже давно нигде не выставлялись. Здесь Немухин прочел первые книги по искусству. Поразили его Сёра, Сезанн, кубисты, и он создает наивный цикл натюрмортов: нагромождение кубистических коробок, написанных в технике пуантилизма.

В годы войны живопись приходится сочетать с работой на заводе. Остро дефицитными становятся краски, холсты, кисти. Мольберт кажется легендой. Все же Немухин поступает на вечернее отделение художественной студии при ВЦСПС, где занимается в течение трех лет, постепенно теряя связи с первой любовью — кубизмом. Он начинает зарабатывать на жизнь как оформитель, малюя лозунги и транспаранты, понемногу продаются его весенне-осенние пейзажи, но творческое удовлетворение не приходит. Выход из тупика открыла выставка картин на Всемирном молодежном фестивале в 1957 году. В них он увидел собственные юношеские стремления — и один за

другим появляются наброски и рисунки конструктивистского и кубистического плана, в которых пейзажи и натюрморты приобретают форму фигуративных абстракций. В основе первой абстрактной картины — тоже пейзажное начало. Свет в пространстве. Свет как отражение, как контакт, как удар молота о наковальню и отдача. Свет на землю и — вспять к облакам через подобную зеркалу реку, преломляющуюся на пути этих двух световых течений.

Период с 1959 по 1962 гг. — торжество абстрактного экспрессионизма. Однако постепенно крепнет потребность вернуться к фигуративности, к предмету. Будет ли последний традиционным яблоком, комодом или пододеяльником — неважно. Однажды перед глазами внезапно (вспомнилась чья-то азартная игра в электричке) предстали игральные карты. Он отбросил видение, но в другой раз, летним днем, забытые кем-то на пляже, карты вновь подстерегли его. Взаимодействие розового песка, желтого солнца и пестрых прямоугольников родило новое представление о цвете и плоскости. А дома жена раскладывала пасьянс на столе карельской березы, и сочетание карт с фактурой и цветом дерева, и ритмика движений, — карты, аккуратно разложенные, организованные, и небрежно перемешанные, — все это укладывалось на холстах в геометрические формы, где каждая карта находила определенное место и создавала цельную группу.

Так Немухин окончательно обрел себя и свой П Р Е Д М Е Т. Для него карты — не только основа для решения чисто живописных задач, но и — динамика жизни, ибо, когда в них не играют, они мертвы. И еще карты — загадка. И — рок.

Владимиру Вейсбергу за пятьдесят. Он старше остальных. Изредка его полотна появляются на официальных выставках, выделяясь, как некие диковинные птицы. Первый период своего творчества, где ощущается прямое влияние Сезанна и Матисса, художник

называет «чувственно-эмоциональным». Но уже давным-давно он пришел к выводу, что цвет, как фактор психологического влияния на зрителя, исчерпал себя, что мастера прошлого извлекли из него все возможное. Будучи по натуре философом-исследователем, Вейсберг научно обосновывает свое воззрение и стремится добиться в картинах полного отсутствия цвета. Новый период, раскрывающийся в стиле «белое на белом», автор определяет словами «чувственно-рациональный». Эмоции обузданы разумом. В его натюрмортах не предметы, а лишь нюансы. Кубы, шары, рюмки, свечи как бы только угадываются. Парадоксально, что с помощью всей палитры он создает действительно стерильно-белые холсты. Ощущение такое, словно находишься в пустой больничной палате, где не то чтобы живого существа, но и грамма нестерилизованного воздуха нет. И в то же время эта чистота напоминает храм — нечто умиротворяющее и торжественное.

Вейсберг — одна из наиболее бесспорных величин среди нонконформистов. Если о достоинствах тех или иных спорят, то о нем двух мнений не существует. Олег Целков, мастер тоже крупный, давно сложившийся, но совершенно иной, прямо противоположный по отношению к форме и выбору объектов изображения, как-то сказал: — «Вейсберг выдерживает почти бесконечное вглядывание в него. И это удивительно, ибо встречается крайне редко».

В отличие от нежных построений Вейсберга, сам Целков ошеломляет режущими глаз красками. Он обычно использует всего лишь две-три, а часто его огромные композиции заполнены только одной — огнедышаще-красной.

В течение десяти лет (с 60-го по 70-й гг.) Целков во многих картинах практически пишет одну — социальную и одновременно философскую, потому и прибегая к элементарным лекальным линиям и мини-

мально-несложной цветовой гамме, чтобы мысль его достаточно легко воспринималась. На всех полотнах — люди с низкими лбами, тяжелыми подбородками, облысевшие, с перекошенными мордами фанатиков, которые, разевая пасти с остатками полусгнивших зубов, то ли восторженно кричат, то ли поют. В этих уродах — и мерзость, и неистребимая уверенность в собственном могуществе. Художник вроде бы и отвращается от них, и любит ими (силища-то какая!). В основе подобной двойственности — философия неприятия человека и человечества и в то же время факт признания неотвратимости его существования. Целков признается: «Я не испытываю к людям ни презрения, ни жалости, ни сострадания. Они для меня олицетворяют физическую жизнь, и я даже отношусь к ним со странным восторгом, как путник, который, глядя на кипящий вулкан, восклицает: «Ух ты!»

Несколько лет назад Целкову надоело разговаривать со своими персонажами — он поворачивает их лицом к стене, не желая глядеть в наглые, всезнающие глаза, вполне удовлетворяясь видом бритых, мощных самоуверенных затылков. Все-таки любовь-ненависть к человечеству заставляет его снова вернуться к уродливым лицам, делая их черты еще более расплывчатыми и неопределенными. Однако от этого ни философский, ни живописный мир не меняется. Целков остается самим собой.

«Любимцем московской интеллигенции» называют Дмитрия Краснопевцева, натюрморты которого отличаются сдержанным колоритом, строгостью линий и лаконизмом. Вся его квартира заполнена старинными книгами и кувшинами, высушенными морскими звездами, раковинами, причудливой формы камнями. Эти предметы, в зависимости от своего эмоционального состояния, он видит каждый раз по-иному и неустанно включает в композиции, поражающие редкой пластической завершенностью. Краснопевцев выбрал

камерный жанр натюрморта неслучайно: последний предоставляет наибольшую независимость от погоды ли, от настроения ли модели. И, конечно, аскетичные натюрморты — не ломящиеся под яствами столы, не символы быта, а нечто отрешенное, вечное, — это уход от лживо-оптимистических будней, жажда замкнуться в сфере излюбленных тем и незыблемых вещей. Если Олег Целков ведет непрерывный диалог с человечеством, то Дмитрий Краснопевцев предпочитает его не замечать.

Прекрасному русскому художнику Борису Свешникову поначалу не только выбирать, но и задуматься не дали, привлекательнее ли контакты с себе подобными или предпочтительней уход в себя. В 1946 году его, студента первого курса Московского института прикладного и декоративного искусства, обвиненного в антисоветской пропаганде, бросают в кафкианский мир сталинских лагерей. Но — вот она, диалектика жизни! — в то время как на воле художники захлебывались в омуте соцреализма, бесправный зэк Свешников, чудом уцелевший на общих работах, ставший ночным сторожем в деревообрабатывающем цехе и прилепившейся к нему небольшой художественной мастерской, оказывается творчески раскрепощенным. «Это было совершенно свободное искусство, — вспоминает он. — Я получал пайку хлеба и занимался живописью. Никто меня не направлял. Никто мною не интересовался». Писать приходилось по ночам, во время дежурства. Краску, бумагу, холсты сторож получал от трех подневольных художников, которые изо дня в день штамповали копии для продажи трудящимся: «Утро в сосновом лесу» Шишкина и Васнецовских «Трех богатырей» и «Аленушку». Свешникова тоже приспособляли к этому труду, но, не добившись толку, оставили в покое. И фантазмагорическая лагерная жизнь, смешавшись в подсознании с фантас-

магориями Гофмана и Босха, царила на картинах и бесчисленных рисунках.

Для него творить — всегда было переживать действительность, и потребовалось время, чтобы в нее, иную, вписаться, тем более, что холодное дыхание лагерей то и дело настигало его, и на холсты опять ложились зябкие бескрайные северные равнины и затерявшиеся в них человеческие фигурки. В нынешних картинах серые блеклые тона сменились голубовато-зеленоватыми, техника старых фламандцев — пуантилистической. Появилась символика сверхреальности, выражающая философию тщеты существования, неотвратимости конца, осознание непреложности одиночества каждого человека. Отсюда и сюжеты: «Люди с портфелями», неправдоподобно толстые или тощие, сгорбленные, бессмысленно бредущие с кладбища на кладбище; мрачная «Прогулка» — она с мертвым цветком, он — с вцепившейся в палец крысой, безумное «Утро», где крысы (свешниковский символ распада) копошатся рядом с улыбающейся женщиной, которая смотрится в зеркало-луну, не понимая, что в нем уже отражается череп мертвеца.

Возможно, более всего к Свешникову относится вопрос другого значительного современного московского живописца Лидии Мастерковой: «Нужно ли говорить о надрыве русского человека?» и ее слова о чувстве гибели планеты, постоянном ощущении рока, наполняющем сознание и становящемся неотъемлемой частью бытия.

Мастеркова в полной мере испытала влияние этих факторов. Обреченная обществом на изоляцию, она отворачивается от него, погружаясь в свой внутренний мир. Первый этап — абстрактный экспрессионизм. Тяга к открытым цветам и композициям. Большие полотна, на которых художник сладострастно орудует всей палитрой. Позже формальные задачи волнуют все меньше и меньше. Привлекает духовное начало.

Рождаются картины-коллажи со старинными богатыми тканями, кружевами и парчой из заброшенных храмов. Энергичные композиции одеваются в теплые тона с мягкими переходами золотого в коричневый и хрупкими плетениями серебряных нитей. Чудится, что все это проникнуто мистикой веков.

Осенью 1967 года период относительной душевной удовлетворенности обрывается как под влиянием личной жизненной ситуации, так и общественных катаклизмов. Холодные белые и черные цвета с модуляцией фиолетового и синего знаменуют время, когда Мастеркова целиком замыкается в себе. В последних ее работах чувствуется просветление. Стремительно пересекающиеся плоскости, коричневые, зеленые, белые, смутно напоминающие русские просторы, проносящиеся за вагонным окном, наталкиваются на устойчивые белые круги с цифрами — выстроенными в схему планетами. Величины или бесконечно малые или бесконечно великие. Средних нет. Темные формы воплощают чувственное восприятие, светлые — стремление к высшей духовности, к Богу.

Философские, исследующие человеческую анатомию чувств триптихи Владимира Янкилевского; марсианские пейзажи и видения Николая Вечтомова; пьяное, гомонящее, дерущееся Замоскворечье на примитивистских полотнах Вячеслава Калинина; тонкая вязь старославянского письма в религиозных композициях Дмитрия Плавинского; сказочный мир рисунков Валентины Кропивницкой, населенный созданными фантазией автора добрыми, наивными существами, беззащитные, словно дети, цветы Владимира Яковлева; сложные концепциональные построения Ильи Кабакова и Эдуарда Штейнберга; условно-фигуративные, с обобщенными образами, холсты Льва Кропивницкого... В журнальной статье нет возможности проанализировать творчество всех этих и многих других интересных русских неофициальных художников, чье искус-

ство, уже достаточно известное на Западе, до сих пор остается мало кому знакомым на Родине. Еще в конце 1969 года, когда со всей очевидностью определилось, что пути для выставок в клубах и научно-исследовательских институтах надолго, если не навсегда, закрыты, Оскар Рабин предложил организовать показ картин на открытом воздухе, например, где-нибудь на берегу Москва-реки. Однако в то время его идея отклика не нашла. Большинство художников устали от многолетнего неравного поединка с всесильным режимом, некоторые считали, что выход с картинами на улицу будет воспринят властями как вызов, чуть ли не объявление им войны.

Но через пять лет обстановка изменилась. Впервые, появилась группа молодых живописцев (Ю. Жарких, Э. Зеленин, Е. Рухин, В. Комар, А. Меламид, А. Рабин, Н. Эльская и др.), которые, не страшась последствий, мечтали выставиться в России. Вскоре, с февраля 1974 года органы госбезопасности и действующая по их указке милиция начали осуществлять самые разнообразные провокации против наиболее активных нонконформистов. Гебисты задерживают их на улицах, подвергают грубым шантажирующим допросам, бесчинствующие милиционеры врываются в квартиры и мастерские художников, туда же постоянно наведываются даже особенно не маскирующиеся стукачи.

Во всех акциях милиции и КГБ чувствовалось единственное желание — запугать непокорных, заставить их отказаться не только от попыток выставлаться, но и вообще от свободного творчества.

Откровенные угрозы неожиданно возымели обратное действие. Нонконформисты, давно испытывающие ностальгию по контакту с отечественными зрителями и возмущенные полицейским произволом, не только не отступили, но, решив, что терпеть дальше невыносимо — задушат, — отправили в начале

сентября прошлого года в Моссовет письмо, уведомляя городские власти о своем намерении показать 15-го сентября картины на одном из московских пустырей, под открытым небом, как делают это традиционно в Париже или Лондоне. Правда, там хоть на центральных улицах становись и демонстрируй. У нас же наученное поэтами (чтение стихов возле памятника Маяковскому) и диссидентами (выступления в защиту Конституции на Пушкинской площади) начальство нашло спасительную форму для закрытия улиц от нежелательных элементов: нарушение общественного порядка. Потому пустырь и был выбран, что люди там не гуляют, машины не бегают — не придерешься. Закона, карающего за придуманное нонконформистами действие, нет, подходящей инструкции — тоже. И хоть непривычно быстро заработала бюрократическая машина, ничего оригинального придумать не смогла. Ни разрешения, ни запрета не последовало. Зато в другой организации, в Московском городском комитете партии, командующий столичной культурой Ягодкин, не мудрствуя лукаво, приказал (по официальной версии, пущенной впоследствии для западных корреспондентов, якобы самочинно) «ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ».

На голом и мокром суглинистом поле (шел дождь), близ скрещения улиц Профсоюзной и Островитянова, художников встретили самосвалы, бульдозеры, поливальные машины и переодетые в штатское милиционеры, изображающие разгневанных трудящихся. По боище под красным транспарантом: «Все на субботник!» (было воскресенье) продолжалось около сорока минут. Две картины были раздавлены бульдозером, три — сожжены на костре, остальные покалечены. Пятерых художников арестовали. Зрителей разогнали струями ледяной воды и зуботычинами.

Однако учиненный погром оказался чересчур сильно действующим средством. Его вдохновители недо-

оценили ни резонанса, который случившееся вызовет во всем мире, ни мужества художников, объявивших на следующий же день в ультимативном обращении к правительству, что через две недели они вновь выйдут с картинами на крамольное место. Тогда-то пустырь-свидетель срочно засадили тощими деревьями, а Управление культуры Моссовета вступило с бунтовщиками в переговоры.

На протяжении десяти напряженных дней барственные чиновники, излагая издевательским тоном заранее неприемлемые предложения, старались толкнуть членов инициативной группы, представлявшей художников, на отчаянные шаги и свалить на последних вину за невозможность добиться конструктивного решения. Когда провокации не удались, то всего лишь за сутки до истечения ультиматума нонконформистов выставку наконец высочайше дозволили. А что прикажете делать? Не давить же их снова самосвалами!

Семьдесят художников принесли свои картины 29-го сентября в Измайловский парк, и мало кто знает, что участников было бы гораздо больше, если бы за кулисами не развернулась кампания «выкручивания рук». Членам Союза угрожали исключением, потерей заработка, лишением мастерских. Увещевали, предупреждали: «Это антисоветская затея!» Особенно травили совсем юных, посылая их перепуганным родителям грозные письма: «Кого воспитали? — С работы выгоним!»

Четыре часа свободы в Измайлове показали всю бесплодность упорного преследования противников соцреализма, которое не только не превратило их в угрюмых отшельников, как однажды высказался в печати партийный критик, а даже наоборот, привело на выбранную ими двадцать лет назад тернистую дорогу Истины. Да и пятнадцать тысяч зрителей, пришедших, как на праздник, на выставку, свидетельствовали (и это после недавнего разгрома Самиздата

и расправы с инакомыслящими писателями!) от том, что не выкорчевано до конца общественное мнение в России, что есть еще у многострадальной советской интеллигенции силы для хотя бы молчаливого протеста и открытого выражения признательности и симпатии к бунтарям.

Теперь начальству уже нельзя было делать вид, что неофициального искусства не существует. Бульдозеры, брошенные 15-го сентября, оказались бомбой, на которой подорвались те, кто планировал операцию. Художники почувствовали в себе уверенность. И в Москве, и в Ленинграде они потребовали предоставления им залы для проведения в декабре выставок в помещении. В Ленинграде экспозиция состоялась. Люди часами простаивали в очередях на морозе, чтобы увидеть работы пятидесяти (и откуда их столько!) никому доселе не известных мастеров. В Москве нонконформисты, уже получив разрешение на выставку, от нее отказались в связи с травлей участников и организаторов Измайловской — троих из них загнали в сумасшедшие дома, двоих сослали на Алтай в армию, пятерых — милиция принуждала устраиваться на службу, грозя высылкой из Москвы, нескольких избili дружинники, недвусмысленно дав понять, за что.

Вслед же за выставкой в Питере ленинградцы и москвичи вознамерились провести совместную в столице, а ленинградские поэты вздумали добиваться права (а чем мы хуже художников?!) на бесцензурное чтение стихов. Круги ширились, вступал в действие закон цепной реакции. Звонили художники из Эстонии, приходили письма из Грузии (нельзя ли с вами?). Тогда, замыслив расколоть непокорных, хитроумные чиновники предложили в срочном порядке организовать выставку только с участием москвичей. Она открылась 18-го февраля, но еще за четыре дня до того девяносто девять художников из Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Владимира и Пскова отправили министру

культуры СССР Демичеву письмо с требованием устроить общую выставку, независимо от места прописки ее участников, без какого бы то ни было жюри, со свободным доступом для желающих ее посмотреть. Операция «раскол» не удалась. Однако и потворствовать смутьянам никто не собирался. Министр на письмо не отвечал, то ли размышляя, как выйти из положения, то ли придумывая для антисоцреалистов кару посуровее. Газета же «Вечерняя Москва» 10-го марта напечатала статью главного редактора журнала «Творчество» Ю. Нехорошева «Авангард мещанства», которая язвительно высмеивала модернистов и щедро наклеивала на них уничижительные ярлыки. И все-таки в этой угрюмой, недоброй статье проглядывал луч света, было нечто новое. Автор писал, что, хоть и не часто, но подобные полотна стоит показывать широкой публике, чтобы она воочию убедилась в бездарности авангардистов. Неожиданная и прекрасная мысль! Ведь больше ничего художники и не хотят. Это то, чего они в течение двух десятилетий добивались. Критикуйте, браните, только дайте возможность общаться со зрителем! Да неужто Ю. Нехорошев сам осмелился свое мнение высказать, а газета тем паче его опубликовать? Не может быть! Кое-кто из оптимистов даже уверовал, что «нехорошевская идея», безусловно, одобрена лично товарищем Демичевым, подготовлена, так сказать, почва для положительного решения вопроса о желанной выставке.

Когда же выяснилось, что «Вечерняя Москва» просто-напросто поиграла демагогической фразой, что министр культуры не собирался ничего разрешать и никакого ответа от него вообще не будет, художники нескольких городов в знак протеста организовали в конце марта экспозиции на семи московских квартирах, еще через месяц вновь повторили этот эксперимент, а на 25-е мая наметили провести очередной показ картин на открытом воздухе, теперь уже в Ленингра-

де. Но если на «квартирные выставки» власти сочли нужным смотреть сквозь пальцы, то развернутую публичную демонстрацию нескольких сот модернистских холстов они допустить никак не могли. За неделю до предполагаемого показа орган столичного горкома партии газета «Московская правда» поместила статью искусствоведа И. Горина под грозным заголовком: «Третьего пути нет». Здесь уже авангардисты называются «шарлатанами от искусства» и прямо обвиняются в откровенной проповеди враждебной буржуазной идеологии. Отсюда и вывод: выставки их картин абсолютно неуместны, ибо вредны для советского общества и особенно — молодежи. А чтобы выступление И. Горина не выглядело пустопорожней болтовней, оно подкрепляется конкретными действиями. Оскара Рабина срочно исключают из Объединенного комитета художников-графиков Москвы, и он, в соответствии с законом, автоматически превращается в тунеядца, которого в случае необходимости можно заставить насильственно трудоустроиться. Его сын Александр получает анонимное письмо с предупреждением: «Повезешь картины на выставку — убьем!» В Ленинграде гебисты приглашают в местный филиал Лубянки членов инициативной группы Ю. Жарких, А. Леонова и Е. Рухина и предупреждают, что в случае показа картин на открытом воздухе всех художников будут судить по статье 190-й (§ 3) Уголовного кодекса: «Проведение массовых мероприятий без ведома властей». Обещали каждому — по три года лагерей. Тем не менее 25-го мая несколько смельчаков, презрев угрозы, решили осуществить задуманное. Оперативники не выпустили их из квартир. Одного, чересчур настойчивого, на сутки арестовали.

Казалось бы, органы подавления и принуждения одержали победу полную и окончательную, как вдруг через неделю сверху объявили, что выставка состоится, но не сейчас, а осенью, и откроется 15-го сентября.

Поворот событий поистине удивительный. Зачем было устраивать шум, а потом идти на попятный? Для чего понадобилось выбирать столь символическую дату, как 15-е сентября? Не из давней ли страсти к юбилеям надумали отмечать годовщину «бульдозерного побоища»? Ответить на эти вопросы трудно, ибо логику в поведении советских властей имущих часто отыскать невозможно. Но уместно предположить, что за несколько месяцев (май - сентябрь) они намеревались кого-то обласкать, кому-то повыламывать руки. И в результате мало кто отважился принять участие даже в разрешенной выставке. Во всяком случае, когда Эдуард Зеленин в августе стал упорно напоминать Министерству культуры СССР, что 15-е сентября не за горами, то вскоре без объяснения причин его арестовали.

Да и состоится ли, и в каком составе, сентябрьская экспозиция — принципиального значения не имеет. Ведь какие бы либеральные тактические ходы не замыслили руководители советской культуры для обмана общественности (конечно, западной — на свою наплевать!), их стратегический курс на казенный соцреализм остается прежним. Живопись для них, как и тридцать, как и десять лет назад, — идеологическое оружие. И его надо защищать от всего враждебного, т. е. живого, истинного, искреннего, талантливого.

ГЛЕЗЕР Александр Давыдович — родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил Московский нефтяной институт. Автор книги стихов «Добрые снега» (Москва, 1966). Собирателем русской современной живописи, устроителем и организатором целого ряда выставок художников-нонконформистов. В феврале 1975 года выехал из СССР. Будучи за рубежом, организовал выставки русской современной живописи в Вене, Брауншвейге и Фрейбурге (ФРГ).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Ввиду увеличения объема журнала и
связанные с этим расходами,
стоимость одного номера «Континента»
повышается на две марки.

Новая цена — 12 нем. марок.
Стоимость годовой подписки остается
прежней.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА

Что греха таить, эта премия присуждалась в последние годы за весьма сомнительные достижения в деле смягчения международной напряженности. Все эти годы вино, как говорится, лилось рекой, произносились высокопарные речи о сосуществовании и добрососедстве, взаимные визиты следовали один за другим, но у Берлинской стены, тем временем, продолжали убивать бегущих из ГДР немцев, красный тоталитаризм продолжал заливать кровью мирные города и села Юго-Восточной Азии, а Япония так и не стала более защищенной от атомной угрозы.

Горькие слова Александра Солженицына, сказанные им в его речи в Вашингтоне по поводу «трагической и иронической» премии, увенчавшей позорную вьетнамскую сделку, еще раз напомнили миру о катастрофичности создавшегося на земле положения.

Под сомнением вдруг оказалась сама идея такой премии, которая, по мысли ее учредителя, должна была отмечать жертвенное и бескорыстное служение человечеству. Бессмертные имена доктора Швейцера и Мартина Лютера Кинга, ко всеобщему недоумению, сменились скороспелыми именами апологетов односторонней капитуляции перед тоталитаризмом.

Поэтому вдвойне отрадно решение Нобелевского комитета Норвежского стортинга присудить Премию мира за 1975 год беззаветному борцу за права и достоинства человека в раздираемом насилием современном мире, академику Андрею Дмитриевичу Сахарову. Этим решением Нобелевский комитет не только вновь восстановил свои, утраченные было, действительно гуманистические традиции, но и (если

смотреть беспощадной правде в глаза) совершил акт высочайшего гражданского и человеческого мужества, ибо устоял перед тотальным прессом скрытого и явного давления, как внутри страны, так и за ее соседними пределами.

После Карла Осецкого, узника гитлеровских конц-лагерей, Андрей Сахаров является пока единственным лауреатом, ведущим свою борьбу в условиях действительно смертельной опасности не только для себя, но и для своих близких.

Думается, последний бой против мирового тоталитаризма только начинается и явление новых героев во всеобщей борьбе за идеалы свободы и демократии не заставит себя ждать.

Критика и библиография

ЛЕТОПИСЬ СТРАХА

Работа М. Я. Геллера* — удачное историческое исследование взаимосвязи советского концентрационного мира и советской литературы. Книга написана в тоне спокойном и уравновешенном, что и подчеркивает неутомимость исторической истины. Самый стиль М. Я. Геллера отличается тем, что дает возможность, лаконично излагая факт, последовательно ответить на связанные с этим фактом вопросы, и при этом не удаляться от темы, вдаваясь в длинные спорные рассуждения. На первых страницах своего труда автор, анализируя сущность родившегося в революцию нового государства, как бы не пишет, а вырубает слова: «Свобода — есть несвобода, а несвобода — есть свобода».

И далее: «Начинается семантическая игра, превращающая мир в комплекс неопределенных элементов, меняющих по желанию — свой

смысл, свое значение, свое место». Несвобода стала свободой и — наоборот. Так, гениальное художественное исследование Орвелла («1984 год») с вытекающей из него политико-социологической сущностью тоталитарного этатизма нашло подтверждение своей истинности в груди М. Я. Геллера.

На протяжении всей своей работы автор не использует, а подтверждает (скрытую или искаленную властью) историческую последовательность советской истории цитатами, произведениями самих вождей революции, а затем государства: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина, Сталина и других. Геллер приводит не слова, вырванные из контекста, а ключевые мысли, отражающие сущность их власти.

«С первых же дней советской власти, — пишет автор, — появляется необходимость в принуждении, не в принуждении вообще, не в принуж-

* Михаил Геллер. Концентрационный мир и советская литература. Overseas Publications Interchange. Ltd, London, 1974.

дении по отношению к враждебным классам — это неизбежно при каждой революции, но в принуждении по отношению к трудящимся — и к крестьянам, и к рабочим».

Трудовая повинность становится, согласно Ленину, экономически прогрессивна. И важно то, что если для «богатых» эта повинность — наказание, то для рабочих и крестьян она — долг. Появляется тезис, согласно которому для того, чтобы власть была у пролетариата, — необходимо уничтожить свободу труда пролетария.

С беспристрастной яркостью показан М. Я. Геллером процесс формирования концентрационного мира, базирующегося на декрете Совнаркома, возглавляемого Лениным, дающего ВЧК право на внесудебную расправу. Иначе говоря, рождению концентрационного мира послужила гибель правосознания. При этом концлагерь стал называться (по-орвелловски) школой труда. Он ею остался и по сегодня.

Первый период борьбы советского государства с российским народом проходит под символом необходимости. Самое истину поставили вниз головой во имя необходимости, и зло стало

добром. Эта «истина», быть может, на первых послереволюционных порах несколько болезненно входит в советскую литературу, ставшую фрагментом партии, деталью ее. В этой литературе зло превращается в добро, и впервые в истории жертвой становится палач (чекист), палачом — жертва (заклоченный). Во имя необходимости разрушения для создания, во имя рабочих и крестьян жертва-чекист до изнеможения убивает, допрашивает, сажает в лагерь (не только буржуазию, которую необходимо уничтожить как класс) десятки, сотни тысяч, а затем миллионы палачей-рабочих и палачей-крестьян.

Времена нэпа уходят в прошлое, так что люди не знают: был или не был этот сладкий сон. ВЧК стала ОГПУ. Концентрационный мир разрастается. Рождается новая цивилизация. Геллер пишет: «Как и земля, «тюремная цивилизация» стоит на трех китах. Эти «киты» — лагерь, страх и ложь». Наступает сталинская эпоха. В это же время крепнущая соцлитература во главе с Горьким, официальным родоначальником соцреализма, доходит до своего апогея — выпуска коллективной книги

«Беломорканал», вероятно, впервые в истории человечества прославляющей рабский труд.

М. Я. Геллер неразрывно связывает художественный анализ множества произведений советской литературы с анализом политическим и социологическим тех или иных лет. Огромный, часто жутковатый образ Горького переплетается с политическими действиями Ленина и Сталина, образы которых, в свою очередь, переплетаются между собой. Под прессом неограниченной власти, казалось, существует только партийная литература, остальная растоптана, сгноена, убита.

Смерть Сталина, появление коллективного руководства в партии, желание этого руководства осудить (чтобы не повторился) «культ личности» не только открыли новую эпоху, историческую и литературную, эти события и процессы показали, что, несмотря ни на что, партийной, государственной литературе не удалось убить литературу русскую. Геллер напоминает, что во времена «ежовщины» Булгаков написал «Мастера и Маргариту», что был А. Платонов, Б. Пастернак и многие другие. В книге Геллера — разбор и

анализ множества произведений, от Горького до Солженицына. Однако, как мне кажется, наилучшие страницы, посвященные художественному анализу, М. Я. Геллер отводит Варламу Шаламову, человеку и художнику, достигшему «дна ада» и сумевшему его описать.

Послесталинское время пробуждает литературу. Люди обрушивают на самих себя вопрос: кто виноват? В первое послесталинское время ответ прост: СТАЛИН. М. Я. Геллер, соглашаясь с мыслью Бухарина, пишет о том, что автор философии «культ личности» — Ленин (доказательств тому в книге множество).

В поисках ответа писатели идут по всем направлениям. Геллер, описывая «Семь дней творения» Владимира Максимова, определяет: «Вместе со своими героями писатель находит спасение в вере в Бога», то есть в духовном возрождении. О Синявском Геллер пишет: «Едкость иронии, безжалостность сатиры Терца-Синявского не должны обманывать. С болью в сердце, по живому мясу отрезает он себя от переродившейся революции, по каплям, по вырванию Чехова, выдавливая он из себя раба, но это

— капли крови».

Заканчивая главу о творчестве Солженицына, Геллер говорит: «Архипелаг ГУЛаг» — правда о лагерях, о стране, носившей и несущей их в себе. Это — одновременно размышление о человеке и истории, об истории и месте России в мире, о пути человека к свободе духа, о духе и вере».

Читая произведение М. Я. Геллера, углубляясь в страницы, посвященные тридцатым, сороковым, пятидесятым и шестидесятым годам, невольно приходишь к убеждению, — чтобы понять смысл происходящего, нужно вернуться к революции, к Ленину.

Официальная послесталинская социальная литература осталась на службе тоталитарного этатизма, отказавшегося от кровавого террора и от культуры личности. Литература последнего времени, особенно военная, мемуарная, сделав козлом отпущения Сталина и только Сталина, вновь успокоилась и поползла по пути, по которому ползла литература сталинской эпохи. Орвеллизм остался в силе. Истина не поставлена на ноги. Геллер определяет: «Как консилиум врачей, вызванных к смертельно больному пациенту, не может

решиться произнести страшный диагноз, так советские писатели, приступившие в 1953 году к торопливому осмотру ран на теле общества, не решаются назвать подлинной болезни. Лишь самые мужественные осмеливаются говорить о болезни. Остальные утверждают, что имеются лишь поверхностные царапины, которые достаточно смазать йодом».

Мужественные пишут в подполье, высылаются, арестовываются, идут, как в недавнем прошлом, в лагерь. М. Я. Геллер сам ищет ответа на вопрос: кто виноват? И, вероятно, находит его в глубоком выводе, сделанном Гроссманом: «Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина потому, что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина. Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся и Ленин казнил. Сталин боролся с Лениным за настоящего Ленина. Государство без свободы... заложил Ленин. Его построил Сталин».

Виноваты Ленин, Сталин, революция, система. Виноваты они — вчерашние и сегодняшние. Геллер добавляет опять же словами Гроссмана: «Ленинский синтез не-

свободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии».

Свой глубокий труд М. Я. Геллер заканчивает с оптимизмом историка, уверенного, что, если русская культура и литература смогли выжить и развиваться во времени «тюремной цивилизации»,

самого страшного террора, который когда-либо знала история, — они смогут, борясь, дожидаться свободы. Геллер разделяет уверенность А. И. Солженицына: «А едва будет развеяна ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхло падет».

В. Рыбаков

ПАРАДОКСЫ ОДНОГО ПРИЗРАКА

«Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы».

А. Герцен. «Письма к старому другу»

Русский революционер конца прошлого века Михаил Бакунин гораздо большей популярностью пользуется не у себя на родине, а за ее пределами. За последние несколько лет многочисленные переводы его статей вышли во Франции. Появились книги о жизни и деятельности М. Бакунина, написанные историками, философами, политическими деятелями самых разнообразных направлений и тенденций. Наибольшей популярностью во Франции Бакунин пользуется среди молодежи левацкого толка: троцкистов, анархистов, маоистов... Именно по их инициативе в Париже был опубликован перевод с немецкого книги швейцарского социалиста Фрица Брукбахера, автора исследования «Маркс и Бакунин», за которое он в 1913 году был исключен из швейцарской социалистической партии. Статьи Брукбахера о Бакуине вышли во Франции под общим названием «Бакунин или мятежный демон». Эпиграфом к книге взяты следующие слова Брукбахера: «Бакунин вновь будет актуальным в тот день, когда людям станут невыносимы и буржуазный деспотизм и деспотизм пролетарский». Предсказание Брукбахера в

какой-то мере оправдалось и нельзя недооценивать влияния идей русского революционера и бунтовщика на левые круги западной студенческой молодежи. Во Франции идеи Бакунина получили распространение среди тех молодых бунтарей, которые пытаются бороться с существующим демократическим строем путем экстремистских радикальных действий. Эта молодежь глубоко презирает официальную французскую компартию за ее оппортунизм, беспринципность, за компромиссы и рабскую зависимость от КПСС, за ее реакционность. Но... одним презрением компартию не победишь. Маоистам и троцкистам нужно было найти идеологов, которых они могли бы противопоставить официальным коммунистическим идеологам. Из справедливости следует отметить, что с этой задачей они справляются неплохо. Так, например, деспотичному Фиделю Кастро они противопоставили идеализированного ими Че Гевару, Сталину и Ленину — Троцкого, нынешним советским партийным руководителям — руководство КНР. И только Марксу некого было противопоставить до тех пор, пока из пыльных архивов истории не вытащили на свет Михаила Бакунина, друга, а затем идейного противника Маркса. Разумеется, все это доставляет немало забот французской коммунистической партии. Беспокойство ФКП не случайно. Ведь крайне левые идеи, увлекая молодых студентов и рабочих, способствуют уменьшению актива ФКП, противостоят коммунистической пропаганде. То есть главным конкурентом французской компартии среди оппозиционно настроенной молодежи являются именно левые группировки, а не какие-либо другие. А поскольку компартия, слава Богу, еще не получила во Франции возможность начать репрессивную борьбу с идеологическими противниками, то борьба ведется не свинцом, а пером. И чтобы борьба с распространением враждебных ФКП левых политических тенденций была наиболее эффективна, к кампании развенчания этих тенденций подключаются самые авторитетные французские коммунисты.

Не так давно в Париже в издательстве «Плон» была опубликована и широко разрекламирована книга ныне покойного члена Политбюро ЦК ФКП Жака Дюкло. Свою обширную — в 450 страниц — монографию автор назвал «Бакунин и Маркс, тень и свет». Уже само название книги показывает, что французская компартия не намерена отказываться от

своих методов разделения мира на белое и черное. Автору этого опуса, бывшему штатному теоретику ФКП, преданному партийным методам ведения дискуссий, Жаку Дюкло, чужды нюансы. Однако русский читатель вправе задать вопрос: а из-за чего, собственно, весь этот сыр-бор загорелся? Почему западноевропейские компартии столь опасаются влияния покойного, полузабытого у себя на родине русского революционера, что посвящают ему дорогостоящие разоблачительные книги? Почему одно имя Михаила Бакунина приводит французских коммунистов в такую ярость, что они, как Жак Дюкло, забывая на время о директивах быть улыбочивыми, чтобы не пугать избирателей, из-за Бакунина пускают в ход такие устарелые, стандартные партийные обвинения, как ренегат, предатель, клятвопреступник, лжец, карьерист?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует вспомнить, кто же такой Бакунин. Русский революционер Михаил Александрович Бакунин родился в 1814 году и умер в 1876. Всю свою жизнь Бакунин посвятил революционной деятельности. Рано увлекшись немецкой философией, он в 1840 году выехал за границу для продолжения философского образования. Жил в Германии, Франции, Швейцарии. В 1847 году был выслан из Франции. В 1848 — участвовал в пражском восстании. В следующем 1849 году стал одним из руководителей дрезденского восстания. Был за это приговорен к смертной казни, выдан России и посажен в Петропавловскую, а затем в Шлиссельбургскую крепость. В 1857 году Бакунин был сослан в Сибирь, откуда через четыре года ему удалось бежать за границу. В Лондоне он был тепло встречен своими старыми друзьями по России — Герценом и Огаревым. А еще через несколько лет познакомился и подружился с Карлом Марксом и был принят в Первый Интернационал. Именно в этот период Михаил Бакунин начал активную *теоретическую* деятельность. В 1868 году он основал женеvскую секцию Интернационала — Международный альянс социалистической демократии. В 1872 году по требованию Маркса Бакунин был исключен из Интернационала по обвинению в дезорганизаторской деятельности. Умер Бакунин в Швейцарии. Эти сухие биографические данные со всей очевидностью показывают, как предан был Бакунин избранному им делу, делу революции. Но чтобы лучше понять, за что он в такой

немилости у нынешних коммунистических чиновников и почему он пользуется такой популярностью у молодых западных бунтарей, необходимо вспомнить о главной причине ссоры Маркса с Бакуниным. Ссора эта произошла из-за расхождений во взглядах на диктатуру пролетариата. Михаил Бакунин одним из первых марксистов во всеуслышание заявил об опасности насаждаемых Марксом идей и поплатился за это исключением из Интернационала. «Мнимое «народное государство», — писал Бакунин по поводу диктатуры пролетариата, — будет не что иное как деспотическое управление народных масс новой и немногочисленной аристократией ... опекунов и учителей, начальников коммунистической партии... Они сосредоточат бразды правления в сильной руке...». Как писал Бакунин уже в прошлом веке, руководство этого «мнимого народного государства» будет состоять «из бывших работников, которые... будут представлять уже не народ, а свои притязания на управление народом». До знакомства с Марксом Бакунин был своего рода экзальтированным идеалистом. Об этом идеализме особенно ярко свидетельствует составленное им в 1848 году пражское воззвание к славянам. Тогда Бакунин еще глубоко верил в то, что, как было сказано в воззвании «...из моря огня и крови поднимется в Москве высоко и чудесно звезда революции и станет путеводной звездой к счастью всего человечества». Мало что осталось у него от этого идеализма после того, как он сблизился с Марксом и познакомился с марксистской теорией диктатуры пролетариата, которую Бакунин, как и любую другую диктатуру, считал оскорбительной, жестокой и унижающей достоинство человека. И так и не удалось марксистам убедить Бакунина в том, что, мол, диктатура эта будет временной и очень краткосрочной. Упрямый Бакунин отвечал на эти заверения: «Никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и она способна породить в народе, сносящем ее, только рабство: свобода может быть создана только свободой...». Но марксисты нетерпимо относились к критике уже тогда, в прошлом веке. Поэтому разногласия между Бакуниным и Марксом, само собой разумеется, закончились исключением Бакунина из Интернационала, находившегося под контролем марксистов. Бакунин пришел к горькому выводу, что «...революция перестает быть революцией, когда она действует деспотически, и когда

вместо того, чтобы вызвать в массах свободу, вызывает реакцию...». Пожалуй, именно своим идеализмом, искренностью, душевной щедростью привлекает Бакунин нынешних молодых западноевропейских «леваков», ненавидящих бесчеловечный, жестокий аппарат официальных коммунистических партий.

Разногласия, которые в прошлом веке существовали между Бакуниным и Марксом, в несколько измененной форме проявляются и по сей день. Об этом свидетельствует и книга, о которой мы уже упомянули, написанная Жаком Дюкло — «Бакунин и Маркс, тень и свет». Главная цель этой антибакунинской идеологической диверсии совершенно очевидна — вырвать молодежь из-под влияния Бакунина и его анархических антимарксистских идей и подключить ее к кропотливой, централизованной, оппортунистической, пронизанной цинизмом деятельности французской компартии. А для этого, как всегда, хороши любые средства. Поэтому Жак Дюкло, не гнушаясь передергиванием всем известных исторических фактов, произвольной интерпретацией истории, старался в своей книге исподволь внушить читателям, что Бакунин был чуть ли не агентом царской охраны. Жак Дюкло высказал твердое убеждение в том, что Бакунин был ренегатом и клятвопреступником. Убеждение это основано на том факте, что, находясь в заключении в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, Бакунин согласился принять предложение Николая I и написал исповедь, благодаря которой тюремное заключение было заменено ему высылкой в Сибирь, откуда он бежал через Японию и Америку в Лондон. Бежал, как спешит указать Дюкло, «при очень странных обстоятельствах».

К этой исповеди Жак Дюкло гораздо более суров, чем были соратники Бакунина по рабочему движению, чем коммунисты — современники Ленина. И те и другие видели в ней военную хитрость, на которую Бакунин пошел только для того, чтобы избежать тюрьмы, вырваться на волю и вновь принять активное участие в революционной деятельности. Ну, а французская компартия в лице покойного Дюкло поставила Бакунину в вину даже то, что после его побега за границу царская охранка не распространяла о нем слухов, что он ее агент. По мнению Жака Дюкло, это свидетельствует либо о том, что он, действительно, был агентом

охранки, либо о том, что его деятельность в глазах охраны представляла собой серьезную угрозу мировому рабочему движению, и поэтому, мол, охранка не хотела чинить препятствий его деятельности. Нет даже необходимости опровергать эти небылицы, настолько обвинения Жака Дюкло смехотворны, шиты белыми нитками. Эти нелепые обвинения лишний раз доказывают, что французская компартия глубоко обеспокоена популярностью Бакунина среди молодежи. И чтобы посеять у этой молодежи сомнения в нравственной и политической порядочности Бакунина, компартия не гнушается ни произвольным выбором и столь же произвольным толкованием первоисточников, ни подменой исторической правды — мнимым правдоподобием.

Книга Жака Дюкло «Бакунин и Маркс, тень и свет» наглядно свидетельствует также о том, что, как и в момент образования рабочих и коммунистических партий, лидеры этих партий гораздо больше, чем многих политических идеологов антикоммунизма, опасаются идеалистов, правдоискателей, искренне стремящихся добиться всеобщего блага для человечества и не желающих идти на компромиссы с теми, кто попирает элементарные законы гуманности. Да и как коммунистам не бояться этих «леваков»? Ведь «леваки» эти суетятся, горячатся и бьются за лозунги, которые коммунистическим лидерам давно уже служат лишь завесой, прикрывающей их необузданное стремление к ничем и никем не ограниченной тоталитарной власти, к диктатуре. И чем больше суетятся «леваки», тем рельефнее проступает на фоне их суеты лицемерие коммунистической партии. В глазах официальных, централизованных компартий опасность левых бунтарей заключается в том, что они хоть и свои, но инакомыслящие, хоть и свои, но еще в какой-то мере верящие в справедливость и в правду, хоть и свои, но еще не взятые в жесткие тиски партийной дисциплины. Поэтому французская компартия не жалеет средств на лихорадочные теоретические изыскания, цель которых — дискредитация неугодных компартии идеологических вождей левой западной молодежи.

Ф. С а л к а з а н о в а

ЧЕРНЫЙ ЛИК ГОГОЛЯ

Никто в России не выносит своего величия.

А. В. Никитенко. Дневники

Что-то непоправимо изменилось в положении современного писателя, особенно русского. Русское искусство никогда не отпадало целиком от общественной, политической и религиозной жизни, но нынче все повернулось так, что само понятие «писатель» становится чуть ли не синонимом общественного деятеля. С именем каждого талантливого русского писателя сейчас связана какая-то надежда на противоборство тяжелой, мертвенно-сковывающей идеологии советского режима. Может быть, для сознания наших современников Солженицын, Максимов, Синявский, Войнович, Корнилов — прежде всего — общественные деятели, а лишь потом — художники?

Но общественный деятель — не проповедник и не «все-ленский учитель» (Гоголь пишет в январе 1848 года о. Матвею: «Я показал своей книгой какие-то замыслы на что-то вроде вселенского учительства», как бы предчувствуя, что многие русские писатели, от Чернышевского до Толстого, будут облекаться в это учительство.) Еще менее им является художник, мистический опыт которого будет всегда подлинным лишь для нахождения ритма, строительных начал внутри самой культуры. Преображенный мир художат, а тревожные, иногда глубоко несправедливые и «неправильные» — это опыт, а не программа. А нашу культуру часто лихорадило от тех художников, которые либо свою общественную деятельность, либо «профетическую» возводили в «идеологическое кредо», как Гоголь или Толстой, Мережковский или Вяч. Иванов. Как часто поиски истины приводили к «лицемерию лжесловесников», «сожженных в совести своей» (К Тимофею, 4) и отвращало от писателя его читателей и друзей это насильственное обладание истиной!

Это «обладание» истиной особенно трагично, когда прежде всего писатель ощущает не самую Истину, а свою принадлежность к ней.

Абрам Терц. В тени Гоголя. Overseas Publications interchange in association with Collins. London 1975.

Почему прошли, оставив болезненные следы в истории русской культуры, и толстовство, и повальное увлечение Мережковским, и ныне как будто больше никого не тревожащие слова Розанова и восхищают, и помогают нам? Розанов ведь никогда не объявлял себя духовным вождем или вселенским учителем. Он был пронизан до сердцевины своим искусством и в нем воплощал свои духовные прозрения. А Мережковскому, уже не искавшему, а просто «домогавшемуся» истины, нам сейчас как-то не верится...

В книге Абрама Терца «В тени Гоголя» нигде с отчетливостью не ставится вопрос о «праве» художника на «вселенское учительство». Но вся книга, все анализы гоголевских текстов, все авторское «познание» Гоголя предлагает — ненавязчиво, но твердо — этот вопрос.

Прежде всего — утверждаю со всей настойчивостью — подобных книг в русской литературе не бывало. Ее резкое своеобразие, иногда ошеломляющее и оглушающее, на мой взгляд, в том, что она, по сути дела — р о м а н, в котором главные действующие лица, герои — и д е и. «В тени Гоголя» — совсем не литературоведческое и уж менее всего идеологическое исследование. Это — опыт художника, упорного и иногда сопротивляющегося магии слов, развивающего прихотливый бег своей мысли, сталкивающего своих действующих лиц — идей в сложном сюжетном лабиринте. Чтение этого романа напомнило мне вторую часть «Фауста», когда в ознаменование праздника Фауст, с помощью мефистофельского ключа вызывает и воплощает тени Елены и Париса из Царства Матерей. Из гоголевского Аида Абрам Терц вызывает тени его героев и его идеи, которые также облечены прозрачной иллюзорной плотью, как и герои. Временная протяженность и завершенность сюжета (как действия, вне фабульных ограничений) как раз и заставляет думать о книге Терца как о романе.

Есть книги которые, как скобелем, снимают круг наших устоявшихся представлений и клишированных понятий. Такой была книга покойного Михаила Михайловича Бахтина, который, не задаваясь исследованием духовных основ творчества Достоевского, его метафизики, открыл нам подлинное понимание творческой структуры Достоевского. И в данном случае важна та задача, которую писатель — или исследователь — ставит себе в первую очередь. Абрам Терц как

бы проверяет подлинность и широту охвата идеологии Гоголя; но он не «исследует», а словно «проигрывает» в действии гоголевский мир, окостеневшим лицам и стандартизованным идеям возвращает их подлинное бытие. Он сверяется с течением гоголевского творчества, а не с тем остывшим и заключенным в берега безмысленного почитания академическим творчеством Гоголя. В этом уже есть элемент театрального действия, как в сущности, в каждом романе.

И поразительней всего, что в этом направлении у Терца почти нет предшественников. До революции исследователи Гоголя (Мережковский) рассматривали его творчество в исключительно «духовном» ключе. Вся советская литература о Гоголе как две капли воды похожа на тот памятник, что водрузили у Гоголевского бульвара, с надписью «Гоголю — от советского правительства». И правда, Россия не могла бы одарить Гоголя таким безобразным памятником, где изображен этакий хлыщ с глупо-радостным лицом, так унижить писателя после смерти способны лишь те, кто унижает его при жизни.

Выше я сказал, что у Терца в этом направлении почти нет предшественников. В мироощущении Терца есть что-то родственное Розанову, а сказать точнее — одна родная почва, горькая, ироничная и глубинная почва русской жизни, лишь одна на целом свете способная порождать такие немислимые, невероятные сочетания, как боль и юродство, плач и адский смех, проклятие и благословение, прозрение и падение.

Но главным «предшественником», предугадателем этой книги является наше время, особенно для художника остро поставившая проблему антиномичности веры и бытия, того «маленького словца», по выражению Достоевского — «зачем?», которое «...если не ведет человека к самоуничтожению, предполагает подключение к какой-то высшей, спасительной осмысленности бытия и перемену в ее свете всех оценок и привычек жизни» (Терц, стр. 217). Есть времена, когда та или иная проблема просто «не вмещается», как не «вмещали» двадцатые годы в России проблемы религиозных исканий, как не существует в нашем времени той тяги «апокалипсического чаяния», ложного и надрывного, которым были отмечены предреволюционные годы.

Любовь к культуре еще не создает художника, но приверженность, упоенность культурой может быть для художника огромной силой. Во всей книге Терца — следы такой упоенности, то первозданное переживание слова и мысли, восчувствие культуры как подлинного бытия. Это — среда романа, его ментальное окружение, духовный воздух. Культурная уплотненность книги очень велика — в этом она как-то близка нашей культуре начала века.

Часто случается, что для понимания того или иного явления его необходимо «снизить», даже несколько нарочито. Образцы великолепного «снижения» есть у Достоевского во многих его романах, особенно — в «Бесах», где «раскаившийся вольнодумец» капитан Лебядкин в шутовских и ернических словах изрекает весьма серьезные вещи. В нашем сознании давно утвердилась и застыла схема понимания трагедии Гоголя как противостояния веры и искусства, как будто вся мировая история культуры не свидетельствовала об этом, или точнее, веры и попытки искусства поставить себя в автономное положение. Писали и пишут, что Гоголь отказался от искусства (или пытался отказаться), различно извлекая выгоды для себя этого гоголевского отказа — марксистская критика уверяет во вредности религиозного начала в искусстве, а некоторые религиозные авторы — в соблазнительном значении искусства. При этом экзистенциальное, личностное воспринималось при свете гоголевских же идей. С таким же правом могли бы утверждать, что Коробочка имела на Гоголя большое влияние...

Однажды Розанов сказал об одном религиозном писателе такие слова: «Вы не слушайте, что он говорит, а посмотрите, где он стоит». Действительно, часто в творчестве писателя важнее его «местоположение», чем проповедуемое им мировоззрение (удручающе убедительный в этом отношении пример — К.Леонтьев). А с какой стороны зримее и ощутительней душа писателя — с той ли, где совершались высокие религиозные драмы, шло исступленное борец за «душу живу», за веру и Церковь, либо там, где личность «отбрасывала тень» — греховная, не просвещенная «Светом Истинным» личность Гоголя?

Духовное «местоположение», его психологический облик восстает на страницах книги Терца в каком-то жутком свете

— маг, некромант, потерявший власть над своими призраками, соседствует с провинциальным, утомительно морализованным чиновником, потерявшим всякое чувство стыда и скромности, доморощенный пророк, положивший за правило духовно водить тех людей, которые, может быть, во сто крат совершеннее его! Заурядный, лишенный всякого огня моралист, и одновременно — человек, действительно что-то такое знающий о Боге и России, о чем мы гадаем и не можем разгадать уже целое столетие с лишком. Художник, носивший в себе первобытную, магическую стихию языка, которая существовала, может статься, лишь в средние века, когда «осиянно было Слово среди земных тревог», — и не владевший, не управлявший этой стихией, ставший, в конце концов, ее пленником... «Одна из загадок Гоголя, — пишет Терц, — как раз и заключалась в этом совмещении несоединимых сторон».

Убедительность облика Гоголя в книге Терца усиливается как раз благодаря почти сценическому действию романа. Гоголь выступает каким-то высоким обманщиком, жутким духовидцем, тлетворным «вселенским учителем», от которого хочется держаться подальше. Помимо воли, вспоминаются бездны человеческих падений — Смердяков, Передонов. Это демоническое, злобное, зловещее сгущает тень Гоголя до жуткой конкретности — это уже не тень, а ч е р н ы й л и к. Кажется, по книге Терца, Гоголь первым начинает ту длинную галерею писателей, которые «...не послужив достойным образом Богу, ...почувствовали себя невольным орудием дьявола».

Этот магизм языка, способность создавать «бушующее жизнью слово», Гоголь осознал как жреческое свойство и захотел стать проводником Божественной благодати в мире, настырно и тягостно домогаясь звания «вселенского учителя». Но Благодать Божья дается не за свойства, сколь бы великими они не были, а по соизволению Господнему. Магизм, глубоко вкорененный в душу писателя, оставаясь безблагодатным, стал «черным магизмом». Тогда сам автор в смертном ужасе оценил это «свойство» как проводник дьявольской силы: «не будучи священнодействием, оно расценивалось как святотатство», пишет Терц.

И отсюда родилась его внутренняя бесплодность, «обескровленное», расчисленное христианство» взяло под кон-

троль этот магизм, но до конца не удалось справиться Гоголю с теми страшными призраками, которых он вызвал по своей воле...

И уже не маски, не мертвецы, не «свинные рыла», как говаривал сам Гоголь — со страниц романа Терца один «черный лик» глазеет в упор и уже не скрывает иронический оскал. Он даже не страшен — Терц, как режиссер, «пронигрывает» личность Гоголя в таких вариантах, что героизм магической личности жухнет, скрадывается, исчезает вовсе. «Не нужно думать, что «колдовское» в Гоголе непременно заключало в себе что-то злое и темное, мрачное и тяжелое» (стр. 543).

Художественно облик Гоголя, Гоголя романа Терца не вызывает никаких сомнений. Насколько этот облик соответствует экзистенциальному, подлинному облику? Этот вопрос предполагает спор со всей художественной структурой, со всей концепцией, порожденной самим романом, иначе грозит перекинуться в ту моральную, идеологическую полемику, которая отрывает от ткани художественного произведения. Книга «В тени Гоголя» написана не идеологом, а художником. И спорить — это значит чувствовать иначе опаленность и ужас этого «черного лика». Когда я слежу за развитием терцовского Гоголя (хочется сказать — смотрю, до такой степени в нем полно реализована визуальная, смотровая часть действия романа!) и вижу, как мучительно и глубоко развивается в Гоголе его тень, его грех, его мрак, я вспоминаю «Размышления о Божественной Литургии» и многие письма из знаменитой переписки. И у меня нет сил засомневаться в искренности и чистоты религиозности таких слов: «Как полюбить брата своего, когда душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так некрасивы!» И мне кажется, что высокая, в Духе, очистительная смерть Гоголя, настоящий подвиг отречения, — его завешание русской культуре куда более действенное, чем многие страницы из «Переписки».

Мировоззрение художника от мирозерцания моралиста или философа отличается тем, что не существует просто как данность — оно выходит из всей структуры текста, художественно порождается им. Книга Терца обращает нас к очень болезненной и очень русской проблеме о «духовном учительстве», о достоинстве «проповедующего» и о

праве на эту «проповедь». «Немногие из вас становитесь учителями», — говорит Апостол. Многочисленные русские художники (исключая в полном смысле слова лишь Достоевского) слишком часто облакались непосильной и ненужной ролью проповедников. Какова ни была бы природа этой тяги, культуре она часто наносила непоправимый ущерб. Прав ли Терц в определении этой проблемы или нет, важно, что книга — роман о Гоголе — возвращает эту проблему нашему времени.

Е. Т е р н о в с к и й

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Наша анкета

БЕСЕДА С НАУМОМ КОРЖАВИНЫМ

1. Вопрос задан несколько неопределенно. Буду отвечать на то из возможных его толкований, которое ближе к кругу моих размышлений.

Прежде всего я хочу отметить, что современная литература — с у щ е с т в у е т. Существует, как в России, так и в других странах Запада и Востока, кроме таких, как Китай и Северная Корея, где она физически задавлена и полностью (в отличие от современного Советского Союза) подменена. Буду, конечно, рад, если даже в таких странах она существует нелегально (не путать с политической нелегальностью), как она существовала в России при Сталине, но мало верю в такую возможность.

Констатировать самый факт существования литературы в современном мире считаю делом и нужным и приятным, ибо в двадцатом веке неоднократно предпринимались попытки ее отменить — я имею в виду не административные, а интеллектуальные попытки. Предпринимаются они и сейчас со стороны кругов, которые считают интеллект и интеллектуальную свободу чем-то частным, имеющим отношение только к эгоистическим интересам специального «класса интеллектуалов». Тем не менее, литература, как я сказал, — с у щ е с т в у е т. Не так давно ушли от нас такие гиганты, как Томас Манн и Уильям Фолкнер. Рядом с нами живет Александр Солженицын. Я называю только вершины, а ведь кроме них в мире есть и другие, впол-



не хорошие, серьезные, выражаясь языком Сартра, «неангажированные» писатели, вполне заслуживающие внимания. Не говоря уже и о том, что и вершин может оказаться несколько больше — о многих я могу и не знать, поскольку читал только то, что переводилось на русский язык. В этом смысле я отношусь к современной литературе, как и к литературам иных времен — очень хорошо.

Но это не вся литература, верней, не всё, что к ней относится. Не боясь внешней близости к официальной советской точке зрения, я должен сознаться, что очень плохо отношусь к так называемому «модернизму», под которым понимаю не те или иные способы выражения (они вторичны), а ту психологию, которая отрывает сегодняшний момент состояния культуры («модерн»!) от всей массы истории культуры, практически от всех ценностей и критериев, выработанных за столетия. В связи с этим смещаются масштабы, микрокосм начинает восприниматься как макрокосм, подробности бытия и психологии перестают быть проявлением неких обобщенных сущностей и начинают рассматриваться как самостоятельная ценность. От этого — от потери перспективы — начинают романтически преувеличиваться значение художника вообще и собственное значение в частности. И уж, конечно, значение собственных проявлений. Отсюда и сексопоклонство, как имитация духовной жизни.

Это умонастроение, поскольку теряется ощущение бесконечности мира, прямо ведет к произволу и самовольству: если все критерии вырабатываются на ограниченном отрезке — то творцом критериев может быть каждый, кто решится, в том числе и я. Важно не пропустить свой звездный час. Политически это умонастроение проявляется в фашизме и большевизме — и то, и другое, по-существу, тоже модернизм. То, что фашизм, и на последующих этапах — большевизм, модернизма не признавали и даже втоптывали его в

грязь — ничего не меняет. Просто и фашизм, и коммунизм меньше всего нуждались в самовыражении, в проявлении своей подлинной сущности — даже перед самими собой они хотели предстать в несколько облагороженном и идеальном (в соответствии со своими мещанскими и комплексными представлениями об идеале) облики.

К сожалению, модернизм долгое время был господствующей психологией в культуре. Любое неприятие его тут же успешно объяснялось отсталостью, отсутствием тонкости в понимании искусства, мещанством и конформизмом. Это было приписыванием своих пороков другим. На самом деле мещанство и конформизм, безоговорочное следование моде (только модерной: «Каждое произведение должно быть оригинальным, т.е. похожим на все другие произведения, отнесенные к этой категории»), а также нетерпимость, — всё это родовые черты именно модернизма. Всем этим он подменяет живое чувство, живое восприятие и живые достижения. Отрадным фактом является то, что литература, особенно проза, хотя и не избежала его влияния, но всегда сопротивлялась его насилию над ней и фактически уже давно освободилась от него. Это и дает мне повод, причину и возможность утверждать, что современная литература — существует.

2. Классики на меня, безусловно, влияли, хотя начинал я с полного отрицания их. Пушкина я любил после Маяковского (которого теперь не люблю, и отнюдь не по политическим причинам) и Пастернака (которого теперь люблю меньше, чем раньше). Эталон для меня (а имеет ли значение в творчестве эталон?) является поэзия Пушкина. Что касается прозы, русских и иностранных классиков, то они, безусловно, влияли на формирование меня, как человека. Вероятно, это имело значение и для творчества — но какое, определить не берусь.

3. Это очень серьезный вопрос, на который страш-

но ответить, ибо слишком велика опасность быть понятым неправильно. С одной стороны, утверждается, что искусство должно быть ангажировано, служить одному (безусловно «правому») делу, с другой — утверждается тезис о полной независимости и самоценности искусства. Если быть логичным, то получается, что искусством оказывается или рассудочная ложь, или любое самовыражение, независимо от того, что оно в себе несёт. Мне кажется, что оба эти тезиса прокламируют уход от подлинных и естественных задач искусства.

Безусловно, искусство не может быть «ангажировано», безусловно, никакие — ни чужие, ни даже свои — взгляды не должны мешать изображению жизни или проявлению живых, естественных реакций на жизнь. Но искусство всегда выступает от имени человека, от имени его духовной сущности, оно воплощает взгляд на вещи с точки зрения этой духовной сущности интуитивного поэтического идеала, даже если изображаемая правдиво — обязательно правдиво — действительность этому идеалу совсем не соответствует. Этот идеал, этот взгляд — та «вечная система координат», в которой как бы «ориентируется» всё изображаемое и описываемое, из-за чего всё это воспринимается, как живое, через много лет, десятилетий, а иногда даже веков после создания произведения. Гармония и катарсис — не сторона, а сущность художественного произведения. Искусство через них возвращает человеку самого себя, весь мир его духовных возможностей, превращая достижение в личное переживание, в собственный опыт. В этом смысле искусство безусловно полезно, и даже очень.

Если же при изображении страшного и уродливого — этот поэтический взгляд (в данном случае, поэтический гнев, неприятие, даже отчаяние) утрачивается, сливается с изображаемым, усваивая уродство как норму, т.е. если откровение подменяется одной откρο-

венностью — то в этом нет поэзии и нет смысла тогда обращаться к людям. Дисгармонии у них достаточно и без художника.

А ведь любое обращение к бумаге — есть обращение к людям, к кому-то, кто тебя поймет и откликнется. Игнорировать это естественное чувство — значит не приобрести, как часто думают, а потерять непосредственность.

4. В очень большой. Конечно, в общем виде — история человечества — это история его культуры, т.е. его представлений, о себе, о мире, о должном и недолжном, о прекрасном и уродливом. Но если рассматривать вопрос более локально, как моральный климат данной страны и данного общества в данный момент, то эта культура очень влияет на историю, она вполне способна расшатать ценности общества, особенно свободного, и подорвать его обороно- и трудоспособность, оно способно даже притупить его зрение, а в тоталитарном обществе способно на время — иногда на очень большое — лишить человека реальности и реальных ценностей. Разумеется, это не культура, а имитация, но от всех других имитаций она отличается тем, что при её помощи физически вытесняется подлинная культура. Именно потому тоталитарные власти придают такое важное, казалось бы, даже непропорциональное, значение культуре, т. е. ее недопущению и подмене — ибо это подмена реальности, утверждение ирреальности, — единственного условия реальности их самих.

5. Я думаю, что вся культура, на которой мы воспитаны, и вся литература, носят отчетливо христианский характер. То, что многие носители этой культуры от христианства отказывались, до поры до времени ничего не меняло. Представления, внесенные в жизнь христианством, всё равно лежали в основе их мировоззрения, хотя с христианством и не связывались. Христианство было как воздух, оно лежало в

основе всей культуры и все его представления, казалось, могли существовать и до времени по инерции существовали и без него. В наше время оказалось, что это — только инерция, оказалось, что когда из культуры не на словах, а всерьёз вынимают христианство, всё остальное теряет основание, оказывается необоснованным и ни с чем не связанным. Первым последовательным антихристианином был Ленин. Его мышление оказалось бесцентровым, не ориентированным ни на какие ценности, насквозь диалектическим — тактическая идея, как это ни противоестественно, стала религиозной основой его жизни и оправданием чудовищных преступлений.

Так что роль христианского мировоззрения в литературе и в культуре преувеличивать невозможно. Современная нехристианская культура — по существу антикультура и довольно часто сама это прокламирует. Кроме того, без религиозных терминов трудно описать произошедшее в СССР за последние десятилетия.

6. Таких писателей много. В разные периоды жизни мне бывали близки разные писатели. В русской поэзии мне всегда всего ближе линия Пушкин-Тютчев-Блок. Это осталось и сейчас, хотя к Блоку я сегодня отношусь более критически, чем раньше. Очень любил Пастернака (сейчас меньше, многое раздражает). Зато в основной фонд для меня вошла Ахматова и в значительной степени Мандельштам. Большим открытием для меня оказался Александр Твардовский, которого я полюбил не сразу, но всё-таки очень давно — году в 1952.

Называть современных, ныне живущих в России поэтов — по понятным причинам мне не хочется. Есть много хороших поэтов, и у многих людей, занимающихся поэзией, бывают хорошие стихи.

Люблю русскую классическую прозу. И Достоевского, и Толстого. Но не только их — и Гоголь, и

Гончаров, и Лесков, и даже Тургенев — оказали на меня довольно действенное влияние. Так же, как, впрочем, Короленко, и Глеб Успенский, которые отнюдь не такие однолинейные писатели, как принято думать. Что же касается советской русской прозы — то я полностью поддерживаю список, предложенный Солженицыным (естественно, с включением самого Солженицына). Я только бы добавил бы к нему Домбровского, Битова и недавно умершего Бориса Балтера (его «До свиданья, мальчики»).

О западной литературе. Большое влияние на меня оказали Бальзак и Стендаль, очень нравится Гофман, меньше Флобер, еще меньше Мопассан — за исключением многих рассказов. Раньше очень нравился Хемингуэй, теперь больше Фолкнер и Томас Манн, о которых я уже говорил. Думаю, что мимо «Доктора Фаустуса» современная культура пройти не может. Серьёзно я отношусь к Грэму Грину, к Сэлинджеру, Карелу Чапеку, Эвелин Во, к Генриху Бёллю (но не к его общественно-политической позиции) и ко многим другим. Очень мне понравилась и американская писательница Карсон Маккалерс («Часы без стрелки»). К сожалению, цельного представления о западной литературе у меня нет. Вообще — я не люблю списков — всегда кого-нибудь пропускаю.

С поэзией — труднее. В детстве я очень увлекался переводами из Байрона, Генриха Гейне и Бранже. Очень мне понравился Верлен, меньше Бодлер. Очень понравился Рильке в переводах Пастернака и потом других еще мало опубликованных переводах (например, К.Богатырева). Понравился Превер. Но больше — бельгийский поэт Морис Карем, которого очень хорошо переводили в России. Понравился Роберт Форст. Но я — не всё здесь знаю, не со всем знаком. Многое, с чем я встречаюсь, мне просто не нравится, из-за дробности восприятия мира и его изображения, это расходится с моим представлением о

духовной деятельности. Серьезной мне кажется польская проза (например, Анджеевский, Брандыс и многие другие).

7. Я с большим уважением отношусь к западной культуре до тех пор, пока она не начинает подрывать основы, на которых стоит. Я считаю, что русская культура — при всём своём своеобразии — тоже западная культура, последняя по времени возникновения из великих западных культур. Поэтому ко всем бедам Европы — отношусь как к собственным. Если в Европе свобода погибнет — нам будет совсем плохо. Считаю, что такие русские книги, как «Вехи» и «Из глубины», написанные, казалось бы, только о России и для неё, имеют всеевропейское или всемирное значение. Очень жаль, что к ним так мало прислушиваются — русская мысль первая столкнулась с тем, что позднее оказалось двадцатым веком.

8. Считаю эти проблемы всемирно-историческими, а не частными и провинциальными. И не только потому, что СССР — способен силой навязать свои болезни всему миру. Это проблемы подмены жизни и идеологии, всего, чем жив человек. В этом смысле восточноевропейские страны нельзя считать только оккупированными, ибо, оккупировав их, советские руководители тотчас же стали там создавать себе подобных, т.е. выдвиженцев — слой малоквалифицированных людей, которому вручаются привилегии, бразды правления и влиятельные места любой жизненной иерархии, не соответствующие их заслугам и квалификации. Я этот слой называю советской интеллигенцией. Так же, как и в СССР, этот слой кровно заинтересован в ненормальном положении вещей, должен держаться за него обеими руками. Чаще всего эти люди — животные националисты, шовинисты (это соответствует их человеческому уровню), они могут даже ненавидеть русских, которые ими руководят — но ничего не поделаешь. Вот где берет вверх над всем,

в том числе над национальным — социальная близость. Эти люди на любом уровне организованы и ведут себя, как мафия — в районном, областном, центральном и международном масштабах. Но это не значит, что все они и субъективно уголовники. В том-то и ужас, что это нормальные люди, соблазненные властью и привилегиями. В былые годы для такого положения находились почти логичные основания. Теперь обходятся без них.

9. Я лирический поэт (хотя многие мои лирические стихи написаны на темы, которые в прошлом веке можно было назвать гражданскими) и поэтому у меня определенных планов нет. Хотел бы еще написать стихотворений тридцать стоящих — не так мало.

Сейчас составляю сборник стихов для издательства «Посев». Туда войдут стихи разных лет — в основном те, которые я не мог опубликовать на Родине, но не только они. Хочу опубликовать в «Континенте» минимум две статьи, написанные в России и обращенные, в частности, и к западной интеллигенции, они суммируют опыт жизни и размышлений. Хотел бы издать свою пьесу «Переделка» («Однажды в двадцатом») и доработать другую «Жить хочется...» («Однажды в двадцать втором»...) Это пьеса о том, как люди привыкали к тому, к чему привыкать нельзя. Хотелось бы написать еще две-три пьесы о современной истории — о начале тридцатых и о тридцать седьмом, и одну — о восемнадцатом веке.

Н. К о р ж а в и н

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

А. Солженицын

ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ

Это не исследование, не биография, не повесть и не роман, но лишь главы из широко задуманной эпопеи о русской революции 1917 года, из так называемых «Узлов». Автор решился опубликовать их отдельной книжкой, «не ожидая нескорого еще опубликования самих Узлов».

Правильно ли это решение? Допустимо ли было обрывать изложение на требовании Ленина к Ганецкому: «срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы» и на заботе о 100 франках залога за проживание в Швейцарии, когда ему предстоит получить миллионы от германского генерального штаба? (Знающему о содержании опубликованных ныне документов немецких архивов, конечно, ясно: Ленин деньги возьмет. Но ясно ли это читателю в СССР, зачастую об этом не знающему?). Не будет ли многое непонято в главах и, по-видимому, даже только отрывках из глав, вырванных

из общего контекста книги, не освещенных светом ее общей концепции? С этой осторожной оговоркой (рецензенту ведь тоже не видно, как лягут главы в узлы) можно взять на себя смелость утверждать: да, решение правильно, ибо «Ленин в Цюрихе» живет собственной жизнью. Ибо это не черновые наброски и неоконченные эскизы, но завершено продуманный и мастерски исполненный портрет, по которому, вдумавшись, можно вообразить и «до» и «после» обрисованного персонажа и... неизбежно согласиться с художником, чтобы, опомнившись, поспорить с ним.

А верен ли портрет? Таким ли на самом деле был Ленин, хотя бы и только в Цюрихе? В умении Солженицына описывать характеры, создавать литературные портреты, кто ж усомнится! Конечно, Иван Денисович был именно такой, и Рusanов, и Рубин. Но Ленин? Разумеется, ценность художественного портрета определяется не только сходством, и нас даже не особенно беспокоит, похожи ли на исторические оригиналы толстовские Кутузов, Багратион

или Сперанский. Но Ленин? Художественно солженицынский Ленин великолепен, но схвачено ли в нем эпохальное значение оригинала?

Вот вопрос, о котором еще поспорят историки, но главным образом неисторики, потому что именно его непременно задаст себе каждый читатель новой солженицынской книги.

Ленин — для одних бог, для других дьявол — у Солженицына страшен и жалок одновременно. Страшен злобным аскетическим фанатизмом, накалом желаний и предельной напряженностью стратегической воли к невероятному; жалок интеллектуальной и эмоциональной бездарностью, нелепыми тактическими просчетами и провалами, бесплодностью усилий, безвылазным одиночеством. Фигура Троцкого в цюрихском периоде жизни Ленина маячит только за горизонтом, но другой политический авантюрист Парвус, уже добравшийся до немецких денег, подчеркивает всю практическую негибкость и беспомощность Ленина, всю его оторванность от реальной политики, подменяемой Циммервальдом, Кинталем, эмигрантскими спорами, фантастическими замыслами, упорной, но бесплодной

борьбой за создание главного ленинского стратегического оружия — «партии нового типа», которую в условиях свободы явно невозможно создать.

«Ленин в Цюрихе» лишь на пороге того «подарка истории», который поднесет ему его величество Случай. Роль Ленина в подготовке русской революции ничтожна. Но в этом ничтожестве уже проглядывается, какой она будет в ее эксплуатации. «Ленин в Цюрихе» еще не весь Ленин, но в этом цюрихском Ленине уже весь большевизм, та стихийно рвущаяся в историю нашего века воля к тотальному властвованию, которая в другой редакции прорвется и в Гитлере, человеку, к которому солженицынская характеристика Ленина, кстати сказать, тоже во многом подошла бы...

Читающиеся без разрыва главы «Ленина в Цюрихе» кажутся монолитом. В замысле «Узлов» они разбросаны широко. Первый отрывок — объявление войны, Ленин покидает Австро-Венгрию — входит в «Август Четырнадцатого» главой 22, врезаая в ход уже начавшихся операций в Восточной Пруссии. Отрывок здесь всего лишь как бы заметка на полях (благодаря чему без

него оказалось так легко обойтись в первом издании «Августа»), но замысел здесь ясен: война уже идет, но вождь революции вне событий, он не готов к ней, он не осознал вперед ее значения: «Вообще — конечно, должна была быть война! — предсказана, предвидена. Но — не конкретно сейчас, в этом году. И — пропустил... И — вляпался...» Здесь осознание конкретности, жизни (под крепким ее ударом — полицейская камера в Новом Тарге!), выход чужими силами (авантюриста Ганецкого) и новое бегство в мечту, новое воспарение в невероятность, в принципиальность, в «вообще»: «превратить войну империалистическую в войну гражданскую!», а физически уход в новый тупик, в нейтральную швейцарскую социал-демократию, в «Циммервальдскую левую».

Как лягут в Октябре Шестнадцатого» главы 38 и 44-45 и что их отделит от 47-48-49-50, мы не знаем, как не знаем, что вообще будет с отрывками Л1 и Л2 в «Марте Семнадцатого». Но уже по их емкости видно, что тема «Ленин» набирает динамику и вес, приближаясь, насколько можно судить, к идейному фокусу «Узлов»: вторжение невероятного, ненужного и

нелепого в человеческую историю; к вопросу, из которого рождаются «Узлы»: «как это могло случиться?»

ИМКА-ПРЕСС, 1975,
242 стр. 30,— фр. фр.

Анна Кузнецова-Буданова

И У МЕНЯ БЫЛ КРАЙ РОДНОЙ

Хорошо изданная книга в твердом переплете. Книга воспоминаний. Для историка — всегда один из самых живых источников для понимания эпохи, людей, обстановки, в которой они жили и действовали. Издатели совершенно верно отметили в предисловии: «Интересны и ценны эти воспоминания тем, что в них описывается весь уклад жизни: праздники и будни, радости и скорби провинциального рабочего поселка Бежица при Брянском машиностроительном заводе».

Книга охватывает сорокалетие от начала века до начала войны летом 1941 года, увиденное сперва глазами младшей девочки в многодетной рабочей семье, затем глазами гимназистки, студентки и, наконец, врача-педиатра, поработавшего в нелегких советских условиях.

Воспоминания Кузнецовой-Будановой написаны исключительно искренне и просто, читаются легко и, без сомнения, представляют собой, пусть ограниченный, но ценный вклад в правду о русской жизни 1900—1941 годов.

Издатели Яков и Юрий Будановы, «Посев», 1975, 356 стр., цена 20,— н. м.

Владимир Самарин
ПЕСЧАНАЯ ОТМЕЛЬ
ТЕНИ НА СТЕНЕ

Есть темы, о которых как бы не принято писать. Но есть писатели, которые тем не менее пишут на эти темы, нарушая не то что запрет — запретов ведь в нашем свободном мире нет, — но некую общепринятую фигуру умолчания о том, почему они оказались за океаном, в Америке; пишут о сталинской России и немецкой оккупации, и не ходячим штампом: «нет в мире хуже гитлеровского фашизма, и каждый русский патриот, конечно, героически защищал от него Родину» (а вместе с нею и Сталина), но пишут по правде, так, как оно было на самом деле. Таков Владимир Самарин. Таковы его пятьдесят пять коротких расска-

зов, заполнивших две нетолстые книжки.

Рассказы Самарина — всегда короткие эпизоды, яркие случаи. Советская власть и немецкая оккупация — зачастую в них только фон, но и в этой фоновой своей функции они присутствуют постоянно, они глубоко вработаны в самую ткань повествования. А в ряде рассказов эти эпизоды составляют и самую их суть. Рассказы «Топор в руке», «Документы эпохи», «Человеческий крик», «Современное имя», «Душа молится», как мгновенные магниевые вспышки, озаряют те годы, и вплетенные между ними лирические элементы только усиливают впечатление.

И хоть, может быть, и поздновато печатать в журнале рецензию на книжки, вышедшие задолго до его основания, мы и впредь будем позволять себе делать иногда исключения.

Изд. «Русская книга»,
1964, 1967;
47 стр.; 75 стр.

Лия Владимировна
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Этот сборник стихов разбивается так: «Рогожа», «На

пороге», «Отъезд», «Судный день», «Библейские мотивы», «Из последней тетради», «Соль-минорная симфония». Как бы станции на пути поэта: Россия — Израиль.

В центре — «Отъезд». Это поворотный пункт в лирической сплошности потока. Полное тоски по покинутой русской родине.

Книга вышла уже в Израиле. До нее в советских изданиях было напечатано лишь несколько стихотворений Лии Владимировой. Да и за рубежом ее ожидает, пожалуй, судьба не столь уж малочисленных эмигрантских поэтов: слишком мало читателей и ценителей, и потому почти нигде печататься (стихотворения в «Гранях» и «Соль-минорная симфония» в № 4 «Континента» — почти не в счет). Но писать она, конечно, не перестанет, ибо поэт она — подлинный; стихи ее идут из души нежной и грустной, перекликаясь (бывает же так!) со стихами погибшей (насколько знаю, в гитлеровском концлагере) парижской поэтессы Раисы Блох. Вот, судите сами:

Раиса Блох:

В этот час предутренних
молений

Опустись тихонько на колени,
Не зови, не жди, не
прекословь.
Помолись, чтобы тебя
забыли,
Как забыли тех, что прежде
были,
Как забудут тех, что будут
вновь.

Лия Владимировая:

Опять дождя благоуханье,
И серой яблони дыханье,
И эта зябкая любовь
С ее пугливыми стихами —
Все, все как встарь — или
как вновь.

Вне России быть русским поэтом трудно. Но хочется верить, что Лия Владимировая останется им. Не случайно же эпиграфом к напечатанному в Израиле сборнику из всех своих стихов она выбрала:

«Пусть дни идут корявой
чередой,
В поту, в жару или в
простудной дрожи.
Я допьяна больна тобой,
Россия... родина... рогожа.

Лия Владимировая.

Связь времен.

Израиль, 1975 г., 96 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

Письмо Андрея Сахарова — Пагуошской конференции в Киото	5
Иржи Гохман — Чешский хэппенинг	9
Иосиф Бродский — Посвящается Ялте	49
Письмо Александра Солженицына — Конференции народов, поработанных коммунизмом	66
Борис Ямпольский — Да здравствует мир без меня	67
Елена Игнатова — Стихи	105
Марат Векслер — Стихи	109
Милован Джилас — Сестра	112
Эдвард Коцбек — Стихи	147
Вас. Гроссман — Жизнь и судьба	151

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

По следам русской революции

Вячеслав Черновол и Борис Пэнсон — Диалог за колючей проволокой	173
---	-----

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Доминик Моравский — Словакия: модель коварного истребления веры	229
Витаутас Каволис — Патриотизм отземленных	252

ВОСТОК — ЗАПАД

Джордж Мини — Американское рабочее движение и «разрядка напряженности»	265
--	-----

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Евгений Барабанов — Судьба христианской культуры	293
---	------------

ИСТОКИ

Николас Бетелл — Последняя тайна	329
Йозеф Смрковский — Неоконченный разговор	359

ИСКУССТВО

Александр Глезер — Двадцать лет спустя	389
---	------------

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	411
--------------------------	------------

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. Рыбаков — Летопись страха	413
Ф. Салказанова — Парадоксы одного призрака	417
Е. Терновский — Черный лик Гоголя	423

НАША АНКЕТА

Беседа с Наумом Коржавиным	431
-----------------------------------	------------

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	440
------------------------	------------

П О П Р А В К А

На стр. 3 обложки этого номера к списку основателей Фонда журнала следует добавить: Эжен Ионеско

Фонд друзей журнала „КОНТИНЕНТ“

Основан Фонд друзей журнала «Континент». Средства этого Фонда будут использоваться в соответствии с целями и практикой, провозглашенными в редакционной декларации в первом номере настоящего периодического издания, т. е. на продолжение его дальнейшего финансирования, пропаганду его идей, а также в целях оказания материальной помощи деятелям культуры России и Восточной Европы.

В правление Фонда вошли:

Раймон Арон, Джордж Бейли, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Людек Пахман, Андрей Сахаров, Иозеф Чапский, Зинаида Шаховская, Карл-Густав Штрём.

Взносы направлять только через банковский счёт по адресу:

V. Maximow — Référence „Continent“

A/s 8824.80

American Express

11, rue Scribe

Paris 75009, France



Оскар Рабин. «Деревня Прилуки» (пейзаж с отраженной церковью), 1966 г., холст, масло.